

*Виктор
Астафьев*



**ВСЕМУ
СВОЙ
ЧАС**



ПИСАТЕЛЬ — МОЛОДЕЖЬ — ЖИЗНЬ

**ВИКТОР
АСТАФЬЕВ**



**ВСЕМУ
СВОЙ
ЧАС**



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1985

83. 3P7

A 91

A $\frac{4702010200-353}{078(02)-85}$ КБ-60-021-85

Занятие литературой, дело сложное, не терпящее бабосейва, мизантропией самодеятельности и некий писателю нежных подляшек. Сорвешь голову — выжидая себя. Захочешь поберечься и быть в востронос, востронос — давшие проливов, кошково уже сам для себя и жить, и быть в дущи. Однако в литературе жизнь для себя равносильна смерти.

СЮЖЕТЫ И СУДЬБЫ

Монолог о времени и о себе

Как стремительно летит время! Не думал, не гадал, что доживу до пятидесяти, а до шестидесяти тем более. Представить себе в военной молодости, что дотяну до такого эпического возраста, было просто невероятно. Это чувство невесть за что дарованного судьбой счастья жизни знакомо, наверное, всем фронтовикам, и особенно тем, кто родился, как я, в 24-м — в год утраты Ленина или в 23—22-м: нашего брата вернулось с войны всего три процента, а теперь и это печальное число сменилось на еще меньшее — уходят, уходят товарищи... И ты, добравшийся до шестидесяти, все строже спрашиваешь се-

бя: живешь по совести, всегда ли честен перед собой, перед памятью погибших своих одноклассников?

Если бы я мог жизнь повторить, то повторил бы в буквальном смысле слова, выбрал бы ту же самую — исключив, конечно, войну и сиротство, — очень трудную, где рядом с радостью шла боль, с победами — неудачи, которые, кстати, заставляют обостреннее видеть мир и глубже чувствовать доброту.

Я убежден, что занятие литературой — дело сложное, не терпящее баловства, никакой самодеятельности, и нет писателю никаких поблажек. Сорвешь голос — пеняй на себя. Захочешь побережешься и петь вполголоса, вполсилы — дольше проживешь, но только уж сам для себя и жить и петь будешь. Однако в литературе жизнь для себя равносильна смерти.

...Что успел я за минувшее десятилетие? Закончил книгу «Последний поклон». Начавши писать «страницы детства» вразброс, без определенного плана и замысла, я в конце концов нащупал какую-то свою форму повествования и написал, затем и составил «Последний поклон» из отдельных глав-рассказов, порой заступающих в границы короткой повести. К удивлению моему, книга приобрела законченную, хотя и не очень стройную форму. Я старался избежать какой-либо похожести на эпос из многих книг и частей, не делая длинных, «водой» заполненных «переходов» и «мостов», минуя ту «эпопейную» нудь, которой так забита наша литература. По моему глубокому убеждению, с полным основанием этому емкому и пугающему меня слову — эпопея — соответствуют в современной русской литературе всего лишь две-три книги.

Еще раз эту форму повествования в рассказах я поэксплуатировал в «Царь-рыбе» и уж больше, конечно, к ней не вернусь: форма не окаменелость, не монолит, она должна быть подвижна, как сама жизнь. «Самопоедание» ни к чему не приводит, кроме застоя.

Что еще помечено последним десятилетием? Книга «Затесей», их я потихоньку пишу все время. Завершена книга о замечательном друге, критике А. Макарове — «Зрячий посох», в нее вошли еще главы об А. Твардовском, К. Симонове, Я. Смелякове, К. Воробьеве.

Попробовал себя в театре и в кино, удовлетворил свое любопытство и понял, что заниматься надо своим

«тихим» делом, что ни моего характера, ни моих способностей недостает поспевать всюду — я не «многостаночник» по своим творческим наклонностям.

«Всему свой час и время всякому делу под небесами...» — я люблю это изречение и часто им пользуюсь. Так вот — наступил «час» романа о войне. Тема для меня святая, отношусь к ней с повышенной совестью, к роману готовился долго и серьезно и теперь наконец приступил. Эта большая, сложная работа, рассчитанная не на год, совпала с переездом из Вологды в Сибирь, в родные красноярские места, в милую сердцу Овсянку. Высадившись на «обетованный берег», о чем давно мечтал, я обрел на склоне лет какое-то хотя бы в житейском смысле успокоение.

Сделалось ли с годами и с переменой мест легче работать? Не сказал бы. Легче всего работалось в творческом отрочестве и юности. Само сочинительство тогда так захватывало, таким одаривало счастьем первосотворения, что ослепляло и оглушало, словно весеннее половодье, будто солнце, восходившее только надо мной и только для меня. Нет, ни за какие терзания и сомнения, столь неизбежные потом, в зрелом возрасте, не отдам я те счастливые, радостные не дни, а годы... И пусть мудрые критики ищут в строчках тех лет «достоинства и недостатки», а недостатки, конечно же, были в изобилии в беспомощных, еще зелененьких побегах.

Приученный войной без особого страха относиться к тому, что литературно зовется концом пути, я почти спокойно вступаю в завершающий период жизни. И поскольку у сочинителя нет ни отдыха, ни отпуска, продолжаю делать свою работу.

Груз памяти пригибает меня к земле, ломает мой крестец, ибо она, память, высветляет не одни картинки детства, не одну любовь и радость, она озвучивает и войну, ненависть, безумство человеческое, кровь, смерть, и, надеюсь я, нужно это для того, чтобы я «отболел» войной последний раз ради будущего, ради детей своих и внуков.

Совсем недавно мой восьмилетний внук спросил, с каких лет принимают работать на комбайн. Дед и бабка, естественно, поинтересовались, зачем ему это знать. И внук заявил, что хочет работать на комбайне для того, чтобы никого не убивать. Да, и мы не хотели убивать и умирать, но, мальчишки и девчонки, мы брали

в руки оружие, когда пришлось защищать от врага родную землю.

Я не лыщу себя надеждой, что мое слово или слово моих товарищей по перу произвело такое благотворное воздействие на ребенка, будущего жителя нашей беспокойной планеты, но, может, мое и бабкино знание войны, наша ненависть к ней, неприятие насильственной смерти в любом ее виде как-то вместе с нашей кровью передалось внуку.

Если мне удастся донести до людей, что жизнь дается человеку только раз и никогда, ни в ком и ни в чем более не повторяется, что сама по себе сознательная и созидательная жизнь столь коротка, что бессмысленно, жестоко, неразумно обрывать ее прежде времени, тратить силы на разрушение, ожесточение и убийство и что надо пробовать жить на земле в мире и согласии, если удастся внушить это тем, кто все еще не понимает, сколь велика нависшая над нашей планетой угроза термоядерной катастрофы, — то, значит, жизнь и работа моя и моего поколения были не напрасны.

Незнакомые люди, наши читатели, обращаются к нам за советами, распахивают душу. Иногда оторопь берет от того, что тебе доверительно расскажут, напишут в надежде, что ты вникнешь, разберешься. И ты мучаешься, как разрешить эти запутанные нравственные проблемы, чем ответить на сомнения человека. Каждая исповедь вызывает если не к помощи, то к состраданию. А сердце-то и у писателя одно!.. «Но кому же, кому мне исповедоваться?» — спрашивает прикованная к постели женщина, которая знает, что смерть неотступно стоит у ее изголовья.

Не раз на встречах читатели спрашивали, как возникают сюжеты моих произведений, ищу ли я их в жизни. Сюжеты — не грибы, не ягоды, чего ж их искать...

Как родился мой первый рассказ, откуда его тема, его сюжет? Демобилизовался я из армии осенью 45-го года. Жена тоже солдат, и мы «гол как сокол» (я в летнем обмундировании, а на дворе — ноябрь) с продовольственными талончиками на полмесяца начали свое существование в ее родном уральском городе Чусовом.

Без образования, без специальности работал я где придется. Врачи не разрешали после ранений заниматься тяжелым трудом, но пошли ребяташки, надо их кормить, зарабатывать побольше. Пришлось работать в горячем цехе, вагоны разгружать и с дровами, и с мясными тушами для колбасного завода. Потом перевели меня в цех мыть эти туши и подавать их на стол обвальщикам, солить, селитровать, в бочки сваливать — тяжело очень и грязно, и руки в порезах, а уж как попадает в них селитра... Наконец я стал на заводе ночным вахтером. И как-то раз попал вечером на занятие литкружка, где сотрудник местной газеты, бывший фронтовик, читал свой военный рассказ. Взбесило меня это сочинение. Герой рассказа, летчик, таранил и сбивал фрицев, как ворон, благополучно приземлился и получил орден. Был я на разных военных перекрестках, но нигде не попадался мне такой удачливый боец, который врага лупит и в плен берет, а сам остается цел и невредим. Нет, не была такой сказочно красивой наша жизнь ни на войне, ни после нее. А в рассказе том описывалось далее, что летчик вернулся домой, встречать его вышла вся деревня, и так встречала, что хоть перелетай вместе с ним из жизни в сказку.

Разозлился (а во зле становлюсь я хладнокровней, собранней, и это не однажды спасало мне жизнь на войне), и ночью, на дежурстве, стал писать свой первый рассказ о друге-связисте Моте Савинцеве из алтайской деревни Шумихи. Умирал Мотя с прирожденным спокойствием крестьянина, умеющего негромко жить и без истерик отойти в мир иной. Рассказ напечатали в «Чусовском рабочем». Скажу, кстати, что прошлой зимой вместе с П. Николаенко, с которым хоронили Мотю, побывали мы в Барнауле, в его семье. Хорошая семья; дочери — славные, достойные люди, внуки... А Мотя лежит где-то в полях, в братской могиле. Поплакали мы, выпили, помянули его...

Бывает, что сюжет возникает из одной «детали», которую подбрасывает память. Слышал я в 44-м, как в окопе ночью кто-то пел, не арию пел, а тянул протяжную мелодию, и все вокруг постепенно смолкло. Через годы же вдруг написался рассказ «Ария Каварадосси».

«Царь-рыба» обязана своим появлением на свет моим братьям, выросшим на Севере, их рассказам. Один из них отчасти представлен в облике Акима. Слышал я нарекания, что, мол, неактивный мой Аким. Аким — хо-

роший человек, и я старался показать такого, какого люблю: доброго, чистого, открытого. Дай-то бог, чтоб на свете таких людей было как можно больше, тогда и зла будет намного меньше. «Царь-рыба» получила читательское, общественное признание, которое подтвердило, что все-таки прав я в своих мыслях об Акиме.

Когда читаю рассуждения иных критиков, то думаю о «Хозяине и работнике» — моем любимом произведении Л. Толстого. Напиши сегодня подобную вещь кто-нибудь из современных авторов (имею в виду, конечно, не художественное исполнение, а ситуацию), тотчас бы нашлись, уверен, критики, которые бы обвинили его в том, что хозяин написан «не так». Ведь хозяин — кто? Эксплуататор, паразит, а у паразита и нутро должно быть паразитское — как же он вернулся спасать работника? Толстой видел и понимал человека во всей его сложности, с противоречиями, иногда чудовищными.

Закаливание собственным недовольством, неудачами, что ж, «на ошибках учимся» — это одно, это помогает писателю расправить крылья, обрести свой стержень. И совсем другое — когда критики, любящие баюкать пусть слабое, но зато бесспорное творение, начинают бесцеремонно одергивать пишущего писателя. А ведь не у каждого хватит и веры в себя, и характера, чтобы оставаться самим собой, не идти путем, что протоптанней и легче.

Критики ругают — а произведение живет, и долго живет. Критики хвалят — а книга умирает. Время все ставит на свои места.

Многие считают, что в моих вещах все насквозь автобиографично. Они заблуждаются. Даже портрет бабушки в «Последнем поклоне», который читатели рассматривают буквально как фотографию моей бабушки Екатерины Петровны, содержит обобщения, черты пририсованные. А Генка Гушин из рассказа «Дикий лук» — тот весь придуман, у него не было конкретного прототипа. В «Пастухе и пастушке» выведен образ фашиста — символ человеческой дикости, варварства. По поводу этого немца возникло кое у кого недоумение: где такого именно я видел? Привычка к трафарету, к стереотипу мешает восприятию и пониманию образа. Где видел? Может, наяву, а может, и во сне, но именно такой он выражал мою мысль, идею.

Еще из «творческой лаборатории». Опять пришла зима. Холодно. Эта строка приснилась мне теплой летней ночью.

Веду в Овсянкинской школе «час литературы», «час поэзии». Рассказываю, читаю стихи — и классику, и современных наших поэтов: Твардовского, Смелякова, Ахматову, Ахмадулину, Евтушенко, Федорова... А начал с китайской поэзии, с Ду Фу. Но вижу: не понимают, не отказался, но отложил, вернемся позже.

Хочу, чтоб загорелись ребята интересом к слову, чтоб учились читать, чтоб не проходили литературу, а прочувствовали, продумывали. Чтоб не складывали свои школьные сочинения из штампованных наборов деталей — «типичный представитель», «положительный герой», а писали пусть и коряво, но зато по-своему.

Вспоминаю, как в пятом классе в Игарке вел у нас уроки литературы и русского языка И. Д. Рождественский, потом известный сибирский поэт. Он часто заставлял нас писать сочинения на вольные темы и однажды велел рассказать о летних каникулах. А я как раз месяц назад заблудился в заполярной тайге, смертельно испугался поначалу, потом опомнился, держался у неизвестного озера по-таежному умело и на четвертые сутки живой вышел к Енисею. Сочинение я назвал «Жив». Учитель читал его классу вслух, а меня благословил редкой и оттого особенно дорогой похвалой: «Молодец!» Спустя много лет я вспомнил это сочинение и написал рассказ «Васюткино озеро». А когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, поставил первый в жизни автограф человеку, который привил мне уважительность к слову, пробудил жажду творчества.

Первые произведения в моей жизни я не читал, а слушал — читать тогда просто еще не умел. Это были «Кавказский пленник» Толстого и «Дед Архип и Ленка» Горького. Их я не перечитывал и никогда перечитывать не стану, их и по сей день слышу.

Думаю, что лучшей проверкой достоинства произведения является проба «на слух», чтение перед читателем. «Немые» вещи рождаются оттого, по моему разумению, что слову не предшествовал «звук», что не зву-

чала внутри автора та мелодия, без которой «спеть» вещь невозможно.

Хорошая музыка может многому научить писателя, способствовать ритмическому образованию прозы. Слушаю Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского, и рождается первая фраза, такая важная для всей тональности вещи.

В Москве слушал оперу. И хотя состав солистов был будничным, я остался очень доволен и в порыве благодарности стал хлопать и орать: «Браво!» Рядом с кислой миной на лице сидел музыкальный знаток и досадливо на меня косился. «Я счастливей тебя, — сказал я знатоку. — Мне еще многое нравится».

И еще о «знатоках». Дитем я был, услышал по радио песню и с утра до вечера все повторял ее красивые слова: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...» «Мирской» — было что-то непонятное, и я пел «морской». Иду из школы по снежным игарским убродам и пою себе под нос. А впереди женщина замедлила шаги, обернулась: «Мальчик, ты неправильно поешь». — «Как это неправильно?» — хотел возразить я, но, застигнутый врасплох замечанием взрослого человека, промолчал, проскользнув мимо. А песня более во мне не возникала. И вот ныне мне хочется сказать той женщине и всем, кто обрывает поющего ребенка: «Дети, коли им хочется петь, всегда поют правильно. Это вы, взрослые люди, разучились их правильно слышать».

1984

ЖИЗНЬ — ВЕЛИКОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Вопросы нравственности сами по себе возникли не вчера и не сегодня. Жизнь, движение ее, формирование общества рождает новую мысль, а мысль — это вечное, неостановимое, не имеющее границ и не знающее пространств явление.

Другое дело, что люди, общество вынуждены на том или ином отрезке времени заострять внимание на злободневных, не терпящих отлагательства делах и как бы приостанавливаться перед препятствием на разумном пути человека к совершенству.

Роковым препятствием на благородном человеческом

пути была и остается война — самое безнравственное деяние из всех, какие породил человек. Но люди упорно борются за то, чтобы само слово ВОЙНА упомянулось бы со стыдом и раскаянием теми разумными существами, кои будут жить после нас и ради которых мы живем ныне и работаем.

И то, что наше общество так заинтересованно, все-сторонне подступает к решению нравственных вопросов, свидетельство тому, что духовная жизнь советских людей приблизилась к очень важному этапу в своем развитии, этапу самопознания. Послевоенная жизнь устоялась, мы успели перевести дух, осмотреться, залечить раны, пусть и не все, вплотную наконец подойти к решению проблем не только текущей жизни: развития промышленности, сельского хозяйства, удовлетворения материальных потребностей трудящихся, но и воспитания людей, прежде всего молодежи. Старомодно выражаясь, мы наконец-то получили возможность во всей полноте заниматься человеческой душой, и прежде всего столь сложным и хрупким инструментом занялась наша литература.

И сразу при таком вроде бы закономерном переходе литературы от внешнего изображения советского человека к попытке постичь его сложнейший внутренний мир получилось замешательство, читающая публика как бы сбилась с ноги, с маршевого шага строем, колонной, группой, и, когда ей представилась возможность идти «не под чей-то шаг», а самостоятельно, то есть не только читать, но и думать, появился налет раздражительности, а все оттого, что в книгах современно мыслящих авторов не стало, как в старом задачнике для начальных школ, писаться ответов в конце, более того, сами они не часто пусть, но честно и откровенно признаются, что еще не в состоянии не только решать, но и постичь архисложные вопросы современности, однако ж доросли до их постановки и совместного с читателем осмысления.

Этот процесс естественный, традиционный для отечественной литературы. Такие титаны нашей литературы, как Пушкин, Толстой, Достоевский, жизни свои положили на решение общечеловеческих вопросов и помогли обществу в самопознании, в осмыслении мира, но усилий даже лучших умов человечества, их титанической работы оказалось недостаточно на пути борьбы со злом и насилием — на мир и землю, до стона ими

любимую, одна за другой только на слиянии двух веков обрушились несколько губительных войн, и почти все они не минули русского народа, все они прошлись испепеляющим огнем по полям России, по нашим нациям — пуля, попавшая в советского солдата на последней войне, все продолжает лететь в пространстве, все выкашивает шеренги, и где, когда остановится полет этой пули? До сих пор сняты вдовам погибшие мужья и нерожденные дети, и все пустеют и пустеют дальние деревни, зарастают дурной травой поля, раскорчеванные и вспаханные когда-то российским крестьянином-тружеником в поту и надсадном труде.

Невольно вспоминаются вещи и горькие слова многострадального поэта при взгляде на эти заброшенные поля, пашни и села, местами уже упрятанные, укрытые глухой тайгой: «Где же ваш пахарь?» А тут тебе сразу же и бодрый ответ с газетных полос, радио, теле и многих сиюминутных книг: «Пахарь-то? А объединился! Ушел, съехал в современное село с водопроводом и телевизором, с Домом культуры и мехмастерскими...» Никуда не уехал, ни с кем не объединился тот пахарь, о котором идет речь. Он породнился с родной землей, и не осталось от него уж и косточек. Он «сам землю стал» или «каменем», как прекрасно сказал белорусский поэт Кулешов. Не надо заниматься самоутешениями, пусть и ласкающими душу. Не было бы страшного бедствия, войны, — не было бы тех колоссальных потерь, которые мы понесли, не опустела бы так и русская деревня, не зарастали бы жалицей и чернобылом пашни и пахарь занимался бы своим вечным и великим трудом.

Мы слишком приучили себя и читателей к утешительности, слишком долго разжевывали «духовную пищу», вкладывая ее в рот людям, понимая, что им недосуг, — они много и надсадно работали, наконец, они страданиями своими, многотерпением, героизмом на войне заслужили, чтобы с ними обращались ласково, чтоб пожалели их обыкновенной человеческой жалостью, возбудили в них ответное сочувствие к художнику, так светло, уважительно и высоко о нем, простом человеке и воине, поющему.

У нас развелись косяки «мыслителей», болтающих о народе, стрекочущих стихами и прозой «о родной матушке-земле» и «отчем доме», но мало истинно народного среди широкого, шумного, но, к сожалению, неглу-

бокого литературного потока. Хлещет поток на ошеломленных изобилием «духовной пищи» людей, пищи, которую они не только переварить, но порой и принять не успевают. Выпускается двести с лишним картин в год, остается в памяти две-три; выходят тысячи и тысячи книг — разговор идет о пятке-десятке, созданных за последние пятнадцать лет.

Однако, как показывают наиболее заметные произведения последних лет, писатели с трудом да преодолевают тугомыслие, иллюстративность, готовность откликнуться на явления жизни, порой очень важные и потому требующие еще более глубокого, ответственного исторического их осмысления, а вот критика, и в немалом числе, решает задачки с заранее известным ответом.

По инерции, с привычной невозмутимостью и спокойствием критики встретили и отрецензировали, но не осмыслили такие этапные книги последнего времени, как роман «Берег» Юрия Бондарева, повесть «Живи и помни» Валентина Распутина, роман «Комиссия» Сергея Залыгина, цикл рассказов Юрия Нагибина о сложных, порой непостижимо мучительных движениях души, деяниях и жизни писателей, музыкантов и просто исторических личностей, наделенных величием духа, воли, среди которых особо выделяются мастерством и изяществом «Остров любви» — о Третьяковском, «День крутого человека» — о Лескове.

Значительные эти вещи остались почти не замеченными критикой, а ведь это заметное явление в современной литературе.

Принципиально новый, мучительно давшийся автору роман «Берег» как-то очень удобно был уложен критикой в некую обойму произведений о войне. От всего сердца, порой горячо толковали о привычном «голубом» лейтенанте Княжко, и сделан при всем этом вид, что не прочли критики, не постигли вещей куда как более серьезных, но непривычных устоявшемуся стереотипу, прежде всего тему одиночества современного человека, его эгоистического отношения к жизни и неизбежно — к труду, а значит, и к творчеству, неутолимого стремления, тоски художника по тому зеленому, теплым солнцем залитому берегу, где его мятежная душа нашла бы наконец успокоение; современно заостренного внимания на самсоновщине, на этом высокомерно себе присвоенном праве некоторыми «художниками» всеми руководить и направлять их на «путь истинный», а путь этот давно

известен, обкатан, заезжен до колдобин — обывательщина, мещанство, которое, как показывает автор, охотно и быстро меняет любой мундир, в том числе и мундир фашиста на цивильный костюм, ибо от равнодушного ко всему, кроме себя, обывателя до бездушного убийцы и грабителя один только шаг. Автор не убоился проследить этот шаг мещанина не только «из отсюда», но и нашего доморощенного, и не только творческого надзирателя Самсонова, но и отечественного молодца, который, изувечив человека, может еще и пограбить его в присутствии милиции, прикрываясь словом «работяга». Очень нужная, очень страстная и мужественная книга. Не секрет ни для кого, что у нас появился разряд молодых, и не только молодых, людей, которым слово «рабочий» служит щитом для прикрытия паразитических намерений: желания прожить за счет общества, не работая, есть и пить, и желательно не воду, а вино. Совсем недавно, на днях буквально, я видел, как здоровенный и жизнерадостный советский трудящийся за день прибил к ограде строящегося детского сада пятнадцать штaketин, его трое сотоварищей по бригаде за это время выкопали четыре ямки под столбики палисадника, но тарифную ставку им, конечно же, выплатили, и они ее, конечно же, не моргнув глазом, получили. Все мы слишком долго и упорно повторяли и повторяем: труд — это праздник, вот и идут у нас иные, с позволения сказать, рабочие на смену как на праздник...

И еще одна очень важная особенность современной жизни с пронзительной болью изображена Юрием Бондаревым. Кто читал роман, уж не забудет блистательно написанных страниц о том, как Никитин и его жена переживают, почти умирают вместе со своим неожиданно скончавшимся маленьким сыном, одетым в эти незабываемые чистые, беленькие гольфы. Сильные современные люди, а вот в горе остаются вдвоем на свете, становятся вдвойне необходимыми друг другу, и один, в особенности одна готова «взять» горе мужа, освободить его от тяжелого бремени, смертельно согнувшего его, ибо она, женщина, не только с ним, но и за ним. Сломайся он, что будет с нею? Ни одного слова о любви! Никаких таких рассуждений о тонкости чувств, но в горле закипают слезы, когда читаешь это, и как-то странно выглядит вся демагогия о современных дамочках, получивших свободу, равную с мужчинами зарплату, но не знающих, как распорядиться такими ценностями, да и

собой тоже. От незнания, от неподготовленности к вольной жизни порой ударяются в крайность наши «интеллектуалки» — давай запугивать мужчин, добиваться возможности повелевать ими, хозяйствовать в доме, и, если б возможно было, иные из них и обязанность рожать на мужчин переложили бы, чтоб самим предаваться в это время интеллектуальному развитию, умственности, порой не прочь бы — свободной любви. Что из этого «бабьего рая» получается, хорошо, точно, с чувством сострадания, не без умной иронии показано в романе Сергея Залыгина «Южноамериканский вариант». Два его последних романа, особенно роман «Комиссия», я считаю выдающимися произведениями нашей современной литературы, но опять же и перед романом «Комиссия», что и говорить, произведением сложным, многомерным, критики потоптались, потоптались и подвергли его поверхностной стрижке и выхолащиванию, увидели в нем лишь то, что ближе и на привычных местах лежит, — сложность исторического времени, крестьянский уклад жизни, любовные коллизии, но главную мысль романа о том, что, убивая крестьянина, сводя его с земли, тем самым убивают не только смысл и суть жизни, но и самую жизнь, опять отчего-то, как и в романе «Берег», критика «не заметила». Надо уметь так упорно не замечать «слона»-то, натореть крепко в этом деле.

Кто спорит, перестраиваться, ломать себя, свое привычное, равномерное житье трудновато, да и лень это делать, но придется, неизбежно придется — заставит жизнь, и тогда, как осенние листья, осыплются с критического древа те поднаторевшие в шаблонных оценках любых произведений литературы бойкие рецензенты или «тихие» критики вроде Бор. Леонова, целиком переключившегося на обслуживание писательского руководства. Не все, пусть не все, но критики понимают: между официантом, подающим «сладкое», и критиком есть все-таки разница. Жаль, что писатели, обслуживаемые критиком вроде Бор. Леонова, не читают сомнительных комплиментов подобных критиков, а если читают — не стыдятся их похвал и не останавливают мутный, паточный и до того уж засахарившийся словопоток, что в нем глаз вязнет и тошнит от него.

Но речь все же не о таких вот делягах, коим работать бы на конфетной фабрике, речь о том, что критике серьезной, мыслящей полагается идти если не впереди

жизни и литературы, то хотя бы в ногу с ней, а она все еще плетется где-то в литературном обозе. Между тем жизнь выдвигает и ставит перед литературой, а значит, и перед критикой все новые и новые проблемы, зачастую вроде бы «неожиданные».

Много десятков, если не сотен, лет вся мировая, и прежде всего русская, литература развенчивали индивидуализм крестьянства, забитость, разобщенность, алчность и суеверия самой отсталой части трудового народа.

Но вот наступила «новая эра», так называемая урбанизация. Время смело в одну кучу всех, и тут бы в ладоши захлопать: вот теперь конец мироеду и скопидому, копающемуся на клочке земли, все теперь вместе, рабочие, крестьяне, интеллигенты, жить станем братски, дружно. Ан отчего-то не очень пока получается.

Мое родное сибирское село насчитывало до войны почти двести дворов, и все от мала до велика в этих двухстах дворах знали друг друга не только по имени, но и прозвищу, гуляли в праздники, катаясь волной с нижнего конца на верхний, с верхнего на нижний, и дрались по тому же территориальному признаку: верховские на низовских и наоборот. Урбанизированные вчерашние крестьяне, ныне живя в современных блочных домах, зачастую не знают жителей своего подъезда и, если внизу кого убивают или грабят, могут не выйти на крик о помощи, а я вот по сей день слышу крики на берегу и вопли женщин — это какого-то дурака понесло через Енисей во время подвижки льда, и, спасая его, наших деревенских мужиков утонуло четверо.

Скопление людей в городах под одной крышей усовершенствовало деревенскую мораль не в лучшую сторону, она, эта мораль, от прошлой далеко не ушла и особо нового ничего не обрела, пить и безобразничать в коллективном доме не перестали, а вот отделиться друг от дружки и породить какие-то новые, доселе неслыханные и невиданные формы дебошей и развлечений смогли.

Кто не видел исковерканных перил в новых домах, сожженных почтовых ящиков, побитых лампочек, вывороченных керамических плиток в полу? Не знающие, куда деть свое время, силушку свою и себя, подростки разгромили недавно в нашем городе новый дом, приготовленный к заселению. И возглавил компанию погром-

щиков не кто иной, как учащийся ПТУ, который во время практики работал в этом доме и то, что вчера делал, сегодня громил: стекла, унитазы, трубы, перегородки. На вопрос: зачем он это делал и почему? — начинающий труженик-строитель ответил: «Не знаю».

Стремление к погромам, насилию, незнание, куда девать свою энергию и время, нежелание и неумение обдумывать свои поступки не может не настораживать. Об этом нужно говорить, думать, тревожиться, ибо бездуховность эта, если не сказать — безмозглость, совершается одновременно с развитием творческой и технической мысли молодежи, поражающей воображение изобретениями и гипотезами. Словом, одни изобретают, выдумывают, творят, а другие окна бьют и гайки отвинчивают.

Мне могут сказать — это частности. Ну, во-первых, из частных-то и складывается общее, а во-вторых, «прошрое», скажем мягче и привычней — наследие его, совсем близко отстоит от сегодня, на какие-то два-три десятка лет, однако и этот срок велик по нашему стремительному времени. Любить человека, пусть и передового, советского, — это не значит заискивать, приседать перед ним. Об этом напоминает нам сегодняшней герой — командир боевого советского крейсера — из лучшей, на мой взгляд, вещи, написанной в последние годы о современной армии, повести «Год без весны» Вячеслава Марченко.

На боевых стрельбах у одного из башенных командиров случилось ЧП — он неудачно отстрелялся. Прошел разбор стрельб на офицерском собрании, и капитан заметил одну его покоробившую особенность и вот что сказал по этому поводу: «Не понимаю, товарищи офицеры, не понимаю. Вашему товарищу плохо, а вы вроде бы даже радуетесь. Чему же здесь радоваться? Только тому, что это случилось с Веригиным, а не с вами? Помилуйте! А кто мне даст гарантию, что подобное не случится с другим или третьим?..»

Иные наши писатели так наприседались, что порой и пишут с присядки, глядя на современного человека снизу вверх, — такое отношение героя и творца унижительно для обоих, тем более что труженики далеко не однородны и не однолики.

Мы порой умиляемся теми, кто осваивает новые земли, вкальвает на Севере в Заполярье, а там среди масс доподлинно честных людей скрываются рвачи, и

бродяги, и алиментщики, и преступники, и просто всякий мусор, охотно выдающие себя за «самое передовое».

Один беглый алиментщик, не одну уже семью бросивший на своем «славном» трудовом пути, не одну женскую жизнь поломавший, угодил недавно в положительные герои поэмы о строителях БАМа, а все оттого, что автор ее никак не может избавиться от горячности и всеядности, в материал не вживается, берет его «на шарап», как когда-то голодные подзаборники хватали булку хлеба с прилавка.

Я думаю, что и наш разговор о нравственности и само нравственное воспитание трудящихся должно идти по пути взаимной строгой взыскательности и честной откровенности, а не привычных уже похлопываний друг друга по плечу. Пора «маниловщины» минула, и надобности в ней нет. Люди наши, все общество в целом, как показывает жизнь, вполне созрели не только для постановки сложных, порой «больных» вопросов нашего бытия, но и решения многих из них, в частности вопроса сохранения природы, ибо, чтобы жить, надо есть и пить, чтобы работать, надо мыслить, а чтобы все делать, то есть жить, мыслить, работать, необходимо позаботиться о «своем доме», сберечь, обиходить его, «дом-то», нашу мать-землю, которую, пока мы, закрыв глаза, пели ей оды и гимны, изрядно изранили войны, нахраписто наступающий прогресс и просто человеческое бездумье и беззаботность, которые, кстати, тоже сами по себе не возникают — они самая показательная продукция человеческой безнравственности.

Круг замыкается: человеческая мысль движет человеком, стало быть, душа его жива и дышит теплом, ибо холодом может дышать только смерть, и, пока душа жива, пока она трепещет и чего-то ищет, возможно и нужно отданное ею тепло употребить на согрев ближнего, прежде всего обездоленного и так называемого малого человека; потребность поиска и познания себя и мира окружающего надо направить в животворное русло добра, помочь человеку утолить жажду о вечном мире на земле — и эти главные вопросы человеческой нравственности, появившиеся вместе с мыслящим человеком, так и остаются навечно животрепещущими, самыми важными, всегда во всей громадности стоящими перед художником, стало быть, и перед нами, причем перед нами — прежде всего, ибо выпало нам жить и работать в очень

сложное и ответственное для всего человечества время и в государстве, идущем в авангарде борьбы за мир и счастье на земле, — Стране Советов.

1978

О ЛЮБИМОМ ЖАНРЕ

Речь пойдет о рассказе. О любимом жанре. И любимом не только мною. Надо бы подробно поговорить о стиле, языке и эволюции рассказа, о том, что способствовало его развитию и что сдерживало. Но во-первых, я не силен в теории, а во-вторых, так много наболело, что прежде всего и говорить приходится о наболевшем.

Далеко не все рассказы, появляющиеся в периодике, я читал и читаю, но даже то, что прочитано и запомнилось, представляет собой отрадную картину по сравнению с тем, что было у нас в рассказе лет пятнадцать назад.

Одно лишь перечисление хороших и разных рассказов заняло бы, пожалуй, половину статьи. А ведь есть простая истина, что на голом месте ничего не вырастает. Разумеется, начало всех начал в литературе прошлого. Там у нас такие достижения в новеллистике, такие классные произведения малой формы, что учиться и учиться нам, черпать и черпать.

И однако же возьму на себя смелость заявить, что современные наши писатели не посрамили, а приумножили славу русского рассказа. Далось это не так уж просто.

Перекинемся мысленно к концу сороковых — началу пятидесятых годов. На убыль пошел сделавший огромную работу рассказ, прямо нацеленный, боевой, экипированный незамысловато и просто, как солдат, без лишней «лирики», без обременительных красот, без тонкого анализа «сфер жизни». Рассказ подвига и горя, рассказ борьбы и стойкости характера, он часто писался с натуры, по горячим следам и шел в основном от устного, непосредственно услышанного или записанного рассказа. Склонность нашего народа к устному повествованию оказала и оказывает на русскую новеллистику наиглавнейшее влияние. И любовь читателей к этому жанру проистекает отсюда же — читатель и писатель как бы помогают рождению и совершенствованию друг друга.

Итак, рассказ военных лет сделал свою работу, на-

чал отступать в сторону. Мудро и хитровато прищурясь, он как бы спрашивал: «Ну, ну, что вместо меня, грубошерстного, не очень складного, порой жестокого, последует?»

Увы, на смену ему хлынул поток сладкой стряпни, облепленной медом, кремом, облитой сиропом, преимущественно розовым. А так как из крема, меда и сиропа пирога все-таки не состряпаешь, то начинка оставалась все та же. Но как его, милого трудягу-окопника, устряпали! Сколько на него пишущих мух насело!

И сразу теории появились: это закономерно, так и должно быть, сухари солдатские надоели. Подай сладкого! Победители заслужили!

Но, кроме закономерностей теоретических, есть еще и жизненные, устойчиво неопровержимые, согласно которым сладкое надоедает даже скорее, чем горькое. Безликий конфетный рассказ пасхального характера очень быстро приелся, однако дело свое успел сделать — честных писателей от малой формы отпугнул, новых не подготовил, ибо он бесплоден в своей сущности и ничего родить не мог и не может.

Однако жива была и делала свою работу наша великая дореволюционная литература, литература тридцатых годов, военных лет. Она перемолола и перемелет еще не одно литературное поветрие, поднимала и поднимет не одно поколение писателей на своих крепких плечах, непоколебимых плечах, добавил бы я!

Ей, именно ей, могучей нашей отечественной литературе, обязаны появлением такие превосходные писатели-новеллисты, как Юрий Нагибин, Сергей Антонов, Владимир Тендряков, Борис Бедный, а чуть позднее — Сергей Никитин и Юрий Казаков.

Много писалось, иной раз с иронией, что вот-де Антонов под Чехова работает, Казаков — под Бунина, а Нагибин — под Платонова.

Тяжелее всех пришлось, пожалуй, в этом смысле Сергею Петровичу Антонову (есть в литературе его однофамилец, потому ставлю отчество), ибо Бунин широкому кругу читателей еще не был известен, Платонов — тоже, а Чехов издавался много, почитаем был и читаем, и подогнать Антонова под Чехова, наверное, не составляло большого труда (думаю, что любого русского писателя, при желании и ловкости, «подогнать» можно, ибо каждый из нас любит русскую литературу, воспитан ею, а любовь пристрастна и взаимосвязана!).

Но вот что интересно: обвиняя этих писателей в подражании, а порой и прямо в эпигонстве, наша критика до сих пор не составила себе труда объяснить: а какое же влияние оказали они на современную новеллистику, как сумели пробудить, а потом и повести за собой (именно повести!) сначала жиденский, а затем все более крепчайший строй современных рассказчиков?

Перво-наперво произошло это потому, что они начали писать хорошие рассказы. Разве забудешь номера «Нового мира», в котором появились такие рассказы, как «Дожди» Антонова, «Трубка» Нагибина, «Новый сотрудник» Бориса Бедного? Рассказы, которые и до сих пор составляют честь нашей новеллистики! Кроме того, в своих произведениях перечисленные авторы выступали так, будто им плевать, что рядом, в особенности в тонких журналах, сюсюкал дамский розовенький рассказец, они дали всем понять, что есть прекрасная русская новеллистика, где человек, его характер, его дела и страсти, его поиск смысла жизни и, наконец, русская природа — сущность всего. А если к этому добавить, что в рассказах этих писателей действовал и жил наш современный человек с близкими нам мечтами, страданиями и радостями, то станет понятен такой огромный, разом завоеванный ими интерес к своей работе.

«Им было хорошо! — слышал я не раз от нынешних рассказчиков. — Шаром покати было в рассказе. Сейчас бы попробовали!»

Что верно, то верно. Сейчас потруднее входить в литературу с рассказами. Сейчас тут такое соревнование! Но... Но опять же оно стало возможным благодаря работе и стараниям этих писателей.

Они ведь не только писали рассказы. Они еще и отстаивали их, завоевывали им «печатную площадь» и внимание критики.

Статьи Сергея Антонова в газетах и журналах часто практического характера о том, что рассказ почти исчез со страниц «толстых» журналов, что сборники неохотно и плохо издаются, что надо печатать ежегодник лучших рассказов, — эти статьи появились раньше, чем «письма о рассказе». Человек не только писал рассказы, но еще и добивался их «реабилитации», руководил семинарами молодых новеллистов.

То же самое можно сказать и о Юрии Нагибине — сколько его выступлений в поддержку рассказа, сколько рецензий на новые, часто первые книжки писателей,

а порой и отдельные рассказы появлялись за его подписью в «Литературе и жизни», в «Литературной» и других газетах. Спасибо им от идущих следом за ними. Своей самоотверженной работой они сделали большое, не только писательское, но и гражданское дело.

Должен заметить, что в ту пору ведущий отряд наших новеллистов большей частью группировался в журнале «Огонек». Тогда этот журнал задавал тон в рассказе. Будучи его читателем, я с нетерпением ждал каждый его номер, и какие радостные открытия тут бывали! «Кардон-217» и «Корзина с еловыми шишками» Константина Паустовского, «Поддубенские частушки» Сергея Антонова, «Сын», «Ночной гость» и восхитительный «Комаров» Юрия Нагибина, «Крах», «По ягоды», «Семь слонов» и другие рассказы Сергея Никитина, «Кассирша», «Непогодь» Николая Воронова, «Скорпионовы ягоды» и «Сильва» Руфи Зерновой, «Мокрый снег» Веры Устиновой, «Ожидания» Александра Рекемчука, рассказы Бориса Бедного, Юрия Казакова, Станислава Мелешина, Анатолия Ткаченко и многих других авторов.

Сейчас эти писатели редкие гости в «Огоньке». Как жаль! Журнал массовый, умеющий хорошо оформлять, подавать и поощрять рассказы, взялся печатать детективы с продолжением. Но детективы печатают почти все журналы, тонкие и толстые, а вот культуру рассказа развивают далеко не все. Более того, на мой взгляд, такие журналы, как «Работница», «Крестьянка», «Советская женщина» и военные журналы, как будто специально существуют для того, чтобы скомпрометировать жанр рассказа, и печатают такие поделки, которые зачастую ничего общего с литературой не имеют. А ведь у них многомиллионные тиражи! И получается, что в массы идет макулатура вместо литературы.

Хочется похвалить тонкий журнал «Сельская молодежь», который на протяжении последних лет упорно стремится объединить у себя лучших наших новеллистов и добился заметных успехов в этом деле. Авторы «Огонька» постепенно перекочевали туда, где их приветливее встречают. Нагибин, Казаков, Ткаченко, Шукшин, Прокурин, Якубовский, Куваев все чаще появляются на страницах содержательного боевого журнала «Сельская молодежь». Кстати, журнал этот издает приложение, и издает недурно. Не возьмет ли он на себя добрую работу — печатать ежегодник лучших рассказов, тот са-

мый, что молча похерило издательство «Советский писатель»? Это уважаемое издательство само его породило и само его убило, подбирая для сборника не лучшие рассказы года, а те, что составителю были по душе. Составители же начали руководствоваться в последних выпусках сборника не литературными, а конъюнктурными соображениями. И погубили сборник. Был — и нету! Будто корова языком слизнула.

Издание такое необходимо. Надо ж ведь как-то руководить потоком, предлагать читателю действительно лучшее и таким образом приучать его к хорошему рассказу, формировать его вкус.

Есть у нас журнал «Наш современник», которого прямая задача печатать и пропагандировать современный советский рассказ. На мой взгляд, он не всегда справляется с этой работой. Наряду с отличными рассказами, такими, как «Браконьер» Юрия Нагибина, «Кони» Василия Белова, «Ноев ковчег» Александра Борщаговского, «Тиргартен» покойного Василия Гроссмана, маленькими повестями «Падучая звезда» Сергея Никитина и «Затмение луны» Евгения Носова, здесь появляются произведения вялые, тянучие, с плохим языком. И пока тут, к сожалению, больше этих вещей, чем тех, на фоне которых хилость их особенно заметна.

Думается, что более строгий и принципиальный отбор (разумеется, не перестраховочный) для публикации, более активная и настойчивая работа с авторами помогли бы этому журналу быть интересней и не выходить с такой бледной обложкой к читателю, с какой он выходит сейчас.

Одно время началось у нас доброе дело — издание книжки рассказов. Началось оно на периферии, и, если мне память не изменяет, первым стало печатать такие книжки Пермское издательство. Оно отбирало пять-шесть рассказов и в разноцветных обложках, с не всегда хорошим, но броским оформлением выпускало их. Первые выпуски расходились очень хорошо. Но любое хорошее дело таит в себе пороки, если его захлестывает дух кампанейщины.

Пермское издательство придумало, начало, и тут пошло-поехало. Одно за другим областные, а затем и центральные издательства взялись выпускать книжки рассказов, очерков, а где и «кашу» — очерки и рассказы вместе. Прилавков книжный завалили продукци-

ей, дешевой не только по цене, но и по содержанию. Результат?

А перестали покупатели брать тоненькие книжки. Серийное производство погубило их. Сейчас осталась в живых лишь одна библиотечка «Короткие повести и рассказы», издаваемая «Советской Россией». Но серия «Короткие повести и рассказы», видимо, здесь пущена на самотек, так как книжки этой популярной серии тоже издаются ныне серо, и создается впечатление, что порою писатели тащат в них отходы: то, что не пошло в журнале или не вместились в сборник.

Много сделала и делает для рассказа «Литературная Россия». Настойчивость ее в этой работе достойна всяческого одобрения. Но рассказы тут печатаются тоже неровные. Еженедельнику изменяет вкус, и над соображениями эстетического порядка нет-нет да и возьмут верх соображения юбилейно-конъюнктурные, о чем уже говорилось в критике.

В чем же все-таки видятся основные пороки современного рассказа? Может быть, они, эти пороки, в рассказе заметней оттого, что читаю я их с пристрастием, да и на «маленькой площадке» виднее все и заметнее.

Болезнь, по-моему, старая — упрощенчество. Раньше оно как-то не так бросалось в глаза. А может, были мы к упрощенчеству приучены? Писатели как бы не затруднялись проникнуть в глубь явления, остановиться и подумать над фактом. Он, этот факт, выступал большей частью в голом виде. Затопили, допустим, корабли в черноморском порту, а потом, при обороне этого порта, моряки без водолазных костюмов ныряли и из затопленных кораблей доставали снаряды и крушили ими врага.

Героизм? Да еще какой! Достоин такой материал художественного отображения? Еще как достоин! Так и писалось. Вот моряки-герои ныряют, достают, рискуя жизнью, крушат врага.

Но современный рассказчик, взявшийся за эту тему, обязан еще подумать вот о чем: как это умудрилось командование нашего флота задолго до прихода фашистов затопить корабли вместе с боеприпасами, заранее зная, что порт придется оборонять? Зачем оно вынудило людей совершать героические поступки и гибнуть при этом, тогда как можно было без этого обойтись, дольше удержать порт и без паники эвакуировать население?

Короче: современный писатель обязан проникнуть в глубь явления, зайти на него со всех сторон и семь раз отмерить, а потом уж отрезать. Всегда ли так у нас получается? Нет, не всегда, и далеко не всегда. Достаточно напомнить поток романов, повестей и рассказов о подъеме целины, где молодые герои только то и делают, что тушат горящие хлеба да замерзают в безлюдной степи. А их, между прочим, туда посылали не тушить и замерзать, а работать, поднимать целину, растить и убирать хлеб.

Ей-богу, из всего огромного потока «целинной литературы» сейчас помню один-единственный рассказ Сергея Никитина «Бессонница». Остальное забылось, улетучилось из памяти, как легкая пороша.

Не утверждаю и не берусь утверждать, что упрощенчество осталось на прежнем уровне. Нет, оно стало гибче, что ли, его иногда не сразу и обнаружишь — так оно покрыто изящной словесностью, недурно написанным пейзажем и даже грустноватым настроением, которое особенно успешно прикрывает фальшь содержания и уносит на волне своей от существа дела.

Вот пример такого тонко замаскированного «художественностью» упрощения.

Он и она встретились у неглубокой российской речушки. Он на мотоцикле, она так. Он — хороший, мешковатый мужик, с чуть замкнутым характером и усталостью прожитых лет. Она тоже в годах, тоже не очень словоохотливая, и тоже лежит на ней печать нелегко прожитых лет.

Он помог ей переправиться через речушку. И тут обнаружилось то самое: «Отчего ты мне не встретила в те года мои далекие?..»

А не встретила оттого, что он воевал и, вернувшись с войны, сразу же женился, нажил детей. Она тоже, как закончилась война, вышла замуж за фронтовика. Время спрело. Годы не ждут.

Теперь вот встретились незнакомые друг другу он и она. И полюбили. Трудно без любви-то. Она, как говорится, на роду написана, и поздно или рано...

Чем же закончилась эта история? В городе, на конференции, долго избегавшие друг друга, он и она встретились и объяснились. И она отшила его, сказав, что у него и у нее дети, семья и что прожить им надо честно. Словом: «Я другому отдана и буду век ему верна».

Все правильно, все как в учебнике алгебры, где в конце имеются ответы на любую задачу. Хорошая женщина не пошла, что называется, «на поводу» у страсти. Только когда я дочитал этот рассказ Н. Почивалина под минорным и красивым названием «Запоздалая звезда», мне отчего-то вспомнилась грешная и вечно живая шолоховская Аксинья. Она как-то ближе мне и родней, чем эта «правильная» героиня. Кстати, такая же героиня есть в рассказе Н. Почивалина «Мимо» и в других.

Хитрит писатель, «тонко» хитрит. Его по одному-то рассказу, пожалуй, и не раскусишь. Вот когда прочтешь об одной, другой, третьей героине, выпрямленной и обструганной, как оглобля, тогда уж начинаешь себя хлопать по карманам, искать сигареты, чтоб закурить от «переживания». И сказать хочется, и не только Н. Почивалину, а целому отряду литераторов, которые не в силу бесталанности, а по каким-то другим соображениям мельчат явления жизни, маскируют суть умильными, назидательными проповедями. Милые мои, хочется сказать, ваше вторжение в «эту область» не только наивно и дешево, но и унижительно для писателя. Упрощать, а точнее, оскоплять правду жизни недостойно литератора, талантливому к тому же.

Мне по газетным делам довелось как-то в одном районном городе (лет десять спустя после войны) листать книгу записей гражданского бракосочетания, и бросилось в глаза: невесты старше женихов, и порой значительно старше. Я и без этой книги знал, что целому поколению наших людей пришлось пережить семейную драму, а порой и трагедию. Ведь большинство фронтовиков, изголодавшихся по ласке и семье, с ходу, часто на первой попавшейся девушке, женились, обзаводились семьями. Разумеется, и женщины с ходу же праздновали свадьбы. Да и какие там свадьбы! Тогда не женились и не выходили замуж, а больше сходились. Был такой термин — обидный и точный. Неустройство, нужда и многое-многое другое наваливалось на молодоженов, сошедшихся зачастую без любви, сошедшихся в пути, в бездомье. Сколько потом разваливалось этих скороспелых семей! А сколько и уцелело их, безрадостных, спянных только детьми и привычкой совместного житья!

И не раз, и не два случалось, что, осмотревшись, пообвыкнув, люди понимали, что они чужие друг другу,

и находили того в пути, у речки ли, в соседней ли деревне, кто и назначен был судьбой. И не очень-то «благополучно» завершались и завершаются такие встречи.

Мне не по душе те рассказы и маленькие повести, где авторы с уклоном в густопсовый реализм заключают нашу женщину в злосчастное одиночество, чаще всего в заезжий дом или в окраинную деревенскую избу; и она только тем и занимается, что подпивает случайных мужиков и волочит их к себе в постель.

И в том и в другом случае то же самое облегченное отношение к жизни, нежелание осмыслить ее, проникнуть в суть явления. Мыслящий художник всегда шел от частного к социальному. Ремесленник же, зажмурившись, бежит от социального к частному! Плюхается на мелководье ремесленник — вода там теплее и не опасно, а нырни вглубь — еще водяной утащит! Ну, утопить, может, и не утопит, а рассказ не напечатает.

Ребячья боязнь! Она особенно неуместна и бросается в глаза сейчас, когда рассказ наш и вся литература так возмужали и так твердо стоят на своих неходульных ногах.

Этими рассуждениями я отнюдь не склонен перечеркивать все и сказать, что наша новеллистика пашет «по верхам». Более того, на мой взгляд, такие произведения малой формы, как «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Иван» Владимира Богомолова, «Ухабы» Владимира Тендрякова, «Браконьер», «Перед праздником», «Последняя охота» Юрия Нагибина, «Кушаверо» Георгия Семенова, «Трали-вали» Юрия Казакова, «При свете дня» и «Приезд отца в гости к сыну» Эммануила Казакевича, «К Кузьме за солью» Владимира Сапожникова, «Объездчик» и «За лесами, за долами» Евгения Носова, «Луна над ячменным полем» Климентия Борисова, «Еще о войне» и «Две осени» Виктора Конецкого, «Под парусом» Геннадия Машкина, «Песнь песней» Анатолия Знаменского, «Дожди» и «Порожний рейс» Сергея Антонова, «Бессонница» и «Крах» Сергея Никитина, стоят иных романов, из которых, если «выдавить» воду, не останется ни материала, ни смысла даже на коротенький рассказ, если к тому же иметь в виду такие «коротенькие» рассказы, как «Солнечный удар» и «Чистый понедельник» Ивана Бунина или «Третий сын» Андрея Платонова.

В связи с этим мне опять придется «спуститься на

землю» и потолковать об очень щекотливом вопросе, о котором у нас и говорят, но как-то невнятно, конфузливо. Речь пойдет об оплате рассказа.

В большинстве журналов и издательств он оплачивается по листу, как и роман или повесть. Волюющая несправедливость! Рассказ, в особенности в нынешнее время, требует большой, изнурительной работы, чтобы быть на уровне лучшей современной новеллистики. Два рассказа Евгения Носова «Объездчик» и «За лесами, за долами» — это плод полугодового очень напряженного труда. За это же время один московский писатель накатал роман и повесть, которые тут же были напечатаны — сначала в журнале, потом в «Роман-газете» — и быстренько вышли отдельным изданием в центральном издательстве, а сейчас уже ставятся в кино и театре, потому что они написаны натрелой рукой. Их, эти бойко написанные, хлесткие, но поверхностные произведения, через год-другой забудут, а рассказам Евгения Носова, я уверен, уготована долгая жизнь. Но честно и мучительно работающий рассказчик сидит «на мели», а романист как сыр в масле катается.

Окиньте взором нашу периферийную — да и только ли периферийную! — литературу. Сколько ежегодно появляется толстеньких книг, «наваристых» в основном по гонорару, а не по художественной ценности!

Уравниловка больно отзывается на работе писателей. Ряд наших рассказчиков, лучшие из них, все дальше и дальше отходят от «нехлебного» жанра в кино, в театр. Не от хорошей жизни, наверное, почти забросили писать рассказы Юрий Нагибин и Сергей Антонов и начали делать сценарии, киноповести и так далее.

Как много от этого теряет наша литература и сами ведущие новеллисты!

В заключение мне хочется оговориться: я не претендую на исчерпывающий разговор о любимом жанре. И не моя вина, что пришлось мне толковать о «больных» вопросах. Потребность в этом острейшая. Может быть, да и наверное, не мне б об этом нужно было писать, но я надеюсь, что старшие, более опытные писатели и мои товарищи по перу поддержат начатый мною разговор и углубят его.

1967

НАШИ БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ

Формирование литературы есть процесс не только не простой, но процесс, несущий точные приметы и веяния того времени, в которое оно происходило и происходит, а так как литература формируется не поротно или должна по крайней мере состоять из личностей отдельных и с лицом «необщим выраженья», то и писатель в совсем не малой степени является выразителем не только своего времени, но и «зеркалом» его, однако принадлежность ко времени у художника выражается отнюдь не в следовании календарю и сиюминутности, а причинами, мыслями и деяниями куда более глубокими и сложными.

Хотя я и сказал, что формирование писателей, да и всякой одаренной личности происходит не поротно, тем не менее должен оговориться, что есть какие-то закономерности в движении общества на том или ином этапе жизни, продолжающие себя и в отдельной личности, потому что, как давно известно, никому еще не удавалось жить от общества отдельно, хотя желания такие возникали не единожды и не у одного творца, желавшего жить и работать в гордом одиночестве только для себя и наедине с собой.

Прозрения на вещи естественные и простые с возрастом происходят все чаще и чаще, ибо возраст причащает не только внимать, но и задумываться над тем, чему внимал и что пережил в жизни. Из отдаления оглядываясь на войну, разбираясь в ней и в людях, с которыми не только довелось воевать, но и жить, а следовательно, мыслить, двигаться вперед не только в смысле километров, но и в возрасте, я с удивлением обнаружил, что взвод управления артиллерийского дивизиона, в котором довелось мне воевать солдатом и который жил одной жизнью и цель и работу выполнял одну и ту же, разнился все-таки чем-то далеко не маловажным — потерями. Почти все молодые бойцы нашего взвода убиты или поранены, и не по разу поранены, среди взрослых же, или «старичков», как мы именовали старших бойцов, урон совсем незначителен. И не потому, что они были слабее нас кишкой, меньше работали, меньше сделали, наконец, для Победы, нет, просто они были мудрее нас, осмотрительней, и, как это ни поразительно мне теперь сознавать, для Победы, для достижения мира на земле сделали больше не мы, шибко горячие, порой фор-

систе, но безголово воюющие, а они, эти спокойные, несуетные трудяги войны. Более того, своим спокойствием, уравновешенностью, умением делать нужную работу, а война, увы, если ее знаешь не по кино и не по книжкам, все-таки состоит больше из работы — тяжелой, надсадной, а не из одной стрельбы, так вот они, наши старшие товарищи, умеющие исполнять точно, вовремя, без лени работу, были большими помощниками командирам и оказывали на них, особенно на молодых, необстрелянных, но жаждущих немедленных подвигов и красивой войны, куда большее влияние, чем мы, опять же с виду более боевые, более прыткие молодцы...

Что-то от тех наших старых, добрых, домовитых солдат-окопников, перед которыми я, чем дольше живу, тем ниже склоняю голову, осталось во фронтовиках, вступивших затем на разные трудовые поприща, в том числе и на литературное.

Без шума, грома, без ужимок и бития себя в грудь кулаком упрямо прокладывали свой путь в литературе вчерашние бойцы, порой стиснув зубы от душевной боли, недоумения, досады, но сохраняя выдержку и достоинство, веруя, что только трудом, глубинным вкапыванием в родную землю, соленым потом, от которого ломаются гимнастерки на спине, до костей изнашиваются ладони, ломит грудь, стонет сердце, ноет кость, — только такой работой достигается победа, пусть на этот раз вроде бы только твоя личная. Но если ты познал радость и счастье той общей нашей Победы, добытой кровью, слезами и потом, твоя победа, твой труд не были и не будут отделимы от общего движения твоего народа, как бы ему ни шагалось, ибо есть ты его плоть, ибо народ, как Родину, как родителей, не выбирают, и художник, если он истинный художник, не из тех, кто тяжелый физический труд предпочел «легкому», писчебумажному, в беде и в радости с ним, со своим народом-родителем, и если б он даже захотел отдельно от него думать и кушать, ничего у него не получится. Я повторяю, речь идет об истинном художнике, а не о той пене и накипи, которая неизбежна, к сожалению, в большом, порою бурном течении реки нашей жизни.

Вот почему правомерностью стало, что к зрелому возрасту бывшие фронтовики в спокойном, вдумчивом, часто мучительном наступлении заняли ведущее положение в литературе, взяли те высоты, на которых какое-то время кривлялись, отплясывали и чего-то там пели и

провозглашали на заемном языке новаторские писцы в пиджаках заморского покроя.

Бондарев и Быков, Гончаров и Алексеев, Абрамов и Носов, Тендряков и Нагибин, Курочкин и Крутилин, Богомолов и Бакланов, Гончаров и Воронин — далеко не полный список бывших фронтовиков одного лишь поколения, без которого не только невозможно представить современную литературу, но которое и определяет ныне ее устойчивое положение, с которым вынуждены считаться не только наши, но и зарубежные читатели, в том числе и не очень-то доброжелательные, не раз ставившие крест на нашей отечественной культуре вообще и на литературе в частности.

Но все названные и не названные мною писатели, молодыми вступившие в войну, да не молодыми — в литературу, определили и свое творчество, и свое гражданское лицо, однако ж и самым уже младшим из них перевалило за пятьдесят. Большинство из фронтовиков носит раны, увечья, болезни, и надеяться на долгожительство бывшим бойцам более чем наивно, и не о себе уж забота фронтовиков, а о тех, кто составляет другую половину боевого взвода, и речь не о тридцати- или сорокалетних, и Распутину, и Белову, и Потанину, и Лихоносову нет надобности числиться молодыми — они вполне самостоятельные, взрослые писатели, умеющие не просто профессионально, а высокопрофессионально вести свое литературное хозяйство.

Речь о действительно молодых, о тех, над произведениями которых, как заранее выданный вексель, можно прочесть вывеску: «Участник такого-то совещания, конкурса, семинара». Совещания и семинары-то все разные, в разных местах происходят, но есть в лице их участников какое-то общее стремление поскорее увидеть не столь даже свое произведение, а карточку, имя, жажда скорее мелькнуть в печати, заявить себя фотогеничностью, попасть в Союз писателей, а далее спокойно и устойчиво печататься с произведениями вторичного и десятеричного захода на «деревенскую», а лучше на «производственную» тему, поскольку на нее сейчас большой спрос. Пишут сейчас молодые гладко не только в смысле языка и стиля, но и какой-то «вумной» афористичности, показной боевитости, и спорят, спорят все о чем-то, полемизируют, но ничего, кроме опять же «вумности», высокоученой спеси, часто за этими спорами не стоит. И еще очень у нас любят выступать по линии бю-

ро пропаганды в качестве писателя и, предпочитая не пером — пером-то тяжело, работать надо! — а языком зарабатывать себе на хлеб. У нас есть плеяда писателей не пишущих, а только выступающих. Люди эти, на мой взгляд, спутали нечаянно организации Гастрольбюро и Союз писателей, профессию эстрадника с профессией писателя, работающего тяжелую и неотмолимую работу, которую может оборвать только смерть. Разумеется, отбивать литературную чечетку, делать некий словесный стриптиз на тему «Как мы работаем», потешать нашу доверчивую российскую публику, приучая ее глазеть и слушать, а не читать и думать, — занятие веселое, развлечение куда более приятное, чем испытывать настоящие так называемые «муки слова».

Особенно преуспела в чечеточном направлении поэзия, пребывающая, на мой взгляд, в каком-то безмятежном, мурлыкающе-идиллическом состоянии. И, точно уловив это состояние, чуткая ко времени и народной боли, год от года набирающая силу, крепнущая поэтическим голосом и мускулом, верно сказала Ольга Фокина:

Поэзия проблем не поднимает.
Прогулочный себе усвоив шаг,
Она, увы, не только не ломает,
Но даже и не скрещивает шпаг...
Не слышу звона стали напряженной...
Иль нечего из ножен вынимать?
Ни поразивших нет, ни пораженных...
Иль не за что нам намертво стоять?
Ужель и вправду времечко такое, —
Блаженное настало наконец,
Когда в объятьях лени и покоя
Бездумно может пребывать певец —
Подвижник духа, времени глашатай,
Восстань! Воспрянь! Яви себя, яви!
Иль больше нет ни «полосы не сжатой»,
Ни светлых слез, ни крыльев, ни любви?

Нынешней осенью в глухой вологодской деревне ломали начальную школу на дрова и дом по соседству с нею. Я смотрел на самодельную азбуку, которую топтали сапогами наехавшие из Прикарпатья шабашники, которым все равно, что у нас ломать и что строить, на самодельные стоячие счеты, на парты, сколоченные деревенскими плотниками, на весь тот бедный и священный для нас уклад и справу той школы, где все мы наяву, в натуре, так сказать, пользовались предоставлен-

ным правом на образование и откуда вышли все в люди, начались как труженики, солдаты и литераторы. Бывая в современных школах, я радуюсь их современному устройству, быту, обстановке, радуюсь за детей, которые учатся в них, но все-таки люблю и никогда не перестану любить и быть благодарным той школе, где учился по самодельной азбуке читать и счету на палочках, сделанных из лучинок, школу, которую нынче так играючи, с легким сердцем ломают на дрова чужие, равнодушные ко всему люди, которым совершенно наплевать на какую-то там историю и культуру Отечества нашего, были бы гроши и харчи хороши!

Нестипично? Отстало? Деревни обречены на слом и вымирание — слышу я беспрестанно и отовсюду. Но они еще не вымерли, они еще живут и работают, и в них, как правило, доживают свой век те люди, которым все мы, от мала до велика, обязаны всем, в том числе и нашим сытым благополучием и благодушием, — это бывшие организаторы деревенской жизни, участники, большей частью — инвалиды войны, и их не сотни, не тысячи, их миллионы!

Споры об НТР и о космическом будущем хорошие и, наверное, нужные, но еще нужнее забота о людях живых и особенно доживающих, и не только о материальной стороне, материально-то невзыскательные благодарные труженики наших русских сел живут сейчас лучше, и, узнав, что я поеду в Москву, да еще на какой-то съезд, беззубые старенькие женщины того села, о котором я веду речь, все еще часто выручающие бригадира, помогая колхозу дергать лен, плести кружева, никому не желая быть обузой, просили передать: «Ты там скажи кому следует наше благодарствие. Жить мы стали хорошо, кажин день бело стряпам, как на празднике...»

Им, жевавшим траву, мякину, кору пополам с лебедой и поднявшим нас и государство, выдержавшим войну, все без остатка отдавшим для Победы, мы должны не только поклониться до земли, но и обязаны работу для них делать так же честно, самоотверженно, как делают ее они. А между тем, как это ни странно, при такой обильной книжно-журнальной продукции у нас до сих пор нет журнала для сельского читателя. «Сельскую молодежь» читают и подписывают в основном в городе, «Ниву», по-моему, вообще нигде не чи-

тают, «Крестьянка» же для чтения малопригодна, она больше картинками и карточками развлекает селян. Давно настала пора объединить наши раздробленные журналы «сельского направления» и сделать один, но по-настоящему солидный, серьезный, а главное, доступный сельскому читателю, на который было бы возможно подписаться, а то ведь в села по сию пору идет все по принципу: «На тебе, боже, что нам негоже!»

Начавши вроде бы с рассуждений глобальных и общих, я, как говорится, скатился на частности. Но для меня жизнь моих соотечественников, русских людей, где бы они ни жили, ни работали, — не «частность» и не мелочь, и моя работа, как я полагаю и знаю, также и работа моих собратьев по перу, неотделима от жизни и забот моего народа, а заботы народа не могут быть мелкими, мелочными и нам чужими, во всяком разе не должны быть такими.

1975

НЕТ, АЛМАЗЫ НА ДОРОГЕ НЕ ВАЛЯЮТСЯ

В детстве я думал, что все алмазы находят случайно, как и монеты на дороге. Идут по горам и долам люди, и вдруг кому-то из них пофартит — он увидит сверкающий среди травы или камней алмаз, цап его — и в сумку.

Много лет спустя был я на драге, которая буквально перегребала дно уральской реки и просеивала через большие и малые решета множество тонн камней, камешков и гальки, прежде чем оставался алмазосодержащий концентрат. Концентрат этот, конечно, не похож ни на гороховый, ни на пшениный. Он тоже галька, только уже очень мелкая, и где-то в ней есть алмазы. Концентрат упаковывали в ящики, пломбировали и увозили на фабрику, где он, рассыпанный тонким слоем, двигался по ленте через рентгеновский аппарат, и только тут среди миллиардов камешков вдруг загорался алмаз и его наконец-то брали пинцетиком, или, как говорил один лаборант, «принцессом», и доставляли куда надо, и он записывался в план добычи.

Какой огромный труд! Правда, сейчас уже на драгах улавливают алмазы, но все равно, пока дело дойдет до последней операции, надо большую работу проделать.

Когда я вспоминаю, как они добываются, эти алма-

зы, у меня возникает этакая щемящая мечта: вот если бы и в нашем литературном деле так же?!

Увы, у нас пока, и нередко, бывает наоборот: просеют сквозь критическое решето «концентрат» с алмазами, а бульжник — пустую породу — грохнут на голову автору, и чаще всего молодому, который еще ни в каких литературных чинах не состоит.

Как-то в «Литературной газете» один критик с этой степенной неторопливостью положил на решето повесть молодой писательницы и просеял. И как просеял! На решете даже камней не осталось — одна пульпа, этакая жиденькая грязца. Дырявое решето! Алмазники такие решета списывают в брак или ремонтируют.

Ему, этому критику, уже возразили в газете «Литература и жизнь», и потому, что возразили именно в этой газете, я не стану называть имен, дабы не вступать в «междоусобицу», которая так упорно и бесплодно ведется между двумя газетами на протяжении вот уже нескольких лет, и «если одна говорит — нет! Да — говорит другая» — так точно сказано в одной эпиграмме.

Но это к слову. Вернусь к повести. Она мне понравилась как раз тем, чем не понравилась критику из «Литературной газеты». Все его обвинения сводятся к тому, что повесть сентиментальная, что она уж слишком женская и даже имена героев в ней красивые, а в поступках какой-то непорядок: целуются, обнимаются, главная героиня назначает два свидания в вечер! Безнравственность и сентиментальность соседствуют!

Хорошо, что не все от критика зависит и что у повести читателей больше, чем у критической статьи, и читатели, хотя и не все, разберутся, что там к чему. Но вот что грустно. Критик этот, и кабы только он один, совсем не обратил внимания на то, что автором повести является женщина. Ему, как видно, желательно, чтоб она походила на кого-то, не была бы самой собой.

Дело вкуса, конечно. Но мне лично не нравятся женщины, которые рядятся в своих повестях и романах в мужицкую одежду. Больше того, они в жизни-то начинают подражать мужчинам: курят, пьют, говорят басом, надевают на себя шапки и брюки. Встретишь — и не поймешь сразу: женщина это или мужчина. Какое-то двуполое существо!

Небось сам критик в такую не влюбился бы, а вот поди ж ты, надо ему, чтоб со страниц произведений дышала табачищем именно такая «дама».

Может быть, и не стоило бы возражать подобным критикам, если бы корни такой беды не сидели глубоко. Хотел или не хотел того критик, но он навел меня на размышления, обратные тому, что он написал. А может, пробудил подспудно зревшие думы о том, чего нам не хватает! А не хватает многим из нас нежности. Нет, не слащавости, а самой обыкновенной нежности, которая так нужна людям, особенно людям влюбленным, особенно родителям, да и всем, всем. Стыдиться мы ее стали. А отчего?

Пожалуй, в таких случаях уместней всего сослаться на свой пример. Мне очень часто ставят на полях рукописи замечания: «грубо», «натуралистично», «ой-ей-ей», «ах!», «ну и ну!» и т. д. и т. п.

Сначала я недоумевал, потом сердился и стирал эти замечания резинкой, потом «натуралистично» крыл тех, кто ставит замечания. Но вот вышла книжка, другая, третья, редакторы у них были разные, а замечания все те же. Я стал задумываться: в чем дело? Где собака зарыта? И мысленно перекинулся назад, в тридцатые годы.

Заполярный порт, бараки, общежития, очереди у магазинов, шумные толкучки, вербованные, переселенцы, ссыльные и освобожденные. Все в куче, и всем работы по горло, и еще много-много недостает. Недостает тетрадей и карандашей в школах; недостает преподавателей и воспитателей; радиорепродуктор — редкость; кино — раз в неделю, да и то лента рвется на самом интересном месте; на лесобиржах, на морских причалах работа идет вручную; семьи живут кучно: комната на семью — уже комфорт; транспорта для горожан никакого нет, зато снегу зимой, а летом гнуса до полна. Но живут люди, работают, веселятся по праздникам, обзаводятся потихоньку, строят школы, больницы, детсады, клубы, появляются машины, овощи — отступает цинга. Все это, разумеется, не в один мах, не пощучьему веленью, как в иных наших книгах, а в трудностях и лишениях, в тяжелой работе, порою непосильной работе.

И в результате появляются не только машины и дома, но и люди со своим жизненным укладом, со своей моралью, языком и одеждой.

В ту пору танцы, особенно «барские» — бальные или другие, презирались, фискальство, слютяйство, трусость преследовались среди ребятишек смертным боем.

Появился и буквально хлынул в народ грубый жаргон и соответствующие ему манеры. Тогда были и «стиляги», но другого сорта. У них все было наоборот: брюки чем шире, тем шикарней, рубахи расстегивались настежь, валенки и сапоги загибались до предела, песни были не «импортные», а свои — «Мурка», «Гоп со смыком», «Далеко из Колымского края», «Колокольчики-бубенчики» и т. д. И пили тогда не коньяк и коктейли, а водку или брагу.

Но не только внешняя разница есть между прежними и нынешними «стилягами». Как правило, «дурели» тогда ребятишки и фасонили лет до шестнадцати, а потом в работу уходили, на производство, и весь «стиль» с них ссыпался, как штукатурка. Работа — она всегда воспитательно действует на людей, она штучек-дрычек не любит, от нее мозоли бывают, а с мозолями какой уж фасон! Впрочем, сейчас появились люди, что и мозолями научились фасонить, и словом «работяга» спекулировать при случае умеют. Мы этого не умели. И я это ценю больше всего в моих сверстниках.

Но мы не умели и еще кое-чего, и, может быть, не наша вина была в том. Многие из нас не умели и не умеют танцевать, поздороваться как надо, пользоваться столовыми приборами, держать себя непринужденно в обществе, тонко понимать музыку и живопись, завязывать галстук, носить вечерний костюм. Но все это еще не беда, всему этому, будь время и желание, можно выучиться, но вот не умеем мы быть нежными, и чувства, похожие на нежность, маскируем грубостью, всевозможными вывихами, как словесными, так и телесными. Почему?

Говорят, будто это наша национальная черта. Какая чепуха!

Кто ж тогда написал это?

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

А это?

И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучом румяного заката
Твой стан, как лентой, обовью,

Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою;
Всечасно дивною игрою
Твой слух делять буду я;
Чертоги пышные построю
Из бирюзы и янтаря;
Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное —
Люби меня!..

Как это прекрасно! Дух захватывает! Слезы к горлу подступают от восторга! И это написали ведь русские поэты!

Мне могут возразить, мол, времена-то, дорогой, меняются. Все это я знаю. Но я знаю также, что в основе неизменными остались слова: **любовь, жизнь, красота**, чувство материнства, сыновние и дочерние чувства. Сколько бы ни пыхтели над этим пасмурные тугодумы, сколько бы ни передергивали демагоги и ни подводили под них свои знаки, стараясь заменить чувства арифметическими формулами или цитатами из нравоучительных плакатов и лозунгов, — им не убить в человеке человеческое!

Да, конечно, выражение чувств — словесное и всякое другое — стало и в жизни и в литературе сдержанней. Но всегда ли в книгах наших за этой сдержанностью скрывается искренность и глубина? Нет, не всегда. Неумение заглянуть вглубь, добраться до истинного содержания души человеческой приводит иных литераторов к иносказательности, многозначительным фразам и жестам, и это возводится кое-кому в заслугу, считается чуть ли не новаторством, и хоть недружно, но поддерживается критикой. Критики, конечно, тоже разные бывают. Есть те, что ждут юбилейных дат, маститых авторов или торжественных событий и выступают с умиленными статьями, в которых восклицательные знаки заменяют все, начиная от здравого смысла и кончая элементарной скромностью. Есть и такие, что похлопывают по плечу молодых, желают им всех благ, но дома у себя в узком кругу друзей запрещают произносить даже имена их, в душе желая им денно и ночью геенны огненной.

Есть молодые, да ранние, те, что анализ произведения подменяют фельетонной бойкостью и трескучими зазвонистыми фразами, «обрисовывают себя», показывают свою «эрудицию» и «влюбленность» в литературу, вовсе не заботясь о том произведении, коего разбор начали.

Но в большинстве своем люди, работающие в области критики, искренне радуются каждому новому хорошему произведению, готовы поддержать любой светлый росток и тоже преодолевают свои преграды и свои трудности, которых, как мне думается, у них не меньше, а, пожалуй, и больше, чем у нас.

Но, к сожалению, есть пункт, на котором «старые» и «молодые» критики сходятся вплотную и, не сговариваясь, выносят единодушный приговор. За натурализм. И что это за такое сакраментальное слово — натурализм! — с которым так тебя, злосчастного автора, и караулят, так и караулят, и до того докараулили, до того этим словом запугали, что его стали бояться, и героини книг перестали не только до ветру ходить, чихать, сморкаться, кашлять, мыться в бане без трусов, но даже есть перестали.

Один писатель в рассказе сделал такую сцену. Дедушка с внуком во время войны дежурили на крыше. Туда упала немецкая «зажигалка». Дедушка и внук закопали ее в песок, и дед, старый солдат, презрительно помочился на бомбу, чем привел в восторг внука и в негодование редактора.

Автора обвинили в натурализме и рассказ сняли. Когда начинаешь защищаться и ссылаться на классиков или чаще всего на Шолохова, поскольку он живой и ближе как-то, тебе с этакой ехидцею делают замечание: «А вы, милый, пока еще не Шолохов и даже не Лев Толстой».

И деваться некуда. И в самом деле не Шолохов и «даже не Лев Толстой», и посему, что позволено им, ни в коем разе не позволено нам. Скажете — загнул? Скажете: начал с нежности, а кончил натурализмом? Но это лишнее доказательство тому, как чувства, подобные нежности, не даются мне, и сие меня не утешает, а огорчает и вызывает добрую зависть к тем, кому такие чувства сродни.

Я знаю теперь, может быть и не до конца, но твердо знаю, какое это сложное и трудное дело литература. В этой трудности и радости и горести наши. Не было бы их, не было бы многих и многих писателей. Литератор, как альпинист, делает одно восхождение за другим с той только разницей, что альпинисты покорили почти все вершины на земном шаре, а перед нами несть им числа. И нам предстоит долгий и трудный путь, и все в гору, в гору, в гору. А чтобы идти все время в го-

ру, нужно иметь крепкое сердце и здоровые мускулы, да и «запас» в рюкзаке немалый. Если рюкзак этот пуст — далеко не уйдешь, «оголодаешь», как говорят на Урале, и кинешься на подножный корм пощипывать травку.

И как часто в наших произведениях, как в том же рюкзаке, одна лишь мелкая травка, да и мускулы у автора дряблые чувствуются, в сердце одышка. Это у молодых-то!

Тех, кто прошел войну и кому уже под сорок, как-то неловко называть молодыми, тем паче что и в литературе они работают по десятку, а то и более лет. Просто в силу бывшего, да и поныне кое в чем бытующего деления на «столичных» и «периферийных» писателей, этих так называемых молодых «открыли» лишь недавно, либо они сами «открылись» ввиду созданной более благоприятной обстановки в нашей литературе. И я думаю, что наибольшие трудности переживаем мы, те, кому за тридцать. Как-никак все мы помним, что Пушкин погиб в тридцать восемь, Лермонтов в двадцать семь, Писарев лишь на год позже, — и они успели столько сделать!

А мы что?

Этот вопрос, наверное, мучает не одного меня. И я не знаю, завидовать или нет тому, кого он не мучает? А есть такие, есть, нечего греха таить. Сделал одну-две книжки «на уровне», да так на этом уровне, как на старинном безмене, и покачивается. Наверное, таким легко! И пусть не обижаются на меня те, кому не под сорок, а еще только под тридцать, им тоже легче. Они перед миром — как перед распахнутыми дверьми: иди, удивляйся, дыши, впитывай! Мир широк, и перед тобой будущее, да еще какое будущее! А за спиной память о военном детстве и о потерянных отцах. Верный компас, эта память!

Что у нас за спиною? Много груза, нелегкого и громоздкого: первые пятилетки, первые стройки, тридцатые годы. А там война, а там послевоенные годы, не менее трудные и не менее сложные. Как оглянешься назад, дух захватывает от обилия материала, событий, испытаний и жизненных впечатлений. Но отчего это бывшие фронтовики-писатели могут целыми ночами потрясающе рассказывать о войне в кругу друзей и бледнеет, стандартизируется их рассказ, как только дело доходит до бумаги? Да, есть у нас «Звезда», «Пядь земли», «Последние залпы», «Живые и мертвые» и, по моему мне-

нию, несправедливо руганный рассказ Ю. Нагибина «Деляги» и другие хорошие произведения.

Но попробуйте мысленно вынуть даже из лучших книг о войне батальные сцены, и что от них останется? Как будто война — это только бои, бои, бои и ничего больше. Но в таком случае после последнего выстрела все встало бы на свои привычные места и след войны не был бы тем неизгладимым следом, который остался в нашей душе и как-то, да это и неизбежно, не отражался на психике и жизни наших детей и всего нашего общества. А работа? Ведь вся война состоит из непостижимо тяжелой работы, порой непосильной, такой непосильной, что в другое время ее и не одолеть бы. Под выстрелами же и разрывами поднимаешь и непосильный груз.

И солдат был в этой работе всечасно, и не торчал он в передовой траншее только.

Мне кажется, что мы еще только подходим к настоящему и глубокому осмыслению такого грандиозного события, потрясшего мир, каким была Великая Отечественная война, и для многих из нас тема ее была и останется навсегда современной. И очень радуют такие великолепные произведения, как поэма Егора Исаева «Суд памяти», как блестящий фильм «Баллада о солдате». Кстати, и в той и в другой вещи почти нет батальных сцен, и тем не менее они потрясают больше, чем иные пропахшие порохом и кровью произведения литературы и кино. Крепки они прежде всего мыслями и чувствами, заложенными в них, а не грохотом боев и количеством подожженных танков.

Вернусь, однако, к началу разговора. Трудно и долго искало путь даже не нежное, а простое гражданское чувство в наши сердца, огрубевшие на войне. Лично я никогда всерьез не принимал поэтические возгласы о том, что в битве мы стали нежнее. Это, видимо, пишется о тех, кто был во втором или третьем эшелонах. А на передовой не было никакой базы для такого чувства и полный простор противоположных ему. И то добро, что не опустились, не озверели. Крепка, видно, закваска была!

Но дурно представлять нас, фронтовиков, чуть ли не святыми. Мы ж были людьми прежде всего. А человек уж так устроен, что ему сначала спать хочется, потом есть, потом выпить, а потом еще кое-чего. И отсюда множество всяких отклонений от того стереотипного «героя»,

который много лет бродил, да еще и сейчас порою бродит, в книгах о войне.

Если бы все обстояло так, как изображается в литературе, то надо предположить, что военные трибуналы существовали зря, а штрафные роты образовывались по какому-то существу недоразумению, и в них «искупали вину кровью» сплошь невинные люди.

Мы увезли с фронта не только груз потерь и утрат, тяжесть гнетущих окопных воспоминаний, а также и память о тех несправедливостях, которые не раз обрушивались прежде всего на солдатские головы.

Но мы умели переносить лишения и научились понимать, что «там в тылу» еще труднее, и хоть крыли «боевыми словами» старших себя по чину, но дело свое делали, как известно, делали его не всегда с блеском, однако выполнили свой долг до конца.

Я считаю, что самая правдивая книга о войне еще только пишется, и она будет без дозировки: «сто граммов положительного и пятьдесят отрицательного». Для правды еще никто гирь не придумал, да и не придумает, полагаю.

Так вот с этим «грузом» и вернулся я с войны. Да и один ли я?!

А тут такая жизнь началась, что и вспоминать о ней не хочется. Право, бывали в первые послевоенные годы такие дни, когда я жалел о том, что меня не убили на фронте.

В сорок седьмом году мы с женой, тоже недавно демобилизовавшейся, жили в старом, полуразвалившемся флигеле. Как-то я прибежал на обед раньше ее, быстро нарубил дров — и во флигель, варить картошку. Распахнул двери, да так и застыл с охапкой дров на пороге.

По флигелю разносился голос певца, и такой раздольный, и так он здорово заливался, что мне казалось: сейчас наш старый клееный репродукторишко рассыплется в прах. Но «сооружение» сдюжило, и голос певца сотрясал нашу халупу.

И виделось мне синее-синее море, и он, певец, в лодке среди ослепительных волн, и где-то на далеком берегу, тоже облитом солнцем, вся пронизанная лучами девушка, а вокруг такой изумительный, такой светлый мир!

Я сидел и слушал, забыв про картошку и про все на свете. Мне кажется, тогда души моей коснулась впер-

вые нежность, и война для меня кончилась хотя бы наяву.

Я знаю нескольких бывших фронтовиков, которые так или иначе сократили свою жизнь. Верю, что, если бы они хоть раз слышали того певца, Джилли, они бы больше ценили и любили жизнь.

Он бы уберег их от беды, как уберег в свое время меня, наново открывши мне тот мир, которым я грезил в юности и о котором постепенно забыл на войне.

Прекрасное, оно способно воскресить человека, оно проникает в самое сердце, где и хранятся настоящие чувства, а сверху ведь только оболочка, самое же ценное глубоко упрятано, и его мы почему-то стыдимся и выказываем лишь своим детям, да и то пока они ничего понимать не умеют.

Все остальное: чуткость, доброта, умение быть ласковым — это лишь продукт затаенной в нас нежности — неоценимого человеческого качества, без которого мы не имели бы трепетной музыки, прекрасной живописи, книг, стихов, поэм, при чтении которых закипают в горле слезы. Мы довольствовались бы маршами да схемами военных уставов.

Но память о войне не умерла в нас, и о войне многие из нас начали писать. На первых порах было как-то проще: выхватил боевой эпизод или кусочек биографии — написал. И читателю приятно, и тебе любо. Все есть: и бой, и подвиг, и любовь, и ненависть. Но эпизод так и остался эпизодом или кусочком биографии.

Однако проходят годы, и возникает внутренняя потребность не просто рассказать о виденном и пережитом, но и осмыслить его. Осмыслить глубоко, масштабно, не с узкой собственной точки, а с общечеловеческих позиций — и тут-то начинается буксовка.

Да, за последние годы в нашей прозе и поэзии немало достижений, и особенно в области короткой повести. Отличные есть повести, им воздано должное, и нет надобности их перечислять — перечислениями у нас и так пестрят газеты, и особенно передовые статьи в них.

А где же наши широкие полотна? Они есть. Но широки они чаще всего по листажу. Почему же происходит такое?

Запас жизненных наблюдений, материал, наконец, степень какого-то писательского мастерства накоплены, а не получается вот так, как в голове иной раз полу-

чается — и глубоко, и здорово, и смело, и масштабно. Какие-то тормоза стоят внутри и со скрипом, со скрипом отодвигаются.

Может быть, мы сейчас лишь подходим к этому самому мастерству и начинаем по-настоящему мучиться? Ведь преодоление себя, воспитание писательского характера, умение видеть мир собственным взглядом и осмыслить его собственной головой — это тоже мастерство, а не только выбор языковых и изобразительных средств, кои дают порою основание называть иных литераторов мастерами. Но это далеко не все, это, если на то пошло, лишь подход к мастерству, первые буквы в алфавите, первые азы.

Как часто в наших книгах человек изображается в одной-двух плоскостях. Найдем какую-нибудь характерную черту в облике героя, в его характере — и до конца повести, чаще рассказа, эксплуатируем эти две-три черты, а то и всего лишь штриха. И говорят герои «похоже» друг на друга, разве что словечками какими-нибудь отличаются.

Но ведь мы тоже числимся в «инженерах человеческих душ!» Скромничать нечего, назвался груздем! И нашей задачей является изображение человека всесторонне: с птичьего полета, и с земли, и изнутри, и снаружи. Никто нас от этого не освобождал, мы сами дали себе такую поблажку, и вот получаются книги по пословице: «Сбил, сколотил — есть колесо! Сел да поехал — ах хорошо! Оглянулся назад — одни спицы лежат!»

Спиц сзади нас много, да колеса-то можно по пальцам пересчитать.

Нам надо «расковаться», нам нужно обретать крылья для высокого полета, нам пора говорить в полный голос обо всем, что мы знали и видели, видим и знаем. Пора, давно пора поговорить о том, что у нас «наболело», о том, что мы пишем и чем мы дышим.

Дышать в литературе стало легче, но это не значит, что все уже сделано и все препоны на пути к созданию высокохудожественных произведений сняты. Перестраховка, оглядка назад, желание «приставить» к кому-то, сделать на кого-то похожим еще живы в некоторых наших издательствах и редакциях журналов. Они сбивают с панталыку, задерживают рост писателя, не дают ему возможности расправить крылья в полный размах.

А бескрылость, похожесть — особенно противопказаны молодым. На то они и молодые, чтобы нести мо-

лодое, свежее, пусть спорное, но свое. А у нас еще очень и очень любят баюкать пусть слабое, но бесспорное, приемлемо благополучное «творение» и часто косятся на того писателя, который ищет, мучается и в поисках делает ошибки.

Создается впечатление, что слова: «На ошибках учимся» — считаются устарелыми и неприемлемыми. Но не ошибается, как известно, тот, кто ничего не делает. И еще вот что. Мне думается, постоянный, почти набатный призыв писать о современности и только о современности не всем оказал добрую услугу.

Наша критика единодушно закрывает глаза на то, что не всякий художник может быть современным, а точнее, ультрасовременным, ибо под критерий современности у нас нередко подводятся лишь те произведения, которые пишутся по горячим следам событий. Есть немало случаев, когда в погоне за мнимой современностью автор отпихивает от себя тему и материал, который ближе ему, дороже и вместо высокохудожественного произведения, которое он мог бы сделать, выдает скорodelку.

Забывать о том, что наряду с остросовременным Тургеневым работало и немало других художников, и работали они над тем, что выстрадала их душа, не следует. Эта забывчивость приводит к спринтерству, уместному в спорте, но не в литературе, к узкотемью и скудомыслию. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что за последние десять лет каждая пятая или шестая книга наших писателей имеет прямое отношение к геологам. Любители терминов наряду с терминами «сельскохозяйственная» и «рабочая» литература могут смело включать еще один — «геологическая».

И не надо хмурить лбы и искать глубокомысленные причины и обтекаемые объяснения тому. У геологов работа эффективная. У геологов опасности и романтика, правда, зачастую придумываемые авторами, и, кроме того, путь к геологам в литературе проторен. Геологи, как по команде, опрокидываются из лодки на бурной реке либо попадают в лесной пожар, даже поздней осенью, когда таковых в тайге не бывает, и утрачивают, простофили, все: ружья, спички, продукты, правда, иногда им оставляют один патрон и одну или семь спичек, и геологи начинают «героически» погибать. Погибают медленно, как в опере, с красивыми словами.

Какая это неправда и фальшь! Ведь плюются геоло-

ги, читая «про себя» такие боевички. И это современность? Да это не что иное, как уход от современности, подделка под нее, стремление упрятаться на узких геологических тропах и в глухой тайге от жгучих вопросов повседневной жизни.

Верхоглядство при спешке неизбежно. А спешка — основная беда большинства наших нынешних книг. Некогда подумать, некогда всмотреться, взвесить. И вот результат: почти половина героев в книгах последних лет живет и работает на Братской ГЭС. Сколько же народу живет и работает на Братской ГЭС? Миллион, два, двадцать миллионов? Ну а как быть с остальными двестию миллионами?

У них что, пустая, неинтересная жизнь? Они ничего не делают, что ли? Не влюбляются, не умирают, не переживают трудностей, не творят? Возгласы о том, что только там, на Братской ГЭС, и есть передний край, звучат неубедительно, ибо для истинного художника, как известно, передовым краем могла быть и Полтавская битва, и частная убогая мастерская, где сделали редкостную шинель.

А вот у нас навалились дружно на ГЭС и пошли штурмовать «остросовременную» тему о том, как один парень или одна девица заработали там свой хлеб и как, оказывается, трудно его зарабатывать.

Но этот хлеб уже много лет добывается потом и трудом, и нам ли, нашему ли обществу, созданному прежде всего для созидательного труда, умиляться теми «героями», кои вдруг на двадцатом или на двадцать пятом году жизни сделали открытие, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда?!

Иной художник в книгах о гражданской войне либо о первой пятилетке выглядит куда современнее, чем тот, который сверяет свое творчество по календарю, а со страниц его произведений сыплется пудра и нафталин прошлого века.

Надо наконец со всей серьезностью сказать, что понимание современности у нас сузилось до календарных рамок. Наиболее современными стали те книги, которые выходят в третьем квартале года, а действие их развертывается в первом.

Увы, были такие. Еще не успели газеты раскритиковать травопольщиков, как уже появилась о них повесть, а затем, кажется, и роман, не говорю о рассказах и стихах.

Не могу удержаться, чтобы не привести хоть и длинную, но очень, как мне кажется, полезную цитату по этому поводу из Писарева, хотя цитат и не люблю: «В каждой литературе, достигшей известной степени зрелости, появляются такие произведения, которые соглашают общечеловеческий интерес с народным и современным и возводят на степень художественных созданий типы, взятые из среды того общества, к которому принадлежит писатель. Автор такого произведения не увлекается современными ему, часто мелкими, вопросами жизни, не имеющими ничего общего с искусством; он не задает себе задачи составить поучительную книгу и осмеять тот или другой недостаток общества или превознести ту или другую добродетель, в которой нуждается это общество. Нет! Творчество с заранее задуманною практическою целью составляет явление незаконное: оно должно быть предоставлено на долю тех писателей, которым отказано в могучем таланте, которым дано взамен нравственное чувство, способное сделать их хорошими гражданами, но не художникам. Истинный поэт стоит выше житейских вопросов, но не уклоняется от их разрешения, встречаясь с ними на пути своего творчества. Такой поэт смотрит глубоко на жизнь и в каждом ее явлении видит общечеловеческую сторону, которая затронет за живое всякое сердце и будет понятна всякому времени».

И далее: «Так смотрит поэт на явления своей современности, так относится он к различным сторонам своей национальности, на все смотрит он с общечеловеческой точки зрения; не тратя сил на воспроизведение мелких внешних особенностей народного характера, не дробя свои мысли на мелочные явления повседневной жизни, поэт разом постигает дух, смысл этих явлений, усваивает себе полное понимание народного характера и потом, вполне располагая своим материалом, творит, не списывая с окружающей его действительности, а выводя эту действительность из глубины собственного духа и влагая в живые, созданные им образы одушевляющую его мысль» (выделено мною. — В. А.).

Я знаю, что есть более памятливые цитатчики, чем я, и они способны покрыть Писарева «kozyрями». Но право, это очень умные и очень современные слова, а мудрое глупо оспаривать, его лучше осмыслить — от этого будет больше проку.

В конце статьи мне снова хочется вернуться к алма-

зам. Первый русский алмаз был найден четырнадцатилетним каталом золотого прииска Павлом Поповым в пригороде Чусового Пермской области на Кресто-Воздвиженских промыслах, принадлежавших баронессе Полье-Варваре-Бутэро.

Как-то поехал я в поселок промысла добраться «до корней» этой находки. Каково же было мое изумление, когда ко мне явились восемь древних дедов и каждый из них заявил, что это он нашел первый алмаз, и требовал, чтобы я «составил бумагу» в Москву на предмет получения «особой пензии».

Поскольку дедов было восемь, а алмаз первый всего был один, промеж дедов началась перепалка, которая закончилась совсем неожиданно.

Один из дедов, коренастый такой, зеленобородый, девяносто восьми лет от роду, топнул ногой и сделал «резюме»: если, дескать, на то пошло, он выскажет суть, а суть, мол, такова, что никакой ни Попов, ни я, ни вы, «глухие пенья», а покойница Ермачиха нашла «ентый алмаз в зобе у курицы, когда зарубила ее на хлебку».

Шире — дале, деды пластаются и высказывают каждый свою «суть», и выясняется, что алмазов этих они по дурости перевели множество. Не умея отличать алмаз от топаза и прочих «блискучих» камней, они каждый найденный минерал клали на наковальню и лупили по нему кувалдой. Рассыпался — значит, не алмаз, не рассыпался — алмаз.

За подарок царице в день ее именин первого русского алмаза Полье-Варваре-Бутэро был жалован титул графини, а Павел Попов был крепостным до того, как нашел алмаз, крепостным бедолагой и остался, да так и умер в нищете. Но находка его оказалась бесценной и более сотни лет спустя сослужила большую службу нашему народу.

Вот так бы нам всем — литераторам и критикам, живописцам и режиссерам, музыкантам и актерам, — не думая об «особой пензии», научиться отыскивать алмазы в недрах нашей сложной и кипучей жизни, отдавать их в руки труженика-народа.

А для этого надо работать, много работать, копать в самом главном русле жизни, а не рыскать около берегов. Туда алмазы заносит редко. Они тяжелы. Их несет сильным стержневым потоком, и добраться до них нелегко!

...Вот поставил я точку и задумался: не самонадеянно ли звучит статья? Не перегнул ли я? Не много ли на себя взял? Нет ли в ней неуважительного тона к собратьям по перу, и особенно к старшим? И не мне, наверное, следовало говорить обо всем этом. Есть писатели и старше, и умнее, и опытнее меня, они бы лучше, наверное, сказали.

И вообще, может, положить статью в стол и никаких тебе тревог и волнений.

Но когда-то ж надо одолевать свою внутреннюю робость, которую часто путают со скромностью, и говорить все, что думаешь и хочешь говорить. От этого, возможно, будет польза, и, надеюсь, не мне одному.

1962

ВЫБРАЛ БЫ ТУ ЖЕ САМУЮ...

Интервью на 13-й странице «Недели»

— Занятно у нас получается, Виктор Петрович: начал я интервью в Вологде, закончил его в Москве, а чтобы получить Вашу визу — согласие на публикацию этих строк, звонил в Красноярск, предварительно выслав рукопись беседы в Овсянку — Ваше родное село. Можно ли объяснить такую тягу к перемене мест?

— В 1945 году, после госпиталя, будучи в нестроевой части, женился на женщине родом из города Чусового Пермской области. Так «очусовел» на 18 лет. В этом по-настоящему рабочем городе прошла молодость, выросли дети, начал писать. Сюда вернулся после учебы на Высших литературных курсах. Вскоре переехал в Пермь, от города этого огромного, очень цивилизованного как-то быстро устал.

Выбрал тихую Вологду еще и потому, что учился вместе с вологжанами: Сергеем Викуловым, ныне редактором журнала «Наш современник», Александром Романовым, бывшим секретарем Вологодского отделения Союза писателей России, Василием Беловым, Ольгой Фокиной, увы, уже покойным Николаем Рубцовым...

Мне повезло: в Вологде, где я прожил более десяти лет, серьезно и уважительно относятся к настоящей литературе. Доверие, деликатность, внимание и заботу проявляют здесь о писателях не на словах, а на деле, заботу, а не мелочную опеку. И терпимость. Думаю,

благодаря этому же небольшая Вологодская писательская организация — одна из сильнейших и уважаемых в России. Сохранено светлое имя поэта Николая Рубцова, широко, по-народному празднуют дни поэзии Александра Яшина, Сергея Орлова — также знаменитых вологжан. Тщательно, с любовью и пристрастием изучается и издается литературное наследие северян, довольно разнообразное, кстати, и богатое, знаю, сколько сил, настойчивости и терпения надо было проявить вологжанам, в частности очень хорошему человеку и поэту Александру Романову, чтобы издать сборник стихов замечательного русского поэта — северянина Николая Клюева, кем-то и зачем-то вычеркнутого из русской литературы.

Все три десятилетия, что я прожил на Урале и на Вологодчине, меня тянуло в родные сибирские места. Вернувшись, обрел какое-то успокоение, как будто пришел домой из длительной командировки, — это ощущение счастливое.

Я очень сильно эксплуатировал свою память, писал о Сибири, а жил вдалеке от нее. Записей не веду, дневников не имею, и все по памяти, вплоть до поговорок и пословиц, даже интонации, которая везде своя. Когда задумал большой роман о войне — серьезная работа, рассчитанная не на год, то посчитал, что надо находиться в той языковой стихии, от которой буду отталкиваться, среди тех людей, о ком намерен говорить. И потом, хотя я не пишу с ходу, с налету о местах, где живу, но надеюсь, что Сибирь подарит мне новые, неожиданные темы — пути литературные неисповедимы.

— Какие в Вашей жизни произошли события, дававшие повод для выбора писательской профессии?

— Нет, это не был какой-нибудь «звездный час», а жесточайшая закономерность. Все-таки склоняюсь к мысли, что литератором, как и музыкантом, рождаются.

Писать я начал поздно, в 28 лет. Но способность к сочинительству обнаружилась чрезвычайно рано, в четыре-пять лет. За этот «талант» бабушка Катерина Петровна звала меня хлопушей, что по-сибирски означает «вруша». Признаюсь: всякий раз происходил настоящий спектакль, когда я с упоением врал, вернувшись из леса или с пашни. Аплодисментов, конечно, не было, но случалось — за вранье просто-напросто пороли. (Смеется.)

Не было бы войны, уверен, на дюжину лет раньше

начал бы писать. И стал бы совершенно иным литератором. По своей сути я ведь романтик, люблю глазеть на природу, собирать цветы, камешки, читать о любви. Но война заставила меня, как и многих моих сверстников, видеть, собирать и запоминать совсем иные штуки.

Но если бы мне было дано повторить жизнь, я выбрал бы ту же самую, очень насыщенную событиями, радостями, победами, восторгами, поражениями и горестями утрат, которые помогают обостренней видеть мир и чувствовать доброту, только исключил бы из этой жизни войну и оставил бы себе маму.

— Если бы Вы не стали писателем, то кем хотели бы быть?

— Крестьянином. Пахал бы, сеял, как дед. Крестьянская жизнь дает чувство совершенно особой радости, ни с чем не сравнимого удовольствия и удовлетворения своим трудом. А писательство — работа все же редкая, далекая от обыденных людских профессий, оваянная неким таинственным ореолом.

— На мой взгляд, большинству пишущих труднее всего даются заголовки и первые абзацы. Как Вы одолеваете эти «орешки»?

— Названия находятся по-разному. Иногда сразу — как «Царь-рыба», когда еще не было самой книги. Измучился, прежде чем придумал «Последний поклон». А вот «Пастуха и пастушку» в ряде журналов и издательств советовали заменить, мол, будет восприниматься как «сельскохозяйственное» произведение. Но у нас возле литературы «мудрецов», больше и лучше самого писателя знающих, чего он хочет и что должен писать, нисколько не меньше, чем в нашем сельском хозяйстве, где все еще за председателя колхоза и за работника полей порой пытаются решать, чего и когда им сеять и как пахать.

До сих пор мне нравится давний рассказ «На далекой северной вершине». Сам сходил на уральские альпийские луга, где его и «добыл», а вот заголовок никак меня не устраивает, и ничего лучше найти не могу.

Как начинаю? Чтобы «стартовать», мне необходим звуковой толчок. Люблю начинать с буквы И. Помните, Первый концерт для фортепьяно с оркестром Чайковского? Как будто вокруг звучала незаписанная музыка, а композитор уловил продолжение какой-то фразы. Так и в прозе. Важен первый такт. И — звучит хорошо,

если сделать это ненавязчиво. Я вытягиваю начало из внутреннего созвучия, распева. «И брела она по дикому полю, непыханому, нехоженому, косы не знавшему». А «Кражу» надо было начать резко: «Ночью умер Гошка Воробьев».

У хорошей музыки, повторяю, можно научиться мастерству построения фразы, сюжета, организации словесно-звукового материала. В этом смысле мне много дал Концерт для фортепьяно с оркестром Грига. Я все время считаю то, что Бунин определял «звуком», то есть тональность сочинения, фундаментом произведения.

Если долго держишь вещь в работе и она не находит своей тональности, написанное начинает глохнуть, затихать и может вообще умолкнуть. Снова возбудить в себе мелодию, навеянную внутренней потребностью и самой жизнью, чрезвычайно трудно. Если возбудить другую — попадешь в совершенно другую тональность. Возникает несовпадение. Приходится мучительно преодолевать перекосы.

— Какое время года Вам больше всего нравится в творческом смысле?

— Осень. Точнее, октябрь и ноябрь — когда выпадет снег и никуда не можешь выйти. Даже с ружьем. Сидишь и пишешь. Больше ничего не остается делать.

— А чем Вы пишете?

— Простой ручкой. Макаю в чернильницу. На мой взгляд, творчество «рождается», когда касаешься бумаги. Все остальное — дело техники.

Раньше пользовался деревянными ученическими ручками, сгрызал иногда за день до половины. Однажды сынишку попросили в школе рассказать, как папа работает. Он чистосердечно ответил: «Да он все ручки грызет». Увы, сейчас деревянную ручку или простой карандаш приобрести не так-то просто. Купил себе дорогую ручку — «паркер». Только вот будет ли толк от этой дорогой ручки?

— Жизнь каждого из нас, тем более писателя, богата встречами с интересными людьми. Какие из них больше всего запомнились Вам?

— Я много встречал хороших людей. Больше, чем плохих. Удивительно запоминающейся оказалась встреча и знакомство со старшей киноактрисой, заслуженной артисткой РСФСР Еленой Алексеевной Тяпкиной. Ее последние роли: тетушка Ахросимова в «Войне и мире», княгиня Мягкая в «Анне Карениной», а в тридцатые го-

ды она снималась довольно много, играла трактористок, а начинала еще в немом кино.

Когда я написал «Перевал», ее муж, ныне покойный, заслуженный артист РСФСР, режиссер Театра имени Революции Михаил Ефимович Лившин хотел поставить эту повесть на сцене. Естественно, они пригласили меня в гости. Шел к Чистым прудам и думал: господи, как я буду себя там чувствовать? И галстук поправлял, и себя ошипывал, и причесывался, наверное, раз пять только на лестнице. Так разволновался, что я хотел возвращаться. Но потом сказал себе: солдат я или не солдат?

Позвонил. Открывают дверь. И я невольно сказал: «Вот Вы какая!» — первая актриса, которую вижу в домашней обстановке. Оказывается, Елена Алексеевна всегда снималась без грима. Меня просто потрясло: артистка — и на себя похожа!

И она, в свою очередь, говорит: «Вот Вы какой!» Так естественно произнесла она эти слова, что уж, переступив порог, чувствовал я себя как дома. Когда посадили за стол, тщательно пытался пользоваться ножом и вилок. Это мне удавалось с трудом — в силу деревенского воспитания и еще потому, что перебита на войне левая рука. Еще больше меня озадачила пара стаканов, ножей и вилок. Выручила Елена Алексеевна: «Да плюньте Вы на них, не мучайтесь. Как Вам удобно, так и кушайте».

Именно тогда почувствовал, что большая внутренняя культура заключается в естественности поведения человека. Будь это окоп или больница, застолье или общение с незнакомыми людьми в трамвае.

Сейчас Елена Алексеевна Тяпкина живет в доме престарелых актеров имени Неждановой, пишет мне иногда оттуда. Вот недавно ошеломила меня описанием о том, как училась вместе с Милицей Коорьюз в Киеве. Да, да, с той самой Милицей Коорьюз из «Большого вальса», и называет ее запросто Милкой! Надо будет повидаться и подробнее расспросить старушку обо всем — собеседник она прекрасный*.

Бывая за рубежом, встречаюсь иногда с ветеранами войны. Например, у меня есть знакомые в Министерстве культуры ГДР. Один из них сорок лет назад служил обер-лейтенантом. Сидим, разговариваем, смеемся и вдруг, споткнувшись, задумываемся: может, я или он стреляли друг в друга...

* Недавно Елена Алексеевна Тяпкина умерла.

— Что значит быть знаменитым, известным человеком?

— На этот вопрос лучше смогли бы ответить кинозвезды или хоккейные звезды. А я веду хуторской образ жизни. Говорят, один драматург знаменит тем, что голову бреет, другой в Союз писателей не вступает. Среди близких мне писателей таких потешников нету, потому что они знают истинную тяжесть этого труда и значимость, они, по-моему, сделались известными или знаменитыми не «по своей воле и охоте», а потому, что народ сам отыскал их в гуще изданной литературы и слово их людям, надеюсь, жить помогает.

Я лично отношусь к своей работе как мой дед к пилению дров, заготовке сена, строительству дома. И это избавляет от излишнего кокетства. Еще у меня есть испытанный метод собственного укрощения: гляну на полки личной библиотеки — там стоят книги Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехова, Лескова, Тургенева — этого вполне достаточно, чтобы вести себя скромнее, спокойнее.

— Назовите, пожалуйста, по возможности лаконично, одним словом, те человеческие качества, которые Вы цените в людях больше всего?

— Доброта. Любовь. Мужество.

— Как Вы воспринимаете литературу в качестве читателя?

— Круг чтения у меня, человека пишущего, очень ограничен: просмотр периодики, читательских писем, рукописей моих коллег. Первое, что я услышал в жизни, — это «Кавказский пленник» Льва Толстого. Затем «Дед Архип и Ленька» Горького. Их нам читал вслух сельский учитель, с тех пор я их не перечитывал и не буду перечитывать, потому что есть ощущения, с которыми нельзя расставаться, которые человек должен сохранить как драгоценный подарок. Завидую тем, кто прочитает повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы», повести Константина Воробьева и Вячеслава Кондратьева, а также роман Ч. Айтматова «И дольше века длится день». С ощущением открытия я читал «Сто лет одиночества» Маркеса и совсем недавно — роман неизвестного у нас Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку» («Сибирские огни», 1983, № 9). Это настоящий роман XX века. Жанр сочинения определен авторами с точностью и ответственностью. А то у нас нередко «романом» обозначают всякую толстую книгу,

сочинение средней толщины — «повесть», потоньше — «рассказ».

Сейчас перечитываю «Мертвые души» и «Переписку с друзьями» Гоголя, дневники Толстого, а когда, признаюсь, хочется чего-то такого «сладкого» — беру «Португальские письма» Гийерага, изданные «Наукой». Книжка читается как песня или скорее как старый романс — в ней есть та самая размягченность души, та неторопливость чувств, которых нам сейчас порой так недостает.

— Что Вам больше всего нравится и неприятно в окружающих людях, в их поведении?

— Как и всех нормальных людей, привлекает в человеке порядочность, чувство обязательности во всех обстоятельствах, способность оставаться самим собою. Но надоела хуже горькой редьки ложь, притворство, привычка к пустому краснобайству.

— Мне припомнилась посвященная Вам эпиграмма: «Царь-рыбу» он во всей красе воспел, воздав ей полной мерой. Писателем довольны все, за исключением... браконьеров». Виктор Петрович, не сгущаете ли Вы краски для более сильного воздействия на читателей?

— К сожалению, нет. Многим кажется, что только вокруг больших городов не шадят лесов и рек, а уж там, в сибирской тайге и тундре, царят первозданный покой и порядок. Но современная жизнь разворачивается и здесь вовсю. И напористое зло под покровом тишины нередко берет верх над добром... С болью вижу «следы» пребывания «отдыхающих». Некоторые виды кустарников, деревьев, ягодников постепенно исчезают. Ягоды выбираются зеленцом; кедровая шишка выбивается неспелой; зверушки добываются с невыкунелой шкуркой; птица выбивается на водоемах, еще не ставшей «на крыло».

Все это выделывают люди не от голода, не от нужды, выделывают все это люди сытые... «Эх, люди! — хочется иногда крикнуть. — Что ж вы делаете-то? Опомнитесь!»

Думаю, пора ввести в школах и вузах специальные уроки природоведения, ибо разбой в природе происходит не всегда от жадности, порой и от неведения. Каждый гражданин нашей страны должен минимум один день в месяц поработать на природе. Только так, только большими усилиями, силами и средствами можно

ощутимо помочь окружающей нас среде и пока еще, местами, цветущей земле.

— Как и где Вы сами любите отдыхать?

— В лесу. На реке. В деревне. Никаких южных краев и курортов для этих целей не выбираю. Помогает отключиться от работы и телевизор. Люблю, как и многие телезрители отдаленных районов, смотреть «Клуб кинопутешествий», «В мире животных», «Очевидное — невероятное», музыкальные, спортивные передачи.

— Представьте себе, через пару часов очутитесь на необитаемом острове. Какую одну книгу, киноленту и три предмета — на выбор — Вы взяли бы с собой?

— «Робинзон Крузо» и фильм «Гонимые ветром». Как бывалый солдат, по тревоге — захватил бы с собой мыло и портянки. Последнее обязательно, хотя большинство Ваших сверстников, простите, совершенно не понимают, что это такое. Ну и еще удочки. Как же без них-то? Надо ж и на необитаемом острове кормиться. Там же столовых нету!

— Сомерсет Моэм говорил, что воображение пишущего человека — это такая наковальня, пропустив через которую собственное сердце писатель не узнает его. А что же происходит с языком произведения? Слышал, как некоторые Ваши читатели жалуются на слишком большое количество диалектов в Ваших книгах.

— Я это не делаю сознательно. В данном случае — естественная потребность говорить так, а не иначе, как я разговариваю сейчас. Присутствие так называемых «диалектизмов» — мое естество. Что я их где-то наслушался, записывал, потом рассовывал в тексты? Я же Вам говорил, что и записных-то книжек не веду. Ленив. Кстати, не знаю, для кого этих «диалектизмов» много, а для кого их мало. Однажды получил письмо моего земляка, которое заканчивалось так: «Пиши как писал. Мы в Сибири все понимаем!..» (Смеется.) И еще приписка: «Не сдавайся!»

— Что доставляет Вам удовольствие: сам творческий процесс или законченное произведение? А может, и то и другое?

— Всякий раз по-разному. И каждый раз испытываешь чувство первосотворения. «Пастуха и пастушку» я много лет рассказывал целиком, от начала до конца. Я знал из нее фразы, которые так и остались в этой вещи: «Такое легкое ранение, а он умер...», «Почему ты лежишь один посреди России?» Они жили во мне,

определяли тональность повести. Друзья говорили: «Садись и пиши — тебе ведь только и надо-то — записать!» А у меня «на сборы» ушло 14 лет. Когда я принялся за «Царь-рыбу», у меня о ней не было четкого представления. Просто водил рукой. И все.

Очень быстро пишу только черновики. Доставляет ни с чем не сравнимую радость заменять слова и в первой, и во второй, и в третьей редакциях... Поэтому очень боюсь версток, где не могу много править, приучен районной газеткой «жалеть» набранный текст, но в рукописи правлю много. Только «Кража» осталась непереписанной, однако до публикации перепечатывалась на машинке четырнадцать раз. «Пастух и пастушка», уже опубликованная, переделывалась четыре раза. Даже не знаю, чем и как это объяснить? Возможно, за то время, пока напечатается вещь, а проходит это у нас долго, происходит и заполнение тебя самого. Вещь еще «не остыла», а время делает свое дело.

— Считаете ли Вы себя счастливым человеком?

— Вопрос, в общем-то, сложный и простой. Счастлив бываю, когда работаю. Когда оглядываюсь на прошедший день и вижу, что он прожит с пользой. И еще придерживаюсь правила, вычитанного в одном из рассказов любимого мною Тургенева: «Счастье — оно, как здоровье, если о нем не говорят, значит, оно есть». Прекрасно сказано, не правда ли?

1984

ТАМ, ГДЕ ПРОЛИТА КРОВЬ

Я воевал рядовым бойцом в составе 92-й артиллерийской бригады и последний раз был ранен в Польше, под крохотным, но старинным городом Дуклой, знаменитым лишь тем, что в нем родилась будущая жена Лжедмитрия Марина Мнишек, да еще тем, что здесь, возле этого городишки, в Карпатах, русские войска еще в империалистическую войну пытались перейти Дуклинский перевал, чтобы сразу же попасть в Словакию и поскорее кончить войну, но потеряли много тысяч солдат в горах и не перешли. Однако стратегические соблазны так живучи, что и в прошлую Отечественную войну русские войска снова решили перевалить горы и попасть в Словакию коротким путем. И, положив здесь 85 тысяч жизней, снова попустились наши генералы дерзким за-

мыслом и двинули войско добиваться удачи в другом месте.

Там, в Карпатах, и я, мелкая песчинка в громадной буре, кружился и упал на твердую прикарпатскую землю, все еще скупую рожающую хлеб, овощи и фрукты, хотя и обильно полита она солдатской кровью, в особенности русской.

А человек уж так устроен, что его вечно тянет туда, где он пролил свою горячую кровь, как с годами тянет его в родные места, чтобы успокоиться возле родных могил. И все мне не было покоя, как нет покоя многим израненным и увечным воинам; всем им и мне тоже кажется: вот побываешь на месте ранения и что-то поймешь, обретишь успокоение, преодолеешь тоску по своей молодости, оставшейся в пекле военных окопов.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В Польшу я попал спустя тридцать лет после Победы и, кстати, в Польше же и встретил его, этот Великий праздник, видел военный парад в Варшаве; сжимало мое горло слезами при виде слез польских ветеранов, прочел в газете ошеломившие меня цифры: за освобождение Польши погибло шестьсот тысяч советских воинов и пятнадцать тысяч поляков.

Сколько изувечено здесь народу и, вроде меня, тяжело мучаются ночами болью старых ран — никто уже не сочтет, никто не подскажет, никто не проверит.

Мы выехали вдвоем с переводчиком из Варшавы на юг рано утром. Шофер Янек не признавал скорости ниже ста двадцати километров, и его «фиат» словно бы летел, стелился над отсыревшей от весенней влаги полупустынной в этот час автомагистралью. Янек был не только лихой, но и умелый водитель, а переводчик хотя и говорлив, но понятлив, он скоро уяснил, что то, что мне надо увидеть, я увижу и запомню и без его подсказок.

Польша была первым иностранным государством, которое я видел в своей жизни. Мы перешли границу в районе Перемышля в августе 1944 года, а в сентябре я уже выбыл из действующей армии, казалось бы, не накопив никакого «материала» для воспоминаний. Однако ж память человеческая есть сложный и таинственный, быть может, самый сложный и самый таинственный инструмент, который работает помимо нашей воли, подчиняясь каким-то необъяснимым законам сознания, а скорее всего даже подсознания.

Несмотря на то, что был я «захлопотанным» солдатиком-связистом, все время работал, бегал, падал, прячась от пуль и разрывов, все же кое-что видел, слышал и запоминал. Конечно же, лишь «кое-что» — солдату на войне, да еще связисту, созерцанию предаваться некогда.

И вот это «кое-что» подступало ко мне явственно, тревожило душу, бредило раны, тесно и больно было сердцу. Может быть, потому, что ехали мы в город Жешув, где должны были ночевать и где нас ждал ныне работающий в Москве в польском посольстве секретарем по культурным связям славный человек и писатель Збигнев Домино, вспоминал я, как неподалеку от Жешува, под городом Ярославом, бывал в роскошной усадьбе с огромным и тоже роскошным панским домом посередине, и как там два «чокнутых» человека — наш солдат, по национальности узбек, и престарелый поляк — собирали под деревьями, на аллеях и возле прудов отбитые взрывами от мраморных и гипсовых фигур руки и ноги и пытались прилепить их обратно.

Я написал об этом рассказ «Как лечили богиню», не лучший, к сожалению, свой рассказ. Во всяком разе сейчас я написал бы его иначе.

По телефону в Варшаву Збышек Домино сообщил молодым, звонким голосом, что он знает рассказ и что не далее как сегодня вечером я увижу и усадьбу Поточких под Ярославом, в которой, по его мнению, и совершилось действие рассказа, и богиню ту, восстановленную и поставленную на место.

Ну как тут не волноваться?

А по обочинам дороги кипела весна и пенились яблони, груши, сливы, ясные всходы зеленых хлебов узкими платами покрывали пологие холмы, к югу все более круто и крупно набухающие; все чаще и чаще холмы эти обрезают впадинами и логами. А вот уж и ручей с пеной на губах скатился к дороге и нырнул под настил нехитрого, узенького мостика, возле которого в гуще серебристых тополей и набравших цвет каштанов утопал и как бы сросся со старым садом тоже старый кирпичный костел, по низу покрытый древней плесенью мхов, и к нему, мерно звонящему, стекался в одиночку и парами с ближних хуторов степенный, воскресно одетый люд. Через мосток, взявшись за руки, шли старый пан в заношенной конфедератке и высоко и аккуратно подобранных над башмаками широких портах и девочка

лет восьми-девяти, в темном платьице с глухим воротником, поверх которого топорщилась накрахмаленная школьная форма и сшитый по старой моде, похожий на белый весенний цветок, весь в складках и лепестках, передничек.

Старый пан приподнял картуз, приветствуя нас; девочка, что-то ему с улыбкой говорившая, еще крепче сжала его крупную, крестьянскую руку, ближе прильнула к нему и, не переставая улыбаться, поглядела на нас, и я заметил, как светло и празднично сияли ее серо-голубые глаза урожденной славянки, и во взгляде ее почудилось мне возбужденное ожидание чего-то необычного — девочка с дедом шли к заутрене, и дитя еще верило, очевидно, в чудо и святое божье творение, а может, просто радовалось этому мирному утру, мирно цветущей земле, мирному и вечному небу над головой.

Все чаще, все круче становились подъемы и спуски, древняя краковская земля краснела сухоземом и суглинками — приближались к Карпатам, и видно было, как тяжело и трудно давались и даются здесь человеку хлеб и жизнь. Уже сделались поля, щетинистей всходы, круче завинчивались кусты вдоль проселков и по оврагам, реже хутора и деревушки. Возле небольшой деревушки с уже частично заколоченными избами и заброшенным, каким-то увядшим, будто подсохшее дерево, махоньким костелом виднелась на хлебном поле склоненная фигура в выцветшей одежде и в белом, далеко заметном платке. Женщина-крестьянка полола вручную хлеб и, выпрямившись, отирая тыльной стороной ладони усталое лицо, усталым же и долгим взглядом проводила нас.

Скупая, жесткая земля, изнурительный крестьянский труд. Я никогда не видел таких маленьких, скудных полей и никогда не знал, что хлеба возможно полоть вручную. Не захватил или не запомнил, когда был парнишкой и дед еще был единоличником и обрабатывал крестьянский надел на Усть-Манской заимке, потом, при коллективном хозяйстве, у нас и привычки не было чего-то полоть. До сих пор сорнякам угрожают химией и какими-то сверхмощными агродостижениями и механизмами — вот и клубится туманом над необъятными полями пух осота да распирает от наглости, озорства и молодецкой силушки всякого рода сорняк,

который угрозу не боится, а признает лишь упорный труд, и уже на тучных полях Сибири, где с плугом и серпом неграмотные крестьяне брали до тридцати центнеров с гектара, пятнадцать центнеров пшеницы на круг — в радость.

Збышек Домино встретил нас в Жешуве бурно, породственному, угостил омлетом «по-жешувски», познакомил с представителями Общества польско-советской дружбы и умчал на машине куда обещал — в усадьбу некоронованных королей Польши — Потоцких. По пути мы заехали на кладбище павших воинов и положили букет цветов к подножию памятника молодогвардейцу Ивану Туркеничу, погибшему под Дембицей, прах которого перевезен под Жешув после войны.

И вот мы в усадьбе Потоцких, обширной, роскошной и такой благолепной, что на вопрос Збышека — «Узнаешь? Узнаешь?!» — я кивал головой, а сам ничего не узнавал, все мне казалось ровно бы когда-то виденным, но во сне, в оглохшем, одноцветном и точно бы не моем сне.

Строгие аллеи были усыпаны белым цветом, густая зелень переплеталась над головой, в прудах и в ручье, сомкнувшем их между собой, плавали караси и красные заморские рыбки с такими яркими плавниками, что они скорее казались похожими на громадных бабочек, случайно угодивших в воду. По берегам цвели розовые цветы меж глянцево-блестящих листьев, напоминающие лотосы или что-то такое сказочное, и все здесь было как в тихой, дремотной сказке. Густоголосое пение птиц и неподвижно стоящие скульптуры на аллеях еще более увеличивали чувство сказочной завороченности.

А вот и богиня! Как бы в кокетливом испуге и удивлении прикрыв ладошкой зрелую, девственную грудь, стояла она в уголке возле беседки, склонившись белым ликом над маленьким зеркальцем пруда, и, глядясь в него, отражалась во всей чистой и прекрасной наготе меж белых кувшинок. Збышек все свое: «Ну, узнаешь? Ее-то хоть узнаешь?!»

«Нет, Збышек, не узнаю», — тянуло меня честно признаться польскому другу, волей прихотливой судьбы выросшему в Сибири и назвавшему свою книгу рассказов «Кедровые орехи». Но мне так не хотелось его огорчать, и я согласно кивал головой, а сам глядел и удивлялся земной красоте, величию природы. Вдруг до

слуха донеслась дивная музыка, тоже древняя, простая, зовущая и в то же время доступная лишь сердцу и необъяснимая разумом. Ощущения сказки еще более увеличились, и мы словно замороженные двинулись на звуки музыки. Скоро оказались у входа в огромный дом Потоцких, откуда звучала музыка. Вежливый служитель дома, превращенного в народный музей-усадьбу, вежливо же объяснил, что начались традиционные ежегодные концерты старинной камерной музыки, на которые съезжаются музыканты и слушатели со всех концов Европы, и что осмотреть бывшие владения Потоцких мы сегодня не сможем.

Збышек загорячился, в шутку ли, всерьез ли посулил всех тут с работы поразогнать, коли не покажут освободителю этой усадьбы то, чего он в войну увидеть не мог, ибо больше ползал на брюхе, глазами уставившись в землю. Вежливый пан служитель поулыбался и разрешил нам войти в дом, но вести себя тихо. Мы на цыпочках поднялись наверх, постояли возле зала, в котором шел концерт. Меня поразило, как много слушали музыку инвалидов — у входа в зал стояли разного рода коляски. Уронив головы, чтобы не было видно слез, в них сидели, внимая музыке, и тихо плакали люди.

Мне сразу раскотелось на что-либо глазеть и чему-либо удивляться, а захотелось сесть с этими людьми в круг и вместе с ними поплакать о себе и обо всех нас.

И когда я бродил по роскошно обставленным апартаментам ясновельможных панов Потоцких и, узнавая, сколько они увезли с собой богатств, убегая с фашистским охвостом за границу и сколько увезти не смогли, все слышал издали музыку Генделя, Баха, Вивальди, Шопена, Винявского — эта вечная музыка как-то отделяла меня от суеты людской, необузданной алчности, глухоты к мольбам и нуждам ближнего. В одном из больших залов нам показали ободранные стены, что-то с корнем выдранное, вывернутое, изуродованное — это ясновельможные «патриоты» Польши рвали позолоту со стен, канделябры, подвески, ценную утварь — припекло, видать, освободительные войска наступали «на хвост», некогда было церемониться. Тяни веками накопленное, по крохам собранное великим и многострадальным народом. Урвали. Выморщили. Рви когти! Беги! Торопись! Спасай шкуру!

Поляки так и хранят эту залу ободранной, побитой, развороченной — смотрите, дивитесь, люди добрые, а

то ведь трудно и поверить, глядя на надменные и пышные портреты многих поколений Потоцких, развешанные по стенам, что их вырождающееся древо сплетется с гнилокорыми ветвями немецких фашистов, и там, за рубежами, выродки будут пьяно орать: «Еще Польша не сгинела!», проматывая прикарманенные национальные ценности, уворованные у родного народа.

И наавтра, когда пан Янек мчал нас с птичьей скоростью к Дукле, все звучало во мне, накатывая, словно волны моря, одинаковые и в то же время неповторимые звуки старой и никогда не стареющей музыки.

И все развевалась и развевалась лента дороги, бесконечная, как вечность, и неповторимая, как жизнь.

В Сандомире, в войну в прах разбитом снарядами и бомбами, шли восстановительные работы, государство выделило огромные средства, чтобы этот древнейший польский город был восстановлен в его первоначальном, историческом лике. Под Дембицей мы остановились, и хотя вновь проложенная асфальтовая магистраль несколько изменила облик местности, я нашел место нашего артиллерийского наблюдательного пункта и тот пятачок земли, на который, вскрикнув, замертво упал, окутанный дымом взрыва, и, корчась, затих наш товарищ-связист. Где-то здесь, в сосняке, мы его и закопали. Подрос сосняк, затянуло мхом и травой окопы и могилы, забыл я имя и фамилию своего собрата по окопам.

— А знаешь ли ты, что здесь, совсем рядышком, работала немецкая камера смерти, когда вы подошли сюда?

Нет, не знал я этого. Недосуг было отвлекаться. Шли непрерывно бои — немцы не хотели сдавать Дембицу по известным им причинам.

Мы поднялись по сосняку в горку и посреди залитой цветом земляники поляны увидели сооружение, напоминающее общественный нужник с квадратным отверстием в потолке. Оказывается, под Дембицей был секретный подземный авиазавод, на нем работали узники концлагерей. Чтобы никому ничего не могли рассказать, фашисты деловито и плотно забивали это сооружение невольниками, уже не способными к труду, затыкали дыру вверху, запирали плотно двери и пускали вовнутрь газ.

Свистела мелкая птица над земляничной поляной, шевелило ветерком бумажку на каменном полу. Кто-то здесь презрительно оправился и бросил бумажку на пол. На стенах пестрели разноязычные надписи, прокливающие фашизм. «Это не должно повториться!» — гласила одна из них.

Боже мой, как все просто, невинно и как страшна эта простота! И как мало значат в наше время слова, даже написанные кровью смертников. Уж кто-кто, а фашисты знали это. Они любили поораторствовать, потрещать, посыпать словами свои дорожки, словно кирпичной крошкой, для красоты и удобства. Целую нацию заговорили, заморочили ей голову, потом побитые попрятались, переоделись в цивильный мундир, примолкли. А сооружение окаменелым стоном стоит среди весенней поляны, точно угрюмый, нелепый памятник еще одному творению человека, не делающему чести его разуму, и молча кричат с его стен караули букв, взывающие к милосердию.

Сколько же тратилось и тратится человеческого разума на то, чтобы убить в человеке человеческое?! Одно только изобретение пороха нанесло такой удар человечеству и нашей земле, что не счесть зла, им принесенного. А ныне? Что эта будка сортирного типа и какой-то удушливый газ, оставшиеся от прошлой войны? Детская игра! Сейчас такое оружие, такие ухищрения сотворены для истребления человека, что и самого ума, все это измыслившего, не хватает постичь деяние свое. И в то же время звучит Гендель в старой польской усадьбе, стоят на полках Толстой, Пушкин, Достоевский, Гоголь, Мицкевич, Шекспир, Бальзак, а когда изобрели порох, были уже, однако, Данте, Боккаччо, Сервантес, Петрарка, Леонардо да Винчи, Микеланджело? Но всего их человеческого гения, всех человеческих жертв оказалось мало, чтоб образумить род людской, чтоб вознести добро так высоко, что оно недоступно было бы злу.

На окраине Дуклы, за низкой каменной оградой разместилось братское кладбище, разделенное на две половины, и по одну его сторону стояли низенькие каменные кресты, в подножии уже потемнелые, тронутые зеленой плесенью, а по другую — просто холмики, помеченные табличками, обрамленные каймой травы, кое-

где пробитой синенькими цветами пролесок и маргариток, отчего-то казавшихся здесь грустными.

Пожилой поляк, стрекочущий машинкой, ровнял траву меж могил и по обочинам кладбища. За ним траву сгребал мальчик годов восьми. Они поздоровались с нами, и, узнав, кто я и зачем здесь, поляк вздохнул и сказал горестно, чисто по-русски:

— Полюбуйтесь. Посмотрите, как из века в век повторяется одно и то же, одно и то же, — он надолго замолк и, снова берясь за ручки косилки, кивнул на мальчика: — Вот, беру внука с собой. Пусть смотрит, пусть думает и не повторяет наших бед и ошибок.

Я стоял за Дуклой, на холме, и не узнавал того места, где меня ранило. Я ж не на прогулке был. Воевал. Когда ранят — по всему телу идет гулкий удар, откroется кровь, сильно-сильно зазвенит в голове и затошнит, и вялость найдет, будто в лампе догорает керосин, и желтенький, едва теплящийся свет заколеблется и замрет над тобой, так, что дышать делается боязно и всего пронзит страхом. И если от удара заорал, то, увидев кровь, — оглох от собственного голоса и звона, ужался в себе, приник к земле, боясь погасить этот исходный свет, этот колеблющийся проблеск жизни.

Что я был? Песчинка в огромной буре, а вот, поди ж ты, ощущал что-то, больно было от раны, и память зачем-то звала, неудержительно влекла меня сюда, где даже не капля, а всего лишь капелька в сравнении с морем крови, красная капелька, моя капелька окропила эту землю, на которой росла картошка, в трубочку шло жито и радостно желтело целое поле сурепки, из которой местные крестьяне добывают очень вкусное растительное масло, называя его с любовью «желтым».

Нет, мне не стало легче от того, что я постоял на том неприметном холме, глядя на Дуклинский перевал, объятый темной тайгой, перевал, который мы так и не перевалили. Но мне стало спокойней от вида сельских полей, от этих меркло синеющих гор и лесов, от мирно дымящих труб над крестьянскими избами, от равномерного, полусонного, одинокого колокольного звона, доносившегося из городка, от пенья жаворонка, взмывшего в небо из хлебов, от этого столь привычного, до боли в сердце любимого мира.

Я много увидел и передумал в ту поездку по Польше, но отчетливей всего сохранились в памяти девочка, идущая с дедушкой; усталая узкая спина крестьянки, по-

ловшей вручную хлеб; пожилой поляк с внуком, обихаживающий братское кладбище; и музыка Генделя, звучащая в усадьбе, где не видно уже никаких следов войны и все затянута цветущей зеленью.

Ради этого стоило воевать и пролить кровь. Ради этого стоит жить и работать. Ибо жива наша память и пока еще не покинула нас вера в человеческий разум.

1982

ПИСЬМО ДОЧЕРИ ПОГИБШЕГО ДРУГА

Редакция журнала «В мире книг» предложила мне выступить на тему «Моя почта», полагая, видимо, что почта моя обширна. Нет, писем читательских я получаю немного, но, как правило, письма эти от думающих, умных читателей, и это меня радует.

Среди читательских писем есть одно, которым я особенно дорожу и которое стало как бы путеводной звездой в моей работе.

Первый рассказ свой я написал, полагая, что ничего не должен выдумывать, и потому сохранил фамилию, имя героя и т. д. и т. п. Возможно, произошло это не только по авторской наивности, но и как реакция на те многочисленные историйки на военные темы, которые тогда печатались косяком и ничего общего с войной, какую я видел, не имели.

Когда учился я на Высших литературных курсах в Москве, то как-то в разговоре с друзьями-сокурсниками поведал смешную историю своего первого рассказа. Однако друзья мои не смеялись, а поругали меня за то, что я не послал свой рассказ семье погибшего товарища, о котором написал.

Я исправил свою оплошность и послал книжку в городок Тогул, что на Алтае, на имя писателя Николая Николаевича Чабаевского, так как запомнил название деревни, из которой происходил герой моего рассказа и мой фронтовой товарищ — Матвей Савинцев.

Николай Николаевич, живущий в том же районе, из которого произошел мой герой, сделал все, чтобы отыскать Савинцевых, и они отыскались.

Книжечку «Сибиряк» читали всей деревней, собравшись в сельском клубе. И плакали все, потому как в деревне Шумихе почти в каждом доме кого-нибудь не

дождались с войны и оплакивал всяк своих, слушая о гибели связиста Савинцева.

Имя моего героя присвоили пионерской организации села Шумиха. И вообще в деревне Шумиха получилось большое и горькое торжество, как мне потом сообщили.

Однажды получил я письмо от дочери Матвея Савинцева. Вот оно целиком. Ни одного слова не могу я сократить в этом письме, ибо кажется оно мне сильнее и лучше многих наших сочинений.

Здравствуйте, Виктор Петрович!

Пишет письмо незнакомая Вам Валентина Савинцева.

Виктор Петрович, я не знаю, как мне отблагодарить Вас. Вы сделали для нас очень много хорошего. Вы написали книгу о нашем отце. Это нам великая память о нем. Это все, что осталось от него. Еще от него остался старый портрет — и все. Я плохо помню, но было это примерно так. Кто-то сказал, что кончилась война, или еще нет. Или наши подходили к Берлину. Мы с сестрой и мамой были в огороде, когда нам сказали. Мы так радовались, что придет отец, прыгали и радовались. А маме в это время вручили медаль «За доблестный труд». А через несколько дней маму вызвали снова в сельсовет. А она говорит: «Наверное, опять что-нибудь дадут, прямо совсем некогда, а они вызывают». Это мы шли за коровой в поле. Мама шла с веревочкой. Вернулась в сельсовет.

Я как сейчас вижу этот сельсовет. Весь перекосялся, крыльцо большое, но пола на крыльце нет, почему — я не знаю. У двери лежали две доски, чтобы можно было зайти в дом.

Я и моя сестра стояли на бревне и ждали, когда выйдет мама. Мы думали, что маме опять дадут медаль, и спорили: кому из нас носить ее. И вот вышла наша мама. Как увидела нас, так голосом и заплакала. А в руках у нее была какая-то бумажка. Мы тоже заплакали, хотя не знали, почему плачет мама, а она долго не могла сказать ни слова.

К нам много собралось людей, и все плакали, а я спряталась в сенях за дверью и там плакала.

Стали мы жить помаленьку. У многих не пришли отцы. Был сильный голод. Жили только на траве. Мама

работала, а бабушка — это мать отца, с нами была дома. Бабушка все отдавала нам, а сама не ела. А когда садились кушать, что-нибудь сварят, то мы ждали, когда первую ложку хлебнет мама и бабушка, тогда мы с сестрой начинали. Это мы договорились так с Зоей. Бабушка умерла, может быть и от голода. Когда умирала, то кричала: «Уберите траву! Это она задавила меня!»

Незаметно так мы выросли, стали взрослыми. Мне исполнилось шестнадцать лет. Я пошла и получила паспорт. Школу бросила, потому что подружки поехали в город. Я с ними. У меня было всего одно платье. Днем работаю в нем, а вечером стираю и глажу, почти сырое одену и иду вместе с девочками в клуб.

А когда собрались, поехали в Барнаул. Я думала, что буду работать, зарабатывать деньги и куплю себе еще платье, а может, и два. Город я даже не знала — в какой стороне. Уехали. А когда приехали в Барнаул, не знали куда идти. Ночевали на вокзале. На квартиру нас не пускали, боялись, наверное, что чего-нибудь возьмем. С трудом устроились. Стали работать. А в тот же год, когда мы уехали из колхоза, наши получили много хлеба и с тех пор стали жить хорошо. Это было в 1954 году. Только тогда колхозники ожили. А я и сейчас живу в Барнауле. Сейчас у меня семья. Муж, дочь и свекровь. С мужем мы живем хорошо. Работаем в одном цехе на строительстве и учимся в вечерней школе рабочей молодежи. Он в восьмом, а я в седьмом классах.

А сестра Зоя работает дояркой в колхозе, и мама тоже в колхозе, и брат Александр трактористом работает.

Простите, Виктор Петрович, что я столько много написала. Я даже не знаю, почему я Вам все это написала. Возможно, Вам это не интересно.

Виктор Петрович, я много искала книжку «Сибиряк», но не нашла. Мне обещала принести одна женщина, но до сих пор нет. Мне так хочется прочитать и не знаю, где взять. У мамы есть, но ее читает сейчас все село. Ваш адрес выслали мне из дома, а им выслал Чабаевский.

Передайте привет Вашей жене и детям, если они есть у вас. Сейчас мы живем на квартире, а через месяц будем жить на своей. Сейчас строимся. К Первому мая приезжайте на новоселье.

Надо ли комментировать это письмо? Добавлю лишь, что после такого письма уж не захочется писать для литературных снобов или для заморской публики, которую одно время почти уверили молодые, но ранние наши писатели, будто земля наша кишмя кишит мальчиками и девочками, не знающими, куда себя девать и что делать.

Большую, очень большую роль сыграло в моей писательской жизни письмо Валентины Савинцевой. Что бы я ни замысливал, что бы ни писал — всегда мысленно обращаюсь к ней и каждое свое произведение примеряю на нее, как платье, — подойдет ли оно ей.

И не знаю я другого смысла и другого счастья, чем писать для простых, но истинных тружеников нашей оплаканной и зацелованной земли. Трудом своим и жизнью они заслужили доброе слово, трепетную любовь нашу, и благодарное их слово есть высшая награда за наш нелегкий литературный труд.

ЭТЮД НА ЧУСОВОЙ

Сколько помню художника Анатолия Николаевича Тумбасова, столь и неизменен его облик в памяти моей. Прежде всего запоминается тихая, добрая улыбка, вроде бы постоянно присутствующая на бледноватом лице от скрытого, тайного волнения и радости, изредка озаряющих лицо негустым и неярким румянцем, беловатые волосы, выветленные солнцем и ветром брови и небольшие светло-голубые, внимательные-превнимательные глаза, таящие в себе какую-то глубокую печаль и даже виноватость.

Как видите, портрет и облик художника, мне запомнившегося, так и просятся определить его в детстве и в юности в какое-нибудь городское предместье, в интеллигентную скромную семью, в примерную школу полугородского, окраинного толка, где много кружков по искусству, военной подготовке, где все чего-то лепят, мастерят и рисуют, бросают деревянные гранаты и колют самодельные чучела врагов, где обязательно присутствуют два-три лохматых учителя, одержимых идеями невиданных изобретений, открытий, путешествий, будоражащих юные души.

Но, увы и ах, родом-то Анатолий Тумбасов из шах-

терского поселка с самым ему подходящим названием, над которым долго не надсаживались административные умы, — Пласт Челябинской области, в пятидесяти верстах от станции Нижне-Увельской.

«Поселок этот можно окинуть взглядом с любого шахтерского отвала. В поселке всего было несколько двухэтажных зданий на городской манер: больница, девятая и десятая школы, две-три конторы, а все остальное — домишки с палисадниками и огородами», — напишет впоследствии о своей «малой родине» Тумбасов и с горьким выдохом добавит: «И вот тебе, почти четыре тысячи погибло». В числе погибших на войне был и отец художника, и друг, роднее кровного ему брата, мечтавший стать художником Иван Чистов, убитый десятого сентября 1943 года в Смоленской области, возле деревни Шуи.

Так вот она откуда, глубоко таимая и неистребимая печаль в глазах художника, — он-то вернулся с войны, а Ваня, отец и еще миллионы остались на веки вечные «там». Неизбывна война в сердцах тех, кто уцелел на войне, и груз ее тяжкий нести нам — фронтовикам до конца дней наших.

Оба они: и Толя Тумбасов, и Ваня Чистов — страстно мечтали стать художниками, и мечта одного из них исполнилась, он рисует, пишет и работает «за двоих», как наказывал ему покойный друг.

Художники, как и многие творческие люди, много и серьезно работающие, не любят, чтоб им мешали, изобретают всевозможные запоры и замки, ограждая себя от любопытных, праздных «гостей», но сколь я знаю Тумбасова — а знаю я его уже более тридцати лет, двери его мастерской всегда открыты для людей, и всегда согрет для гостей крепкий чай, и редкого по сердцу ему пришедшегося гостя он отпустит без подарка — этюд с реки Камы, подаренный мне еще в пятидесятых годах, объехал со мною не один уже город, сменил не одну квартиру. И при всем при этом Тумбасов не только много и плодотворно работает, он много ездит, у многих людей бывает. Урал облазил и изрисовал, кажется, от крайнего севера до родного юга. Но в общении с людьми он любит больше слушать, чем говорить, однако его «молчаливое общение» так активно, такое в лице его внимание и любовь, что и не замечаешь его неучастия в разговорах и спорах.

Но мне доводилось, и не раз, слушать и его расска-

зы, не о себе, нет, не о своих работах, а о том, где он был, чего видел, с кем встречался — открывалась душа глубокая, глаз не просто приметливый, но и остропамятливый, и еще юмор, тихий юмор, всегда присутствующий в его рассказах, и самоирония, а это уже верный признак души, богато одаренной природой и озаренной светом добра.

Тумбасов не только много всегда работал как художник, но и выставлялся немало, и похваливали его, и даже куда-то выбирали, в какое-то руководство, но это никак не отражалось на его характере и поведении. Всегда скромно живший и живущий материально, он никогда никому из «богато» и «широко» живущих художников не завидовал, на нужду не жаловался, не горланил на собраниях, и о нем в Перми одно время уж начали поговаривать: «Себе на уме мужичок», в особенности после того, как Тумбасов начал «пописывать» и изредка издавать очень милые и добрые книжки для детей со своими рисунками, содержание которых чаще всего составляли записи путешествий по Уралу или словесные этюды с рисунками о природе, о цветах и деревьях, исторических местах. И тут нашлись злые языки: «Деньгú зашибает Тумбасов! В писатели рвется!» Но книжки его были так непритязательны и обезоруживающе-доверительны, объем их столь невелик, что в конце концов унялись всякие наветы и к Тумбасову привыкли к такому, какой он есть: никого он локтями не отталкивал и не отталкивает, ни у кого кусок хлеба не рвал и не рвет. А вот когда я, переехав в Вологду, написал, что не худо бы ему посмотреть эту землю, не похожую ни на Урал, ни на Сибирь, но такую пространственно-российскую, историческую, привлекательную, то он ту же занял у кого-то полста рублей и прикатил ко мне, побывал на выставках, в музеях, в лесу, в деревнях, и так был счастлив тем, что вот ему показали прекрасный древний «клочок» России, что даже и постоянная печаль в его глазах приутихла.

Повторяю — не припомню, когда бы мой сверстник по годам и скопам говорил о себе, хвалился собою, своей работой и успехами; вот о друзьях-товарищах — пожалуйста! О них он всегда готов поведать хоть изустно, хоть письменно.

В Челябинске, на родине Тумбасова, вышел литературно-краеведческий сборник под броским и красивым названием «Рифей» — такое, оказывается, наименова-

ние Урала дошло до наших дней из Эллады, от греков, и под этим именем вошел Урал в древнюю мифологию.

В числе шестнадцати авторов «Рифея» присутствует и Анатолий Тумбасов и снова пишет не о себе, снова не претендует на высоты литературного стиля, и, быть может, именно поэтому строки его порой столь проникновенны и зримы, что за сердце хватают.

Друг его, Ваня Чистов, был сиротой, и его на воспитание к себе взяла одинокая бабушка Яковлевна, которая в японскую еще войну была сестрой милосердия и которую два отрока, возмечтавшие быть художниками, все донимали расспросами о великом русском художнике Верещагине, который, казалось им, должен был быть на самом заметном виду, поскольку знаменит. Но бабушка Яковлевна отмахивалась от них: «Война шла, где там заметишь».

Так вот, отличник учебы, неизменный староста класса, горевший на общественной работе и самоуком постигавший секреты творчества, беспрестанно рисовавший, лепивший, изучавший в библиотеке, в доступных книгах и по открыткам искусство, мечтавший хоть бы раз побывать в настоящей картинной галерее и увидеть картины Репина, Шишкина, Левитана, но так ничего этого и не увидевший, Иван Чистов раньше своего преданного друга уходил на фронт, а тот много-много лет спустя до осязаемости, предметно вспомнит, как провожал Ваню, который преобразился на глазах, возмужал, но как попал в компанию новобранцев, как зажали его в кузове автомашины, так бравый призывник все искал глазами защитницу — бабушку Яковлевну, а она: «бабушка стояла в стороне, у изгороди и плакала, ничего не видя. Я пробрался к другу, потянул его за рукав... Мы молча и крепко пожали друг другу руки. Машина было тронулась, но мотор заглох. Все женщины опять нахлынули и притиснули меня к борту. Я опять оказался около Вани, а он, высвобождая руку, высыпал мне горсть сахара, выданного в военкомате. «Бери!» — сказал второпях, как мотор снова завели, машина тронулась, и ревущая, пестрая толпа, только что прильнувшая к кузову, стала отставать. Но многие еще бежали следом, кричали, махали платками, и потом долго стояли на дороге, растерянные, одинокие, оставленные...»

Никого не повторил в этой сцене прощания не претендующий на звание литератора Анатолий Тумбасов, хотя сцен прощания написано, снято в кино и нари-

совано не сотни, а тысячи, однако нигде и ни у кого я не встречал наповал разящего слова «оставленные». Это уж что-то от «тютчевской неправильности», это уж из того, что близко лежит, да брать далеко.

«Так мы расстались с Ваней. Писали друг другу письма, жили надеждами, ожиданиями, жили все с той же мечтой: рисовать, рисовать...»

Скоро на фронт отправился и Тумбасов, но переписка друзей не прекратилась, и с родины приходили письма. «Я уже наизусть знаю начало и конец маминых писем», — простодушно признается другу Анатолий. А тот в ответ: «Друг мой, я очень соскучился и не могу забыть ни на минуту родные места и те счастливые дни, когда мы рисовали. Пока есть возможность — рисуй, рисуй день и ночь. А какие замечательные здесь места, так и вырвался бы порисовать, но нельзя. Надо овладеть противотанковым ружьем». И еще, и еще: «Больше рисуй. Жду бандероль с бумагой»: «Спасибо тебе, что выслал бумагу. Спасибо, что догадался положить портрет Крамского. Хоть один портрет художника будет у меня». «Еще вспомнил: у меня есть кнопки, возьми их себе и мне немного вышли. Если бабушка будет посылать мне посылку, вышли Илью Репина — открытку, я хоть буду смотреть на нее и думать, как он работал». «Я, Толя, когда иду в строю, то все смотрю по сторонам и в результате — запнешься и станешь другому на ногу — за это попадет». «Помнишь: тихая ночь, снежинки, а мы говорили об искусстве, о будущем... Мне кажется, что после войны будет другая жизнь...»

Я не случайно и не зря так много цитирую из горького и бесхитростного рассказа Анатолия Тумбасова о своем незабвенном друге, мечта которого оборвалась на взлете и могилу которого так и не смогли найти ни юные следопыты, ни друг его верный — на месте тяжелых боев под Шуей шумят хлебными колосьями колхозные поля.

Чуть позже, в голодные послевоенные годы, с Золотого таежного рудника, что затерян в дебрях Сибири, пробирался на попутных «в центр» другой подросток, мечтавший стать художником. С тяготами, муками, лишениями и со счастьем в сердце он поступил и окончил краевое художественное училище, затем был принят в Ленинградскую академию художеств и зодчества, откуда вернулся в родные края скульптором, живописцем, виртуозно владеющим рисунком, как владели им

в старые времена русские художники, неистовые и требовательные к себе и к своей работе великие мастера. Рисунок и рисование для них были то же самое, что каждодневные изнурительные упражнения для балерин.

О Ленинграде, об академии, о том, как добывался хлеб насущный на пропитание, этот человек, мой земляк, ныне известный скульптор, может рассказывать часами, да все с юмором, и лишь когда дело доходит до имен преподавателей, становится он предельно серьезным, на глаза его наплывает пленка благодарных, сыновних слез.

Год или полтора назад его преподаватель по классу живописи, старый и ныне всемирно признанный мастер, пользуясь тем, что в Ленинграде было какое-то широкое мероприятие и съехались многие художники, в том числе и «послевоенные», его самые любимые и трудолюбивые ученики, решил провести вместе с ними урок, поделиться своим накопленным мастерством, а главное — пообщаться, помочь живописцам, графикам и скульпторам окунуться в современную творческую атмосферу.

Прекрасные классы, мастерские, новомодные мольберты и станки, краски и кисти, материал для лепки любой, натурщиц два десятка, да одна другой пластичнее и краше, а в те, послевоенные годы все не хватало природы и средств на натуру. Сам мастер пришел подтянутый, помолодевший, в торжественном одеянии и настроении, но в класс-то, на урок его, человека престарелого, до крайности занятого, явилось всего одиннадцать душ, и все, как на подбор, те, «послевоенные» его ученики, среди которых много уже общепризнанных, с динами украшенных мастеров. Нынешние же его ученики, жаждущие немедленной славы, удовольствий, роскошно одетые, перекормленные не только сладкой едой, но и искусством, сплошные «новаторы», предпочли общению с «бесконечно отсталым хламьем» торжественный банкет во славу искусства.

А мы еще сетуем: отчего так порой невыразительны, тусклы, однообразны многоместные выставки в Манеже и других выставочных залов, почему так долго не появляются новые Корины, Пластовы, Дейнеки, Мыльниковы, Моисеенки, Савицкие? Они на пустом месте не появляются и при таком «отборе» и отношении к делу скоро и не появятся, ибо работать нынешним «мастерам» неохота, а прославиться, и как можно скорее, они

стремятся изо всех сил, и тут не столь работа, сколь папино или дядино имя пускается в ход и не жалеется сил на приобщение к искусству с заднего хода...

Горько, очень горько это знать, и еще горше стало на сердце, когда я прочел очерк Анатолия Тумбасова о погибшем друге, так жадно, непобедимо, с открытым сердцем и чистыми помыслами стремившемся в искусство.

И снова, и снова глаза мои отыскивают и пробегают по строкам последнего с фронта письма к другу Ивана Чистова: «Рисуй больше, не жалей сил, ни времени, рисуй за двоих. До свидания. Спешу заклеить письма тебе и бабушке картошкой из супа».

Много лет назад на берегу самой в Европе красивой, прославленной уральскими писателями и живописцами реки Чусовой художник Тумбасов нашел одинокую могилу партизана или красноармейца, погибшего в гражданскую войну. Он возмечтал нарисовать картину с этой могилы и много раз бывал на том скорбном месте, сделал множество этюдов, начинал картину и так и этак, и все она у него не получается и, наверно, никогда не получится, потому что могилу своего самого любимого друга он не нашел, и мучает его та могила, как мучают все наше поколение не найденные нами и неоткрытые могилы, не закопанные нами впопыхах наступления окопные друзья, а вот очерк-воспоминание получился. Пронзительно горький и простой документ героического времени, может, и картина о потерянном друге, о погибшей его мечте, о безвестной солдатской могиле, затерянной в просторах любимой Родины, когда-нибудь получится.

Каждому человеку есть место на Земле для приложения сил его и знаний, а в деле, в кей-рестанком поиске и движении-вещи, слова жизни и пути. У нас как-то "незаметно" сформировавшийся характер, забота личности, а она, личность, много раз не была и не будет подвержена отрицательным влияниям, зловещим, зловещим, злобы и нехвастливости.

ИМЯ ТОЛСТОГО СВАТО

Ответ на анкету к 150-летию со дня рождения Л. Толстого

Одно из самых ярких воспоминаний моего детства по какому-то капризу судьбы или закономерности ее связано со Львом Николаевичем Толстым. В деревенской школе, куда я пошел учиться в первый класс осенью тысяча девятьсот тридцать второго года, приезжий учитель прочел нам, сельским детям, еще не умеющим читать, рассказ о Жилине и Костылине. Это было такое потрясение, что я долго не мог ничего более слушать и воспринимать, с криком вскакивал по ночам и все время пытался пересказать жуткую историю о двух русских солдатах, бежавших из плена, всем, кто желал ее

слушать. Бабушка, слушая меня, не раз плакала и повторяла: «Господи, господи! Вот она какая, жизнь-то человеческая, чего только в ней не натерпелась и не потерпелась... — и к случаю наказывала: — Учись хорошенько, старших слушайся — старшие худому не научат...»

С тех пор я не перечитывал рассказ Льва Николаевича Толстого «Кавказский пленник», и перечитывать не буду, ибо живет он во мне каким-то давним, отделенным от всего остального прочитанного и услышанного, ярким озарением, и мне все еще хочется пересказывать бесхитростную и, может быть, самую романтическую историю в нашей русской литературе. Возможно, и тяга к творчеству началась с того, в детстве искоркой заглянувшегося, желанья — поведать услышанное, что-то, конечно же, добавляя от себя.

Самое любимое мое произведение у Льва Николаевича «Хозяин и работник». Оно не только совершенно по исполнению, но еще и поучительно для нас, ныне работающих пером, в том смысле, что в угоду литературной схеме нельзя попускаться жизненной правдой. Уверен, что в исполнении большинства современных отечественных писателей «хозяин» никогда не вернулся бы спасать «работника», не замерз бы сам, наоборот, как и полагается держиморде-кулаку, сделал бы все, чтоб погубить «эксплуатируемого», ибо есть он в нашем понимании «паразит», а у паразита какой может быть характер, какое «нутро»?! Только темное, гнилое, паразитское! Великий же писатель и мыслитель видел и понимал человека во всей его объемности, со всеми его сложностями и противоречиями, порой чудовищными.

Вот в этом, на мой взгляд, и заключается традиция Толстого, воспитанного, кстати сказать, на традициях той зрелой русской литературы, которая уже существовала до него и величие которой он приумножил и поднял на такую высоту, до которой надо всем нам тянуться и тянуться, чтобы заглянуть в ее беспредельные глубины.

Отдельно любимого толстовского героя у меня нет, я люблю их всех, от мальчика Филипка, незадачливого Поликушки и до пугающе-недоступного, прекрасного князя Андрея Болконского и его сестры Марьи.

За жизнь свою я перечитывал «Войну и мир» раз пять. Самое яркое впечатление было, когда я читал эту

книгу в госпитале. Те ощущения, та боль, какие я пережил, читая «Войну и мир» на госпитальной койке, больше не повторялись. Но каждое следующее прочтение романа открывало мне новые, ранее не увиденные и неизведанные «пласты», ибо сама эта книга, как Жизнь, как Земля, велика, загадочна и сложна.

Лет десять назад я — наконец-то! — решился съездить в святое место — Ясную Поляну и был потрясен равнодушием и праздностью толпы, жидким потоком плавающей по аллеям, дорогам и тропинкам усадьбы. Посетители чего-то жевали, фотографировались на память, хохотали, припоминали какие-то сплетни о Толстом, а главным образом — о жене его и детях. Какая-то простодушная пожилая женщина высказалась насчет могилы Толстого: «Такой, говорят, большой человек был, а могила сиротская, без креста. Денег, что ли, жалко?» Какой-то седовласый гражданин в рубахе-распашонке, с лицом закаленного кухонного бойца, кричал в кафе у входа на усадьбу: «Почему это водка есть, а коньяку нету? Я хочу благородного человека помянуть благородным напитком!..» Рядом сидела его внучка или дочка отроческого возраста, потупив глаза, с лицом потерянным.

Александр Лаврик — тульский писатель, бывший тогда секретарем областного отделения Союза писателей, не выдержал, очурали «бойца»: «Гражданин, опомнитесь! Вы где находитесь-то?»

И «боец» тотчас с радостью напал на него, и мы покидали усадьбы под мерзкий, ржавый, уже сорванный голос кухонного воина, под стук движка, который нудно и ненужно звучал возле дома, на аллейке, как нам пояснили: «улавливает на учет количество газов, сажи и дыма, опадающих на усадьбу, ибо хвойные деревья на ней уже почти погибли, так чтоб не посохли бы все остальные...»

Так бы я, наверное, и уехал домой с тяжестью и растерянностью в душе, если бы не посоветовали мне наведаться сюда в выходной день.

Стоял сентябрь — золотая пора России. На усадьбе редко и еще неохотно падал лист. Было чисто и светло, но главное — безлюдно. Я весь день проходил по усадьбе, и весь день у меня было ощущение, что в спину мне остро бьет взгляд, пронзая меня насквозь и высвечивая во мне все, что было и есть, и я невольно подбирался, припоминал, что сделал в жизни плохого и хо-

рошего. Весь день был я как бы под судом, весь день подводил «баланец» своей жизни.

Это был нелегкий день в моей жизни, ибо трудно судить себя взглядом и совестью Великого художника.

Позднее я высказал пожелание, чтобы каждого вступающего на писательскую стезю, прежде чем принять в Союз и «оформить» как писателя, привозили бы в Ясную Поляну, давали бы возможность побыть «с Толстым наедине» и потом уж спрашивали бы: готов ли он заниматься тем делом, каким занимался Лев Николаевич?

В сумерках уже я пришел к могиле Толстого, постоял над нею, потом дотронулся до холодной, очерствело-осенней травы ладонью и вышел на дорогу.

В Тулу я шел пешком, еще и еще переживал ощущения того строгого покоя, коим наполнены были леса, перелески и рощи усадьбы, той задумчивой тишины, какая осенью была здесь при Льве Николаевиче, и вот продолжилась во времени, коснулась моей души. И мне тоже сделалось спокойно. Суэта как бы отхлынула от меня, и казалось, уже не закрутит, не завертит более, чувство, печальное чувство зрелого возраста вселилось в меня тогда, и думалось мне, что я способен и буду делать добро, только добро...

Больше я не бывал в Ясной Поляне и боюсь туда поехать, боюсь встретить жирующих, хохочущих и снимающихся на карточки праздных людей, коим все равно где бывать, в какой «книге отзывов» ставить автограф, чему дивоваться, что слышать, лишь бы «полезно» убить время.

И еще я боюсь, очень боюсь не выдержать сурового суда мыслителя и творца, величайшего из людей, рожденных на земле за много тысяч лет ее существования, с которым дано мне было счастье родиться в одной стране — России. Живет во мне вечное сознание любви и страха: я занимаюсь той же работой, которой занимался Он! Так какая же должна быть огромная ответственность во мне и во всех нас, ныне живущих на земле, которую Он пахал, за работу, которую Он так свято, мудро и мученически выполнял?!

О РИТМЕ ПРОЗЫ

Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»

То, что в анкете названо «ритмом прозы», Бунин просто и точно называл — «звук».

Слова без звука нет. Прежде чем появиться слову, появился звук. Так и в прозе: прежде чем возникнет сюжет, оформится замысел, вещь должна «зазвучать», слиться в единую мелодию, навеянную внутренней потребностью и самой жизнью.

И горе, если во время работы обстоятельства (ох уж эти обстоятельства!) уведут от письменного стола надолго и мелодия вещи начинает увядать в душе, рваться — тогда вы замечаете сбои в прозе, видите, как пишущий заметался, у него появилась разностильность, что-то сломалось, что-то «оглохло» в прозе — она не «звучит».

Лучше всего удаются вещи, написанные единым порывом, в которых мелодия рвет сердце, вздымает тебя на такие высоты, что ты задыхаешься от счастья, как птица в полете. Разумеется, от этой музыки малая лишь частица, может, всего капля упадет на бумагу и отзовется ответным звуком в сердце читателя. Однако и это уже большое счастье для пишущего, высокопарно выражаясь, — творца.

У нас сейчас очень много прозы «глухой», составленной из слов, будто печь или стена из кирпичей. Но настоящая русская проза и даже критика (Писарев, Белинский, Добролюбов) имели и имеют свой «звук». Я думаю, что лучшей проверкой достоинства того или иного произведения была бы его проверка «на слух», то есть чтение перед читательской аудиторией. Но это великое мерило литературы, увы, почти утрачено. Полагаю, большая часть нашей прозы не выдержала бы такой, в общем-то естественной, проверки.

1973

БЕСЕДЫ О ЖИЗНИ

Мне было передано для ответов пермской газетой «Молодая гвардия» восемь вопросов.

Часть из них требует обстоятельного разговора, а на некоторые вопросы можно ответить коротко. Поэтому

му я дам сначала ответы на них, а потом уж примусь за (признаюсь сразу) трудные для меня вопросы.

Но прежде чем взяться за дело, я напомним и себе, и читателям слова Горького о том, что нужно человеку много знать, многое изучить, изведать, выстрадать, прежде чем он получит право — не учить, нет, а лишь осторожно подсказывать.

Поэтому все, что будет здесь сказано, — не поучения, не руководство к действию, а субъективные и потому, быть может, и не всегда правильные советы и раздумья старшего вашего товарища.

Вопрос, заданный библиотекарем Зиной Шипигузовой: «Какое самое любимое Ваше произведение советской литературы?»

Поэма Василия Федорова «Проданная Венера».

Вопрос, подписанный — «Заочница»: «Что нужно, чтобы стать хорошим педагогом?»

Любить свое дело больше, чем самое себя. Не подражать ни в чем учителям, которые Вас плохо учили. Уметь думать.

Вопрос учащейся Л. И. Давиденко: «Роль библиотекаря в пропаганде литературы велика. Как Вы относитесь к библиотекарям?»

К хорошим библиотекарям отношусь хорошо, к плохим — плохо. Роль библиотекаря в пропаганде книг, конечно, велика, но уж слишком казенно, по «методикам-сценариям», спущенным сверху, ведется эта пропаганда, поэтому беседы, обсуждения книг, так называемые читательские конференции во многих библиотеках проходят скучно, читатели на них «выступают», а не просто говорят свое мнение. Считаю, что наличие огромного количества книг в библиотеке, пусть и мудрых, не освобождает библиотекаря от самостоятельных мыслей и поступков.

Вопрос библиотекаря тов. Безматерных: «Будете ли Вы что-нибудь писать для детей?»

Для детей я всегда пишу со светлой радостью и стараюсь себя всю жизнь не лишать этой радости.

Вопрос рабочего зоосада В. Красильникова: «Может ли плохой человек быть хорошим писателем?»

Как правило — нет. Однако бывают и исключения из правил. Но, доставшееся от природы человеку низкому, подлому, дарование мельчает, талант поражает какая-то внутренняя ржа. Чаще всего такие писатели да-

рование свое разменивают на пятаки, а жизнь кончали и кончают мерзко.

Вопрос А. Баяндиной: «Как возникают сюжеты Ваших произведений — случайно или Вы их ищете в жизни?»

Вопрос этот часто задают на встречах читатели, и, я полагаю, ответ на него интересует многих людей, поэтому ответу подробней.

Единственная моя попытка писать по сюжету литературному, что ли (имеется в виду мой рассказ «Могила ее неизвестна»), по-моему, была неудачей. Но что значит — искать сюжет в жизни? Сюжет не грибы, и искать его, для меня например, дело бесполезное. Чаще всего сюжет, если так можно выразиться, сам меня находит. Каждому сюжету надлежит быть неповторимым, всегда неожиданным, поражающим своей необычностью, новизной. Другое дело, что «новизна» эта иной раз одного писателя только и поражает, ему только новой и кажется. Это лишний раз доказывает, что человек, которому не мнится, что он первый открывает мир и все в этом мире, за перо браться не должен. Всякий писатель обязан открывать «свою Америку», иначе он — ремесленник, повторяющий кого-то, ракушка, приставшая к чужому кораблю.

Мои сюжеты чаще всего приходят из воспоминаний, то есть из тех времен, когда я писателем не был и не знал, что им буду, а следовательно, и сюжетов искать не мог. Бывает, что сюжет рождается всего лишь из одной «детали» какой-нибудь. Например, рассказ «Ария Каварадосси» возник оттого, что в 1944 году на фронте я слышал, как ночью в окопах пел кто-то. Пел не арию, а тянул на всю передовую протяжное что-то, и все вокруг смолкло постепенно. Рассказ «Сашка Лебедев» почти точно воспроизводит одни сутки, проведенные вместе с одним раненым. А Генка Гушин из «Дикого лука» почти весь придуман.

Прошлой весной я встретился на охоте с человеком, который показал мне ружье, купленное у солдатской вдовы. Она двадцать лет хранила это ружье. Я представил себе эту женщину, эти ее двадцать лет надежд и ожиданий и, наконец, продажу ружья — и получился один из самых печальных рассказов «Тревожный сон».

Но с сюжетом бывают и неожиданности. Например, я хотел написать небольшой этюд для ребят о деревен-

ской завозне, но этюд этот вдруг начал писаться дальше, все, что было написано о завозне, оказалось ненужным. И я эти исписанные листы выбросил. А дальше пошло-поехало, и получился рассказ о стороже завозни. Рассказ этот называется «Далекая и близкая сказка». О завозне в нем осталось лишь упоминание. Повесть «Стародуб» сначала задумывалась вовсе не повестью и не с этим названием. Это должен был быть рассказ о браконьере. И я было его уже написал. Но потом все написанное также выбросил и стал писать дальше, другое и о другом. Мысли о браконьере оказались той пристанью, от которой я лишь отчалил в повесть. Сюжет же, кроме всего прочего, еще должен быть по душе писателю, соответствовать его характеру, творческому направлению и стилю. И не надо думать, что писатель, берущий сюжеты из самой живой жизни, есть доподлинный писатель, а тот, который выдумывает, — так себе, вроде факира.

Александр Грин прожил тяжелую жизнь, богатую столькими сюжетами, что их хватило бы на целую роту писателей. Но все сюжеты своих произведений он выдумывал, и мы, читатели, благодарны ему за эти чудесные романтические выдумки; и, я уверен — еще не одно поколение людей будет со сладким, волнующим замиранием сердца плыть под его «Алыми парусами».

Остаются два вопроса: «Почему в современной советской литературе нет героев, подобных Павке Корчагину?» — его задал читатель газеты Валерий Чердак. И — «Каким Вы представляете нашего современника?» — заданный учащейся культпросветучилища Л. Кисляковой.

Оба вопроса я объединяю, потому что второй вопрос, как мне кажется, логически вытекает из первого.

Сотни раз повторенный читателями нашими и критикой нашей вопрос о Павке Корчагине я считаю несколько устаревшим и демагогичным, ибо предполагаю, что все русские люди знают русскую поговорку: «Каждому овощу — свое время». Задается этот вопрос чаще всего как укор нам, писателям, «не сумевшим», «не увидевшим» и т. д. А критиками, преимущественно демагогами, подхватывается для «обострения» дискуссий.

Я веду прямой разговор, иначе не взялся бы за эту статью! Я считаю, что тоже имею право на вопросы, потому и задаю один вопрос Вам, товарищ Чердак, и всем, кто любит спрашивать про Павку Корчагина:

«Возможен ли нынче герой, подобный Павке Корчагину?»

На мой взгляд, невозможен, и, более того, не нужен.

Героя формируют не писатели, а жизнь, история, и каждый исторический отрезок времени характерен своими героями, то есть, как говорилось выше: «Каждому овощу — свое время». Еще не хватало вопросов о том, почему нет в современной литературе образа, подобного протопопу Аввакуму. Тоже ведь борец, герой, да еще какой герой! Идеальный!

Если бы мне был задан вопрос о том, почему в нашей литературе мало таких героев, как Герман Титов и Алексей Леонов, а в мировой литературе таких, как Сент-Экзюпери и Джим Корбетт, я бы ответил на него без налета раздражения, а с грустным вздохом, сознавая и свою в том виновность, потому как, любя таких героев, считая их той каплей, в которой, как в солнце, отразилось наше сложное и могучее время, я и попытки не делаю подступиться к ним. Но это не значит, что я, да и все наши писатели не думают о них, не восхищаются ими, не мечтают написать о них.

Однако настоящий, большой герой требует настоящего и большого отображения. Он как скала — голыми руками его не возьмешь! Нужны современные «инструменты» — я имею в виду современный уровень мышления, современную художественную форму, короче говоря, современную голову, способную мыслить на уровне, а желательно и выше этих новых героев.

Есть писатели, которые поступают проще, — они не пишут о больших, настоящих людях, а берут себе что попроще и полегче и оттого заселили книжки наших молодых современных писателей вихляющиеся мальчики, говорящие и действующие по образу героев иностранных фильмов, преимущественно дрянных, потому что и за границей есть масса прогрессивных, настоящих людей и не все так называемые положительные герои живут и работают только у нас. Я уже называл как примеры Сент-Экзюпери, Джима Корбетта.

Налицо как будто одно из противоречий литературы, и не только нашей. Писатель, которому ближе идеальный современник по складу своего мышления, жизни, внутренний мир которого, сформированный одним и тем же временем и событиями, должен быть сродственным ему, уклоняется от его изображения. Иные делают это из боязни оскорбить упрощением любимого

героя, а иные отворачиваются от него цинично. При этом я не беру в расчет халтурщиков и людей в литературе случайных, которым все равно, о чем писать, лишь бы печатали. Нет, очень даровитые, остроумные молодые литераторы вместе со старшими товарищами по труду смотрят на настоящих героев с открытыми ртами, но пишут о людях маленьких, простых, а зачастую и простеньких. Попытки взять масштабный характер, показать современного человека во весь рост делаются, и порой не без успеха. Я считаю большой удачей нашей литературы образ профессора Вихрова из «Русского леса» Л. Леонова, героев книг Даниила Гранина, нагибинского Егора Трубникова. Но как еще много в них от героев-рубак, скорее характерных для гражданской войны, первых пятилеток, Отечественной войны, но не для сегодняшнего времени.

Наверное, не так все просто, как кажется иным нашим читателям и критикам, — взял, сходил на завод или лучше на ракетодом, увидел там героя, подобно-го Павке Корчагину, и «изобразил».

Но те способы и художественные средства, та форма, тот образ мыслей и уровень интеллекта, с которым в свое время жил, боролся и побеждал герой, подобный Павке Корчагину, нынче, по-моему, непригодны. Все должно быть сложнее, многообразней и шире. Внутренний мир современного большого героя требует особой «отмычки». Я, например, таковой пока не имею. Писать же, скользя по поверхности, сшибая вершки на ходу, не хочу и не могу — сшибание вершков только оскорбляет наших лучших современников и оставляет искаженную, бедную память о них нашим потомкам.

Чтобы изобразить героя, нужно изобразить его время. А наше время невероятно сложно, противоречиво. Разобраться в нем невероятно трудно. Сердце художника и изнашивается прежде всего потому, что в него, как в огромную мишень, попадают все беды и радости земные, и неумение «разгадать жизнь», изобразить ее мучает его, как птицу, которая не может подняться с земли. Но муки художника совсем не берутся в расчет.

Писателю отводится роль и характер этакой благополучно перезимовавшей птички — знай чирикай себе, желательно в мажорном тоне. Нет, пока есть мир, есть и художник. А пока есть художник, есть и его муки, и не только творческие. В литературе нашей, да и в мировой, есть художники, жизнь которых являет собой

примеры высокого подвига, высокой нравственности и силы. Они делают самоотверженно и честно свою вечную работу, приближая победу добра над злом. При этом сами они страдают во сто крат больше от земного зла, ибо, перефразируя известную поговорку, можно сказать: кому больше дано, тот больше и мучается.

Один восточный мудрец просил в своих молитвах, чтобы аллах не дал ему жить в интересное время! Не знаю, как мудреца, а нас аллах не избавил от этого, он нам «подсунул» время не только интересное, но и трагическое. В мир, а значит, и в любого из нас нацелено самое ужасное смертоносное оружие; рак и другие болезни все еще угрожают человеческой жизни. И в то же время наука делает открытие за открытием, одежда людей, зрелища, способы его труда и передвижения сделались легкодоступными и красивыми. И наконец, произошло самое великое событие тысячелетия — человек вырвался в космос! Дух захватывает, голова кружится от центрируемости нашего времени, калейдоскопичности событий. Соображать нужно быстро, творить на ходу, чтобы угнаться за современностью. Но делать любое дело, особенно писательское, на ходу очень трудно.

Я верю, что рождается и скоро появится художник, который будет так умен и велик, что ему будет по силам творить не только на ходу, но и на лету, и, возможно, гением своим он образумит людей, научит их жить в мире и согласии, поможет излечиться от недугов и недоверия друг к другу. Мы делали и делаем все: раздавили фашизм; преодолеваем недостатки в нашем хозяйстве; ликвидируем бескультурье; боремся за подъем литературы и искусства; открываем новые университеты и прорываемся к новым мирам — все для того, чтобы человек был крылатей, раскованней и свободней в помыслах своих и деяниях.

Помните, что гениальный Пушкин к нам не с неба свалился. Много литераторов, теперь забытых или полубытых, много культурных людей «предпушкинского» времени рыхлили ту почву, на которой рос и зрел его изумительный талант.

Я еще раз повторяю, верю: придет новый человек — титан, творец, мыслитель и художник — на нашу землю и разберется в том, в чем мы разобратся не сумели, чего понять не смогли. Гением своим он восславит нас за добрые дела, осудит за плохие, в том числе и за

то, что мы не родили его раньше. Но, занимаясь черными, повседневными делами — работой, войной, ликвидацией дикости, мы думали о нем, мечтали. И хорошего мы сделали и делаем все-таки больше, чем плохого, и оттого-то глядим в будущее хотя и не без тревоги, но с доброй надеждой. Мы работаем, живем и страдаем во имя этого будущего. Иначе нам и жить, и страдать не стоило бы.

В заключение повторяю молодым читателям еще и еще раз: больше думайте сами, не ждите готовых ответов. Современная жизнь сложна, она каждый день задает человеку новые задачи, и, следовательно, каждый день как мне, так и всем людям приходится и нужно искать на них новые ответы.

НА ВОЛОГОДЧИНЕ

В Вологде я живу уже больше года — срок достаточный, чтобы оглядеться, кое-что увидеть и даже немножко узнать. Мне довелось побывать в Кириллове, в Шексне, проехать по Сухоне и Двине до Великого Устюга и дважды побывать в Никольске и на Никольщине, посетить могилу прекрасного поэта и мужественного человека Александра Яшина, встретиться с интересными людьми и «открыть» для себя хотя бы краешек вологодской земли.

Обычно я ничего и ни о чем не пишу с ходу, мне нужно вжиться в образ, в природу, присмотреться к людям, дать отстояться первому впечатлению, ибо оно часто бывает поверхностно и, значит, приблизительно, а то и вовсе неверно. Но исконно русская вологодская земля, люди ее мне сразу же показались близкими, пришлись по душе, и, странное дело, я даже написал два коротких рассказа на вологодском материале, изменив своему правилу. Один из этих рассказов недавно звучал в сокращенном виде по Всесоюзному радио.

Земля, Родина накладывает отпечаток и на людей, а следовательно, и на писателей, на их дело. Вологодские писатели и поэты — люди в большинстве своем по-хорошему простые, но не простоватые, открытые, и также их работа — книги, стихи очень душевны, многозвучны и по-настоящему народны. Сказав слово «народны», я не имею в виду, чтобы непременно упоминались в произведениях лапти, щи и курные бани. Народность эта прежде всего в интонации произведений —

в интонации, как бы слитой с самим звучанием голоса родной земли, интонации неторопливой, распевной, как бы приглушенной тихой грустью. Это очень отлично, скажем, от броского, несколько даже яростного, громкого слова сибиряков, и от красок их, размашистых и тоже очень ярких. «Тихая моя родина», — говорят о своей земле вологодские писатели, и в этой прекрасной строке много обозначено и сказано, хотя нынче не такая уж она тихая, Вологодчина-то.

О рабочем классе вологжане пишут мало, а точнее, так почти не пишут, и это тоже объяснимо. Большинство писателей-вологжан — выходцы из деревень, и пишут они о том, что знают хорошо, что вошло в плоть и кровь, писать же наскаками, пользуясь творческими командировками и мимоходными впечатлениями, — дело ненужное и неблагоприятное. Еще ни одна книга, написанная литературными гастролерами, не сделалась громко говоря, достойным читателя. Думаю, что пишущий о рабочем классе должен выйти из самого этого класса, быть им воспитанным, и вот среди начинающих и молодых писателей уже есть попытки приблизиться к этой теме, робкие, правда, попытки, неуклюжие, но все же есть.

Правда, есть в работе молодых и начинающих одна огорчительная особенность. Я бывал на многих семинарах молодых, в том числе и на недавнем Вологодском, где разбирались интересные, перспективные авторы — это Шириков из Вологды, Шарыпов из Череповца, Степанов из Вологды и другие. И вот странное совпадение, почти никто из них не работает над произведениями крупных форм — романами, повестями. Правда, все мы, да и до нас тоже, имеющие опыт писатели, обычно подталкиваем молодых к тому, чтобы они начинали с малых форм, набили бы руку, подучились и тогда уж брались за более капитальное дело. Это не беда. Но беда состоит в том, что и в малых формах молодые писатели зачастую неоригинальны, вторичны, а то и десятиричны, и пишут о том, о чем уже написано много, и хорошо написано. Создается впечатление, что им не о чем писать, и невольно вспоминается чеховский персонаж, провинциальный газетчик, который сетовал на отсутствие материала, «Вот если б турки штурмом Калугу взяли, тогда б было о чем писать...» — говорил он.

Между тем у наших молодых писателей жизнь, как

правило, интересная была, насыщенная, только самим им она почему-то кажется не заслуживающей внимания. И опять же для пишущего нет, как говорится, предела, писать можно и нужно обо всем, только интересно и по-своему.

Когда-то молодой Бунин пожаловался Льву Толстому на то, что ему не о чем писать, и Толстой на это сказал, что вот, мол, и пишите о том, что не о чем писать, да и объясните, почему не о чем писать.

Больше внимания к окружающим людям, к повседневной жизни, любопытства больше, и молодые увидят, как нескончаемо волнуется вокруг них море жизни, и на этом море не всегда штиль, бывают и волнения, разбиваются корабли — одни только вопросы нравственного воспитания молодежи и самопознания, или, как Достоевский говорил: «себязнания», могут составить большую работу, которой хватит на целую жизнь. — не одного писателя, а целого поколения писателей, как это было в шестидесятых годах прошлого столетия.

Сам я последние годы работал над повестью «Пастух и пастушка» — это повесть о войне, о любви, о тоске и мечте человека по естественной жизни, без смертей и кровопролитий. Наряду с этим работал над короткими рассказами и составил из них книжку под коротким названием «Затеси», которую в семьдесят первом году собирается печатать издательство «Советский писатель», а издательство «Молодая гвардия» намеревается издать однотомник повестей, куда должна войти и «Пастушка».

Начал работать, а точнее, приступил к книге о войне, к которой шел давно и готовился долго, потому что сам я участник войны, солдат, и не мог выполнять эту работу скоропалительно, неумело. Тема войны для меня — святая тема, и хочется, чтобы писалась трепетно, с болью и святым уважением к тем людям, с которыми я воевал и которых приходилось мне хоронить вдоль долгих дорог войны.

Издан ряд моих книг за рубежом. Только что я подписал договор с венгерским издательством «Эуропа» на издание повестей и рассказов на венгерском языке. Выходит в Болгарии повесть «Кража». До этого она вышла в Чехословакии и в ГДР. В Чехословакии, Польше, Венгрии и других странах печатались некоторые мои рассказы. В издательстве «Прогресс» выходит сборник рассказов на английском языке.

Вот и все, что я могу сказать о себе. Надвигается

лето, время поездок, время встреч с людьми. Думаю побывать на Никольщине, в Салехарде, подумать, посмотреть — это нужно для будущей книги, работа над которой займет немало лет.

ПЕРЕСЕКАЯ РУБЕЖ

Интервью журналу «Вопросы литературы» (беседу вел критик Ал. Михайлов)

— Виктор Петрович! Недавно вы, как и многие уже писатели фронтового поколения, отметили свой полувек юбилей. На ваши плечи лег груз пятидесятилетия — рубеж, важный в жизни каждого человека. Изменилось ли что-нибудь в вашем творческом самочувствии в связи с этим?

— Радостного мало. Годы, потраченное на войне здоровье, все раны, все царапины, телесные и душевные, делаются слышнее, дают о себе знать, да и жизнь очень уж стремительная, оглядеться-то некогда было, самое время наступило сосредоточиться, подумать. Один из друзей, поздравивших меня с пятидесятилетием и уже сам перешагнувший этот рубеж, сказал, что к новому положению можно привыкнуть, жить можно и после пятидесяти... Какого-то особого водораздела я и не чувствую, не ощущаю — пока по крайней мере. Живу как жил, только чаще стало тянуть побыть одному, да еще острее и как-то тревожно жду весну.

— Но если сравнить с началом, со временем вхождения в литературу, нравственное и творческое самочувствие, по-видимому, было несколько иным?

— Мне ведь было двадцать восемь лет, когда я начал писать. Из этих лет старость и смерть кажутся такими далекими. Употребив слово «смерть», я ни себя и никого другого не хочу потрясти. Фронтовики-окопники часто падают за полувекowym рубежом, и, если мне вынадег пожить подольше этого срока — нисколь не против. А придет она, ну что ж — фронт приучил спокойно к ней относиться, ведь, «коль придется в землю лечь, так это только раз...». А так жизнь идет, не стоит. Какне-то нравственные и духовные изменения происходили, происходят и будут происходить, многие из которых мне объяснить разом трудно, вот и обдумываешь, мучаешься, чтобы прежде всего самого себя познать — в этом и есть писательская жизнь и опыт в работе.

— Нет ли ощущения перегруженности опытом? Что я имею в виду? Фолкнер, размышляя о текучести времени, заметил, что человек — сумма своего прошлого. У вас сумма весьма внушительная. Она включает горький опыт деревенского сироты, детдомовца и фэзэушника, солдата и рабочего, газетчика и писателя. Одна война с ее смертями и кровью может заполнить сознание на всю жизнь да так и не дать выговориться до конца... Не появилось ли желание в связи с пятидесятилетием подвести некоторые предварительные итоги?

— Подведение итогов у меня было несколько раньше. Жизнь писателя, так же, видимо, как и жизнь человека другой профессии, состоит из нескольких этапов, и всякий раз берешь какой-то новый рубеж, преодолеваешь перевал. Устаешь, конечно, но начинаешь работать, набираешься мужества снова начать, и откуда-то берутся силы. Что же касается жизненного материала, то, наверное, никому и никогда не удавалось его «реализовать» полностью — жизнь-то идет, пополняется этот самый багаж, обновляет ощущения, чувства. В юности они одни, в молодости другие, а к старости добираться несколько, быть может, опорожнившем заплечный багаж, но зато с более глубокими, часто, может быть, и более серьезными чувствами в душе.

Что же касается писательства, то тут и просто, и сложно. Начинал-то я примитивно. Первый этап моей писательской биографии не выходил за рамки ученичества. Владимир Тендряков или Юрий Казаков сразу начинали блистательно. Но у каждого своя планида не только в жизни. Я думаю, что такое мое начало объясняется недостатком внутренней культуры...

— А может быть, все-таки прежде всего недостатком профессиональной подготовки? Ведь внутренняя культура — понятие более сложное и тонкое, включающее в себя и талант. А вот профессиональные навыки... Вы назвали имена Тендрякова и Казакова, писателей, которые уже первыми произведениями заставили о себе заговорить серьезно. Но оба они получили профессиональную подготовку в Литературном институте имени А. М. Горького. Разве это не имеет значения?

— Еще какое! Недостаток образования и внутренней культуры ведет к чувству неполноценности, а значит, и самоуничтожения. Сколько сил потерял я на преодоление самого себя, но так и не изжил до конца этого: «С суконым рылом в калашный ряд!» Я знаю людей, и се-

бя включаю в их число, которые стесняются называть себя писателями. Впрочем, у нас так много желающих называть себя таковыми, что эти застенчивые люди, хотя они все и писатели заметные, как-то затушевываются массой.

Хотелось всю жизнь, жадно хотелось учиться, много читать и знать. Когда мне первый раз в жизни довелось переступить порог университета, а ходил я тогда уже в писателях, сердце мое сжалось от боли и неистребимой тоски по утраченным возможностям быть студентом. Я с завистью смотрел на молодых парней и девушек, которые так вот запросто ходили по коридорам, хохотали, покуривали на лестнице — словом, вели себя буднично. Для меня университет был и остался храмом, где и кашлянуть-то боязно, где все овеяно благоговением, и тайны там скрываются... Не смейтесь, не смейтесь!

Представьте себе человека, который закончил ФЗУ, да еще в военные годы, работал на железной дороге составителем поездов — опасная, тяжелая работа, — потом воевал, был тяжело ранен. Судьба распорядилась жестоко — потерял и эту профессию, попал в город Чусовой, на Урал. Работы случайные, грязные, никакой уверенности в завтрашнем дне и в устойчивом куске хлеба. Хотелось писать, с детства хотелось, а попробовал уже накануне тридцати. Взрослый человек! Все видит, все понимает, и в первую голову то, что написанное им — еще не литература. Неуверенность в себе преследует его, как парнишку. Ведь это то же самое, что учиться ходить. А если б не война, «ходить» начал бы рано — тянуло к сочинительству с детства.

— Многие писатели приходят в литературу из газеты. В вашем опыте тоже есть журналистская работа. Имела ли она значение для творческого самоопределения Виктора Астафьева?

— Конечно, журналистский опыт дает многое. Я в газете начал одновременно с литературными пробами. Написал свой первый рассказ «Гражданский человек». Потом я его переписал, и в книгу он вошел под названием «Сибиряк». А сначала рассказ печатался в городской двухполосной газете. Однако с рассказом этим получился казус. Печатался он в газете «Чусовской рабочий», с продолжением. Но после одного отрывка печатание вдруг прекратили. Кого-то оскорбила фраза, которую произносит один из персонажей: «Мало нашего

брата осталось в колхозе, вот и стали мы все для баб хороши». Мне приписали оскорбление советской женщины, которую называли так некультурно — бабой. Советский солдат, мол, не может так грубо говорить. Однако читатели присылали много писем, звонили в редакцию, требовали продолжения рассказа, и его все-таки напечатали до конца, а меня вдруг позвали работать в газету. Так с первым рассказом я приобрел скандальную славу в своем городе — буря в стакане воды! Но это был первый и последний скандал, который сопровождал моей литературной работе.

— Судя по всему, скандал вас не напугал?

— Нет. Но многие провинциальные влияния меня не миновали. Редакторы утюжили мои, всюду выпирающие, мослы, стесывали, подравнивали. Так, одна благожелательная и неглупая вроде бы редакторша подсобила мне оживить героя одного рассказа — она терпеть не могла каких-либо смертей и особенно когда произведение заканчивалось трагически. Многих «умельцев» того времени смущал корявый язык моих произведений, меня все натаскивали, натаскивали, толкуя, что язык героя и автора не должен смешиваться, что его надо индивидуализировать, давать «штрихи» портретные, выделять из массы каждого героя если не характером, то хотя бы конкретными, ему лишь присущими чертами...

До того мне забили голову этими прописными истинами, которые годны скорее при пилении дров, что начал я писать черт-те что, гвоздил бойко какие-то конфликтные рассказы на языке районной газеты, которым овладел довольно быстро, и, если бы между всей лапшой не написал рассказ «Солдат и мать», не знаю, что было бы. Мне казалось — это единственная у меня вещь, которая чего-то стоит, и я послал рассказ в «Новый мир» на имя Сергея Петровича Антонова, который в то время вместе с Юрием Нагибиным были главными авторитетами среди новеллистов, и не только для меня. Не помню, что я писал Сергею Петровичу, но про себя решил: если и эта вещь неудачна, то, стало быть, надо кончать «пробовать». Сплю по три-четыре часа в сутки, костями уже гремлю, голова контуженая разламывается, значит, надо целиком переключаться на текущее дело, жить газетою и в газете — лучше быть путным, и пусть и районным, журналистом, чем жалким обивателем литературных порогов. Человек я в крайних реше-

ниях твердый и потому стремлюсь такие решения принимать как можно реже.

Сергей Петрович очень быстро откликнулся — я получил письмо на бланке журнала «Новый мир»! Оно у меня хранится до сих пор. Сергей Петрович, может, по доброте душевной, может, из сочувствия или удивления, что в каком-то неведомом уральском городишке живет и тоже чего-то пробует нацарапать на бумаге какой-то мужик или парень, назвал меня сложившимся рассказчиком, сообщил, что подправит мой рассказ и предложит журналу. Скоро, однако, правленный рассказ вернули ко мне с деликатными сожалениями и пожеланиями предложить его другому журналу, и непременно «солидному». Я в эту пору уже взалхлеб работал, ободренный поддержкой известного прозаика, дал «вылежаться» рассказу и лишь в следующем году, поработав еще, послал его в «Знамя» на имя Юрия Нагибина, рассказ которого «Деляги» я прочел в госпитале и был потрясен тем, что рассказ этот «про меня» и «про всех нас», бывших вояк, вдруг оказавшихся после войны на ростаях многих дорог, подрастерявших на пути к самостоятельной жизни. С тех пор я читал у Нагибина все, что он печатал, и по сию пору стараюсь это делать, и, слава богу, ни моя привязанность к его произведениям, ни моя симпатия к писателю не исчезли, а даже еще больше укрепились с годами. Меня тоже иногда называют учеником и преемником какого-нибудь классика, чаще всего упоминают Горького. Нет, сам я никогда не осмеливался и не осмелюсь потревожить прах великих писателей, а учился и учусь я потихоньку у живого писателя, которого не так боязно, у Юрия Марковича Нагибина, и давно хотел в этом признаться публично, даже статью начинал писать, но сразу же захлебнулся неуклюжими восторгами и статью не написал...

Юрий Маркович похвалил мой рассказ, предложил его в «Знамя», и там его через год, после суровой и ошеломительной редакции, напечатали. Это была моя первая публикация в «толстом» столичном журнале. Юрию Марковичу я имел лично возможность сказать спасибо, а Сергея Петровича я знаю мало, отдаленно, и хотел бы ему, пусть припоздало, поклониться за поддержку и сказать, что долг свой я оплачиваю ежедневно — на прочтение рукописей молодых авторов, особенно из глухих провинциальных мест, на ответы и поддержку их трачу большую часть своего времени...

— Критика, в том числе и покойный Александр Николаевич Макаров, отмечала, что у вас не было прямого ученичества, чьей-то школы, как бывает у многих молодых писателей в начале творческого пути. Чем вы объясняете это? Так складывается характер? Творческая индивидуальность?

— Я же открыл «секрет», назвав Нагибина! А школа? Наша блистательная русская литература — такая школа, что счастье быть в ней достойным учеником. Учеником! Но не подражателем. Духовному величию, гражданской порядочности и стойкости учат в этой «школе», но никак не эпигонству и не лизоблюдству.

— Однако вернемся все же, Виктор Петрович, к насущному вопросу наших дней — к разговору о профессиональной подготовке писателя.

— Мой пример — лишнее подтверждение тому, что образование, систематическая учеба, профессиональная подготовка необходимы писателю как воздух. То, что дают ему школа, вуз, профессиональная среда в сравнительно короткое время, самостоятельно приобретает за многие и многие годы. Моими единственными университетами, помимо, конечно, жизни, были Высшие литературные курсы. На курсах за два года я постиг то, на что в Чусовом мне понадобились бы десятки лет. Я был как вспаханное поле: бросай зерна, и они прорастут. А где? Кто бросит? И главное, что бросит? Учиться было совершенно необходимо, это была уже внутренняя потребность, пусть несколько запоздавшая. Но это уже не моя вина, а беда. Я уже говорил, как сложилась жизнь. Война внесла поправки в миллионы человеческих судеб, а обещания, или, точнее, наши ожидания, что нам после войны помогут устроиться и доучиться, не оправдались. Мы рубились в послевоенной жизни, как бойцы на фронте, только, увы, уже в одиночку. И много фронтовиков пало в той непредвиденной и изнурительной сече.

— Как вы относитесь к своим ранним вещам?

— Как? С почтением. Это ж мой труд, пусть и неумелый. Я как-то в молодости делал табуретку и вбил в нее фунта три гвоздей. После появилась у меня и магазинная мебель, однако самодельную табуретку я не выбрасывал, хотя смотрел на нее с улыбкой. Вообще-то у прозаиков, близких мне по судьбе, у таких, как Евгений Носов, например, написано немного. Все написанное Носовым можно уместить в однотомник, но уж зато

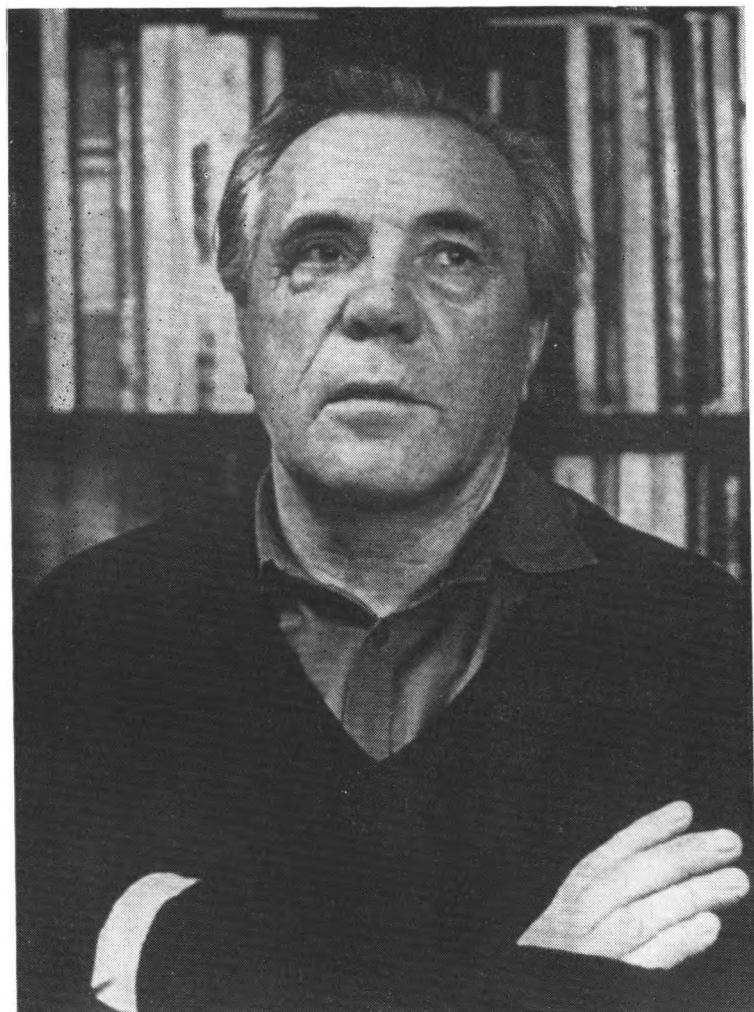
продукция «фирменная» — ни с кем не спутаешь! У меня характер побойчее, и написано побольше, и «продукция» более пестрая. Когда в областной библиотеке, вологодской, к пятидесятилетию устроили выставку моих книг и литературы обо мне, то я искренне удивился: не многовато ли? Какую-то часть написанного мною не стоило бы выставлять напоказ. Но что написано пером, как известно, не вырубишь и топором! В литературном творчестве есть детство, зрелость и старость. В детстве издержки неизбежны. Да и в зрелости никто от них не застрахован. Я лично не верю тем литераторам, которые высокомерно заявляют, что они ни запятой не изменят в написанном ими и редактировать у них нечего. Стоящий литератор всегда найдет что переделать, ибо нет предела совершенству. Другое дело, что надо ему когда-то и остановиться, чтобы не «зализать» и не замучить произведение. В нем должно быть вольное, непринужденное дыхание, которое, кстати, дается только огромным, напряженным трудом.

— Считаете ли вы, что в каждом прозаике, писателе, поэте, драматурге должен присутствовать еще и критик или, может быть, редактор?

— Мне кажется, воспитание вкуса для писателя — процесс непрекращающийся. А воспитание вкуса — это и есть воспитание в себе критика, редактора. Безупречного вкуса не бывает. Признать чей-то вкус безупречным — значит поставить предел его совершенствованию. А предела, как я сказал выше, нет, ибо каждый писатель — индивидуальность, и, если у нас много развелось «лиц общего выраженья» — это еще ничего не значит. Диалектика развития не позволяет нам абсолютизировать чей-то вкус. Главное — оставаться честным перед собой, в работе над произведением исчерпать свои возможности, достигнуть потолка, которого ты в данный момент можешь достигнуть. А потом поживешь, накопишь знаний, мыслей, материала — глядишь, потолок то и приподнялся.

— В ваших книгах находит отражение и жизнь деревни, и жизнь человека в городе, на производстве, и, наконец, война. Какой из этих массивов жизни имел наибольшее влияние на определенных этапах творчества?

— Один мой знакомый твердит: жизнь человека делится на два периода — до получения квартиры и после получения таковой. Как видите, взгляд весьма праг-



Накануне шестидесятилетия в красноярской квартире. 1983 г.



*Редчайшая
фотография —
сохранила учительница
литературы Л. Якутович
(она в центре).
С книжкой —
В. Астафьев.
Литературный
кружок игарской
школы № 12.*



*Бабушка.
Примерно 1952 г.*



Детдом в Игарке. 1941 г.



*1956 г. Чусовой Пермской области.
Жена — Мария Семеновна. Дети — Ирина и Андрей.*



*Осень 1943 года, после ранения,
пригород Киева, с фронтовым другом
Петром Николаенко (ныне живет
на Алтае).*



1944—1945 гг.



В туруханском аэропорту во время работы над «Царь-рыбой», 1971 г.



Дом в деревушке Сибла, на Вологодчине, где было пустынно, тихо и хорошо работалось, — здесь закончена «Царь-рыба», напечатана вторая книга «Последнего поклона» и много чего понаделано...



В центре — брат Николай (герой главы «Бойся» — «Царь-рыби»).



*П. Нилин, С. Залыгин, Ал. Михайлов, А. Соболев,
В. Дементьев и другие.*



На реке Аныл, юг Красноярского края.



*На Белом озере, на родине Сергея Орлова—с л е в а А. Алексин,
с п р а в а Ю. Бондарев.*



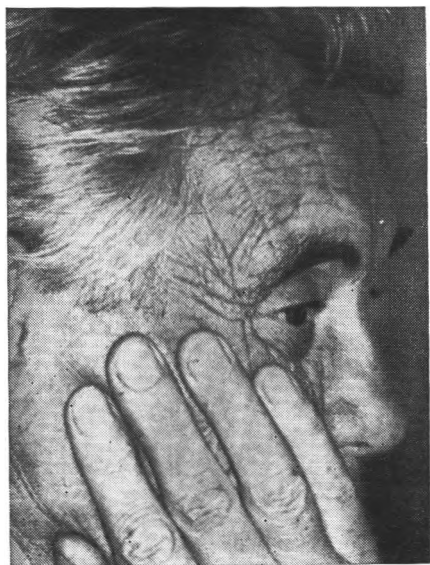
В родном ФЗО (ПТУ № 19), которому исполнилось 60 лет, вручают фуражку, недополученную во время войны...

Творческий вечер в Останкине.





*С воспитанниками подшефного детдома (школа-интернат № 3)
г. Красноярск, 1983 г.*





Родная Сибирь.



Тайга, Енисей.



В Финляндии с Василием Беловым.



Саженец кедра, найденный возле Овсянки.



С внуками Женей и Витей.



На Международной ярмарке, в павильоне «Молодой гвардии».



На праздновании 50-летия г. Игарки.



На Кубском озере, под Вологдой с писателем Анатолием Петуховым. Весна 1977 г.



Деревня Овсянка зимой.



В Североморске, на рейде во время выездного секретариата в 1981 г. Возглавлял его Сергей Залыгин.



*На Шукшинских чтениях в селе Сrostки. Справа от
В. Астафьева — Василий Белов.*



На Вологодчине в семидесятые годы.



Нынешний дом в Овсянке.

матичный. Жизнь моего поколения разделяется так: до войны и после войны. И наш коллективный долг — показать оба эти массива жизни. Показать, что было до войны, необходимо для того, чтобы читатель понял и почувствовал, какое это великое бедствие — война. Это Уральский хребет нашей жизни.

— Уральский хребет в смысле трудности его преодоления?

— Да, разумеется. А вообще-то мне хочется высказать свою точку зрения на деление литературы на «рабочую» и «деревенскую». По-моему, есть это не что иное, как примитивность мысли нашей, современной, критической. Ну куда, скажите на милость, деваться Толстому, Бунину, Чехову, Достоевскому, даже и Горькому? Они ж просто «нетипичными» писателями получают! Призывали и призывают учиться у классиков, а чему у них научишься, когда они не подходят ни под «рабочий класс», ни под «деревенщиков»? Подобное толкование литературы, низведение ее до «цехового» деления выгодно посредственностям, которые создают произведения по схемам и выверенным рецептам, не понимая, что сознанием писателя движет часто интуиция и он сам себе не может объяснить, как и отчего получилась у него та или иная ситуация в книге, тот или иной герой. Посредственности же все умеют объяснить и делают это охотно и часто. Не верите мне? Загляните в подшивки газет. Кстати, зачинателем дискуссии «О рабочем классе» в «Литературной газете» явился неудавшийся писатель, который пробовал себя в беллетристике, но не преуспел там. И вот ищет «ниву», чтобы посеять «свое семя», а семя-то пустое, бесплодное, и вся эта говорильня выеденного яйца не стоит. И вообще дискуссии наши часто напоминают мне бабушкину поговорку: «Расходилось сине море в рукомойнике».

Что касается деревенского опыта, моего личного, то он, пожалуй, наиболее эмоционально, наиболее лично воплотился в повести «Последний поклон». Это и понятно: детские впечатления, первое, самое непосредственное восприятие окружающего мира остается на всю жизнь. Оно связано с природой, с пониманием красоты ее, с нынешними проблемами защиты естественной красоты природы, ее богатств от варварских посягательств и расточительного, неэкономного использования их. Но «Последний поклон» — вещь ни деревенская, ни городская, она всякая, как, впрочем, и «Перевал». Там у ме-

ня сплошь рабочий класс, и я потихоньку горжусь тем, что это никем нарочно не отмечается и не замечается — первый признак того, что в повести нет спекуляции на «актуальной» теме, напоминающей плохо забитый гвоздь, о который, хочешь не хочешь, если не умом, так хоть штанами зацепишься.

— Хотелось бы подробней поговорить о тревожащем всех нас — природе, я знаю, как вы относитесь к этому...

— И тем не менее наступаете на «больную мозоль»! Говорили бы «за литературу», ведь знаете, как трудно и больно говорить о природе. Подробно и, надеюсь, убедительней я поразмышляю о ней в новой повести «Царь-рыба». А потом скажу: моя последняя, нынешнего года поездка в родные сибирские места угнетающе подействовала на меня. По обоим берегам Енисея горелые леса на сотни верст, даже напротив города Дивногорска в скалах и на скалах рыжо. «Глянешь ночью, будто раскаленная магма катится по ущельям — ужас!» — рассказывал мне местный поэт Владилен Белкин. Это следы так называемого «воскресного отдыха» и туристической стихии.

Работают патрули, пионерские, комсомольские, поднимаются на ноги пожарники, егеря, силы общественности — ничего не помогает, полыхают леса. По берегу Енисея больше стекла, банок, склянок и металлических пробок, чем камней; воду мутную, взъерошенную беспрерывно колотит волной от моторов. Я для интереса пересчитал на реке, только в створе родной деревни, количество одновременно идущего транспорта и насчитал девятнадцать! Большею частью это были моторные лодки с пьяными пассажирами, остальное покрупнее: «Ракеты», самоходки, катера. С пятницы до вечерней воскресной зари по берегам не только сибирских рек, по горам, по долам, по всем оробелым лесам и тайге царит разгул. Люди с так называемого отдыха возвращаются невыспавшиеся, разбитые, с дурными от похмелья и перегрева головами, часто с «фонарями» на лице. Немало в эти дни тонет народу на воде, срывается со скал, увечится в драках и походах.

Надо что-то делать! Срочно! Спасительная теория, в том числе и моя, что «перебесятся» люди, за голову схватятся да и начнут налаживать природу, значит, и самих себя, уже не успокаивает. Боюсь, что прав Юрий Бондарев, который в интервью польскому журналу «Ке-

рункі» сказал: «Потом» не бывает. В настоящем рождается будущее». Пора, на мой взгляд, вводить в школах уроки помощи и восстановления природы. Все-все граждане нашей страны должны хоть один день в месяц отдать природе. Только большими силами, большими средствами мы можем что-то сделать. Пластыри и заплаты уже не закрывают ран на теле и лице природы.

Тяжело раненная природа начинает обороняться: энцефалитным клещом, эпидемиями гриппа, болезнями желудка, печени, почек — от грязной, воды, эпистархозом — у рыб и даже у боровой дичи; некоторые виды кустарников, ягодников и деревьев отказываются рождать. Так, черемуха на Урале, за которую здесь стали ходить только с топорами и пилами-ножовками, рождает ягоды в пять-шесть лет раз — старые-то черемухи выпиливаются. То же самое происходит с кедрочками, которые беспощадно уничтожаются бензопилами, топорами, ранятся колотами, смахиваются беспечным и преступным огнем.

Пора платить долг природе, и по крупному счету. Законодательства по этому поводу тоже требуют усовершенствования.

— Есть ведь законы, карающие за варварское отношение к природе.

— Значит, надо их почаще и потолковей применять на практике. На Урале был такой случай: спалил один ротозей гриву леса на косогоре. Его поймали и судили. По закону полагалось дать ему штраф. Судья поступил иначе. Он вынес определение, или как это называется на юридическом языке, чтобы подсудимый засадил выжженный косогор. Три года таскал злоумышленник в мешках саженьцы и следил за ними до тех пор, пока на косогоре не появилась молодая рошица. Он сам говорил потом, любуясь рукотворным лесом: «Вот если бы всех паразитов эдак — тогда и леса были бы у нас целы, воды и воздух чисты...»

— А как же быть с крестьянским отношением к природе? Оно ж потребительское!

— Да, крестьянское отношение к природе потребительское. В детстве наше общение с природой начиналось не с идиллий, не с любования красотой, а с еды. Многие цветы мы ели: медуницу, первоцвет-баранчик, кандык, купыри-пучки, клевер, а самыми первыми на весенних проталинах выкапывали деревянными лопат-

ками луковки саранок и всходы пестиков — полевых хвощей; потом появлялись листики щавеля, петушки, кисленькая хвоя лиственниц. Сосновый сок, например, сочили и с хлебом потребляли — сахару ведь не было почти во время моего детства. Случалось, самовары ставили на березовом соку. Натирали обутки синими цветками, чтобы они блестели, как от крема. Оказалось, это цветки дикого ириса. Уже в раннем детстве мы в лесу не пропали бы с голоду. Это сейчас я люблю красоту природы, а тогда думал о том, как бы пропитать себя.

Но такое отношение не мешало навечно сделаться трепетно влюбленным в свою землю человеком. И потом, крестьяне никогда не рубили сук, на котором сидели. Я и посейчас помню, как сломал вершину черемухи и как меня этой же вершинкой пороли.

— То есть опытом, эмпирическим путем?

— В основном. Крестьянским детям чужда какая бы то ни была созерцательность в отношении к природе. В активном общении с нею вырабатывается характер, умение противостоять природе, ее стихийным силам, извлекать из нее пользу и беречь ее, уважать, прежде всего как кормилицу-мать. Чем суровее природа и общение с ней, тем больше стойкости, твердости в характере человека вырабатывается. Не поэтому ли сибиряки, например, оказались столь хорошо физически подготовленными к войне. Ведь война — это не только стрельба и танковые атаки, это и огромное физическое напряжение, простуды, болезни, недоедания, цинга и прочее, и прочее. Так вот я замечал, что те люди, которые в довоенной жизни тесно общались с природой, и на войне умудрялись извлечь из этого пользу: умели лучше приспособляться к местности, сориентироваться в лесу, найти и сварить еду, наладить жилье, ночлег, развести костер, окоп выкопать. После войны, когда мы вернулись домой, не тянуло нас к природе, наоборот, после окопной грязи, неуют, холода и голода тянуло к дому, к теплу, к печке. Многие молодые сразу же женились. А с пятидесятых годов начались вылазки на природу, всевозможные пикники. Бывало так, что всем цехом или даже заводом выезжали. Затем появился современный турист. К сожалению, туристические наезды в леса иногда носят характер разбоя. До последнего времени я был идеалистом — верил, с этим удастся покончить. Знаю молодых людей, которые не только жгут и разоряют, но и сажают деревья. Знаю студентов, кото-

рые в летнее время, сидя на воде и хлебе, с огромным энтузиазмом занимались реставрационными работами в Кирилловском монастыре. Неразумные люди, думалось мне, еще наделают немало бед, еще погробят природу, но в конце концов поумнеют. Практически и нравственно поумнеют. Раньше многие грабили природу, добывая себе пищу, и то с умом грабили. Теперь многие праздно грабят, с жиру бесятся. Идеализму моему и уверенности приходит, кажется, конец, и моему ли только?!

— Активное общение с природой является одной из сторон борьбы за существование, но оно не исключает и эстетического отношения к ней, любования ее красотами, которое приходит позднее. Тогда уже для взрослого, умудренного жизнью человека звучит в лесу «зорькина песня», хотя услышана она была ранним утром на Енисее, когда этот человек был еще совсем маленьким и ходил с бабушкой Катериной Петровной по землянику... Я имею в виду двойной взгляд на природу, взгляд зрелого уже человека, воспроизводящий детское восприятие. В нем соединяются зрелое понимание красоты и восхищение ею с непосредственностью восприятия, которая присуща детям. Видимо, нужно объединить эти две стороны отношения к природе?

— В зрелом возрасте довольно отчетливо вспоминаются отдельные состояния природы, на которые как будто не обращал внимания прежде, но которые тем не менее отложились где-то в подсознании. Когда пишу, я предпочитаю иметь перед собой зрительный образ человека, лес, озеро, поле, мне надо их видеть, ясно представлять. Настраиваешься на то состояние природы, которое вызвал в своей памяти. Меня с детства окружала прекрасная сибирская природа. Я знаю, какого цвета таймень, какими бывают сумерки в то или иное время года — голубыми или синими. Я рос впечатлительным мальчишкой. Может быть, не случись беды, не осиротей, и не был бы таким восприимчивым ко всему. И особенно приглядывался к людям — их отношение ко мне, сироте, открывало их душу, выявляло характер.

— Какою же она открывалась?

— Деревня наша внешне грубовата, тут сверху беглым взглядом ничего хорошего не увидишь. Ее надо увидеть изнутри, добраться до чистых, грунтовых вод.

— «Последний поклон» — свидетельство того?

— Мне, родившемуся и выросшему в деревне, сделать это было не то чтобы трудно, но радостно, что ли.

Уж больно добрый и светлый мир, то есть материал, накопился в душе и в памяти, просился наружу. Все-таки многое, вспоминаю я сейчас, предрасполагало к выдумке, иначе говоря, к творчеству. Книг и газет не было, кино немое только начали привозить, и мы крутили «динамку» за то, чтобы нам его разрешили посмотреть. Процветало словотворчество, байки, сказки — словом, выдумка. Залезешь на печку или на полати и слушаешь, как внизу рассказывают охотничьи истории, где правды долька, а выдумки — короб. И ты тоже представляешь себя с ружьем против медведя, бесстрашным и сильным, так и заснешь, бывало, с чувством только что совершенного храброго действия. Может быть, это и есть начало творчества — зачаточное, стихийное?.. Во всяком случае, эти деревенские мужицкие байки способствовали развитию воображения, фантазии. Недаром потом в детском доме и в школе меня «заприметили», заставляли сочинять стишки к случаю, нарисовать картинку в стенгазету — словом, «творческие» поручения давали. Увы, сейчас всякую беду и даже песни, в том числе и застольные, напрочь отменил и заменил телевизор. И в нашей деревне тоже.

— Может быть, в связи с этим вы коснулись бы проблемы факта и вымысла, их соотношения в творчестве художника? Сейчас об этом много спорят — и у нас и на Западе высказываются разные точки зрения, иногда исключают друг друга. Возрос и читательский интерес к документальной литературе. Не потеряло ли престиж такое неперемное свойство таланта, как воображение художника, его фантазия?

— Самый фантастический и в то же время самый реалистический писатель XIX века — Гоголь. В нем совместились великий реалист и великий выдумщик. Реализм его основан на прекрасном знании жизни, на знании множества явлений и фактов. Взять хотя бы «Старосветских помещиков». На первый, беглый, взгляд персонажи этого произведения только едят и пьют и ничего там особенного не происходит. А ведь это повесть о любви! Там есть такая, еще потрясшая меня в школе, деталь: девку послали за арбузом, она выбежала и голой пяткой почувствовала за день нагретые плахи крыльца. Таких точных реалистических деталей у Гоголя тьма. И он же написал про невероятный нос, про панночку, которая заморочила голову славному философу Хоме, про чертей, про кума, про великого Тара-

са и про сумасшедшего Поприщина, и про то, что редкая птица долетит до середины Днепра, а ведь Днепр и воробей может перелететь! В Гоголе совмещена мощная фантазия, находящая выражение в крайней гиперболизации и в других приемах условности, и совершенно строгий реализм. По «Старосветским помещикам» представляешь себе картину жизни тогдашней России. Кстати, все, написанное Гоголем, уместилось в шесть томов, но место, занятое им в мировой литературе и культуре, громадно. «Плотно» писал Гоголь, емко, остро мыслил. Наша литература слишком многословна и затоваривается документальными произведениями, не имеющими отношения к литературе художественной. Документальным считается то произведение, где точно указаны тонны, имена, факты, даты, наконец, кто с кем поделил краюху хлеба. Я никак не хочу скомпрометировать все произведения такого характера. Наоборот, все это достойно описания, но такого описания, где документальность, точность сочетались бы с художественностью. А художественность предполагает вымысел, типизацию, отбор. Мы затоварились газетной документальностью, выдающей себя за литературу, затоварились до того, что некоторые критики и теоретики поставили под сомнение природное право писателя на вымысел, то есть на мысль, — это утверждает себя бескрылость.

— Вы считаете, что документальная литература делится на два сорта: литература, строго подчиненная факту, документу и не претендующая на художественность, и литература, соединяющая факт и вымысел, документальность, одухотворенная художественностью?

— Есть ведь еще и псевдохудожественная литература. Читаешь иную книгу, автор в ней описывает все в подробностях, вроде бы все похоже, а чувствуешь — выдумывает, умствует, — уж лучше взяться тогда за другое чтение, не оштукатуренное под дурную беллетристику. Повествование, основанное на документах, воспоминаниях, и сама жизнь незаурядного человека куда как интересней. Так, например, строго документальная, сдержанно-научная, без каких-либо «личных» эмоций, но согретая любовью автора, его честностью перед историей и благоговением, которое, впрочем, нигде не переходит в фамильярность и плебейское приседание, книга Яна Парандовского «Петрарка», недавно опубликованная в «Иностранной литературе», воспринимается взволнованней, чем множество наших книг о личностях

«сверхгероических», особенно о несчастных инвалидах, кои не сдаются недугу и пытаются, лежа в постели, работать, быть полезными обществу. Зачастую в «спектакль» по сценарию газетчиков и всевозможных бодрячков-«шефов» втягивается обиженный судьбою человек, начинает он играть кого-то «примерного» и «героически» прятать не только физическую боль, но и трагедию свою, что приводит к «показухе», особенно угнетающей, когда действия разворачиваются у постели человека, обреченного на неподвижность и преждевременную смерть. Люди эти перед собой бывают гораздо мужественней, лучше и, главное, искренними, а значит, и уважающими себя. Я знаю человека-поэта, который более сорока лет лежит в постели и стойко борется с недугом. Отметая все наносное, все, что от лукавого, он просто и мужественно признался однажды: «Если бы мне представилась возможность хоть один день походить по городу своими ногами, один только день — я бы отдал за это всю жизнь...»

В серии «Жизнь замечательных людей» особняком стоят хорошо написанные книги о Сервантесе, Джеке Лондоне, о Дюма, о Суворове и некоторые другие. Отсюда, из этой серии, можно взять два характерных примера: «Мольер», написанный Булгаковым со всей силой огромного таланта, и вымученная пресная книга Прибыткова о Рублеве. Этими примерами я хочу сказать, что и в документальной литературе писателю необходим талант. Впрочем, он везде необходим. Когда я учился в Москве, то с Бутырского хутора на Тверской бульвар часто ездил на троллейбусе и любовался одним водителем. Он был всегда в чистой, хорошо отглаженной белой рубашке, вел машину спокойно, уверенно, без рывков и с видимым удовольствием. Приятно смотреть. Видно было, что у человека талант к этому делу. Повторяю, талант нужен везде, а в творчестве он — категория просто обязательная. Есть люди, не способные к писанию, но обогащенные немалым жизненным опытом. Иные из них рассуждают так: вон генерал выпустил книгу (может быть, и необязательно генерал), а я что, хуже его? Я — генерал-полковник, моя дивизия в войну была гвардейской... И пишет. Рукопись его попадает в руки «литобработчиков», людей, как правило, корыстных и неталантливых, которые стараются придать книге художественность, вводят в нее вымученные диалоги, описания природы и прочие «украшения». В ре-

зультате получается разностильная, тяжелая для чтения книга-уродец. От строгой документальности она как будто ушла и к художественности не пришла. Какой-то новый жанр появился, «необходимой» для издания литературы, якобы нужной для патриотического воспитания, точнее бы ее назвать «благотворительной». Она-то и полноводит серый поток книжной продукции, а от серого еще нигде, и особенно в воспитании, никакой пользы не было, разве что серая солдатская шинель. Но и она большей частью нужна из соображений экономики и для маскировки.

— Словом, вы считаете, что документалистика может существовать и сама по себе, и в органическом единстве с художественностью, но только чтоб даровитой была. Я хочу задать вам попутно вопрос, который тоже находится в центре литературных дискуссий последнего времени, — о научно-технической революции, ее влиянии на психологию, нравственность, внутреннюю жизнь человека?

— А революция ли это? Может быть, надо расценивать ее как продолжение естественного процесса развития, правда, ускоренного гонкой вооружений? Ведь войны и напряженность международной обстановки поторопили, ускорили нормальный ход развития человечества, вынудили перенапрягать умственные и физические силы на данном отрезке времени в истории человечества...

— Но войны и напряженность были раньше в разное время, они не всегда вызывали такой бурный прогресс науки и техники.

— Войны войнам рознь. Такого перенапряжения, как за последние десятилетия, человечество еще не переживало. Пресс оказался тяжелым, болезненным. Он нарушил гармонию развития. На войне выбиты не только взрослые мужчины, но и те поколения людей, которые должны были от них произойти. А трагедия вдов? Сирот?! У меня бывает очень горькое чувство, когда я вижу брошенные деревни, их умирание, — это они, последствия войны, прежде всего сказываются. Не легче и от зрелища современной стандартизации городского быта. В этом смысле потрясающее впечатление производит большой город. Поезд, на котором я приезжал из Вологды в Москву, приходит рано утром. Подъезжаешь к столице и видишь огромное скопление домов, похожих на молчаливые стада. В серых сумерках они сливаются

ся в сплошные бесконечные массивы. В темных проемах окон изредка сверкнет огонек, напоминая о том, что огромные эти квадратные глыбы есть человеческое жилье. Почему-то сжимается сердце: «Если зажгли огонек, значит, кто-то не спит, кому-то плохо, может быть, кто-то умирает, а рядом, за другими окнами, спят люди, равнодушные к чужому несчастью, равнодушные к этому зажженному огоньку...» Я понимаю, что все может быть совсем не так, но от действительности ведь никуда не денешься.

Процесс технизации и постепенного уравнивания города с деревней в смысле быта, благ цивилизации будет продолжаться. Настораживает господство стандарта и, как производное от него, — бездушие. Не будет ли оно проникать из быта в области более чувствительные — скажем, в творчество, в литературу и искусство? Ведь кое-какие признаки этого мы уже имеем, хотя бы в бездушном, если не безмозгом, отношении к той же природе, да и в искусстве уже есть примеры.

— Например?

— Ну, хотя бы взять последнюю, так нашумевшую пьесу Бокарева «Сталебарды», где человеческие чувства, страдания, радость и горе подменены производственной «схваткой», которая по напряжению и злости, лукаво именуемой ныне «накалом страстей», напоминает, извините, не мирные дни и не граждан одной страны, а нечто из того, чему я был свидетелем на фронте. Вообще странная, если не страшная, вещь, когда, чуть устроив свой быт, наевшись досыта, мы позабылись и начали взвинчивать посредством слова и искусства себя и свое общество: идет не просто уборка урожая, а «битва за хлеб», лохматые мальчики с роскошными бакенбардами под ноющие гитары не просто поют, а «идут в наступление», рабочие на заводе не просто варят сталь, а «сражаются» за нее. Мелькают слова мимоходом, играючи брошенные: «В разведку с ним не пойду», иль: «пойду», «до последнего дыхания», «умереть», «страдать», «драться», «эскадроны», «погоня», «сабли», «пулеметы», «роты», «бригадины», «заветные гавани»...

Таковыми вещами баловаться нельзя! Они не предмет для суесловия и телевеселья. Нам, еще не до конца изжившим трагедию войны, потерявшим двадцать миллионов, забываться грех особенный. Еще болят наши раны, еще грусть берет, как вспомнишь, что, дойдя до истинной битвы, до рот, до пулеметов, мы пели о завет-

ном «огоньке», про «синенький платочек», даже «черные ресницы, черные глаза» поминали и бредили миром. Неужели мало наших страданий и горя нашего?! Не забывайте, люди! Забывчивость дорого стоит!

— Виктор Петрович, я слышал, что будто бы большинство писем на «деревенский» «Последний поклон» вам приходило от городского, часто интеллигентного читателя? Не отражается ли в них тяга к первооснове жизни, к истокам, так сказать? Или, может быть, некоторая усталость от городской цивилизации, от напряженного ритма жизни в современном городе?

— Мне написала одна умная женщина из Ленинграда: «Мы с мужем получаем приличную зарплату. На работу я хожу как на праздник, с модной укладкой, хорошо и модно одетой. Муж тоже всегда элегантен, при галстукке. Ребенок разнаряженный ходит в детский сад. Все хорошо, правильно, за то, как говорится, и боролись. Но когда я прочитала «Последний поклон», невольно присмотрелась к своему ребенку и заметила в нем явные признаки эгоизма. Мне стало не по себе. Не утрачиваем ли мы какие-то первородные чувства, которые свойственны Вашим героям? Ведь это они помогли Вам написать такую книгу, любовью воскресить родных и близких... А какова-то будет любовь к людям у наших детей? Уж есть случаи, когда образованные, «гуманные люди» не приезжают на похороны отцов и матерей, дабы не травмировать себя, отделяются сочувственными телеграммами и деньгами — «на поминки».

Читательница пишет также об этом «проклятом телевизоре», к которому подсаживаются даже гости, вместо того чтобы общаться друг с другом, петь песни, смеяться, веселиться. Она написала фразу, которая меня очень тронула и взволновала: «Я на судьбу не ропщу. Муж меня любит, я его тоже. Родители мои были хорошие люди. Но я все-таки поняла, что жизнь меня обделила — у меня не было сельского детства, бабушки, а значит, — это я поняла после прочтения Вашей книги — не было и детства». Может быть, в этих словах и есть крайность, но для меня бабушка действительно была главным духовным наставником, хотя и за уши тягала, и прутом порола, чтобы не лазил в чужой огород и не разорял птичьи гнезда.

— Не считаете ли вы, что одной из главных задач, которые стоят сегодня перед обществом и, стало быть,

перед литературой, стоит задача сохранения и упрочения нравственных традиций народа? И что вы можете сказать о так называемой «пришвинской традиции» в нашей литературе, не исчезает ли она, не теряет ли свое значение в сегодняшнем, индустриальном мире?

— Вопрос настолько сложный и емкий, что не только журнальной беседы, может, остатка жизни не хватит на то, чтобы на него ответить и докопаться «до корней». Нам все-таки надо твердо и прямо установить сначала, что есть нравственность в нынешнем понимании нынешнего человека. В связи с тем, что современный человек отошел, или, точнее, отгребся от берега, на котором стоит церковь и вера в бога, прибился ли он к другому берегу? Если прибился, что нашел там? Какие идеалы? Какую веру? Туману бы поменьше, ясности бы побольше в самом толковании нравственности. Есть уже теоретики, пытающиеся сблизить два берега — веры и безверия. Вот уж тут могу с уверенностью утверждать — в такой подтасовке проку нет и не будет. Наша блистательная литература, наши Печорины, Рудины, Онегины уже доказали своим, так сказать, «жизненным примером» бесплодность и невозможность такого сближения; «Мы с тобой два берега у одной реки», как, ничтоже сумняшеся, продекламировал современный поэт, и добавлю от себя: берега эти разделены не одной только водой, но и опытом жестокой истории.

Ну а что касается «пришвинской традиции», то пока живы выходцы села, «дети природы», до тех пор она, эта «российская традиция», наша извечная, отечественная, будет жива и даст миру еще немало чистых и светлых строк и музыки. Евгений Носов, Юрий Куранов, Сергей Залыгин, Василий Белов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Федор Абрамов, Вячеслав Шугаев, Юрий Гончаров, Михаил Алексеев, Сергей Воронин, Виктор Потанин, Василий Юровских, Владимир Солоухин и ряд других писателей не только не дают затихнуть и загаснуть этой традиции, они ее обновляют — многого достигла наша лучшая проза. Хорошо, чисто, высокопрофессионально пишут названные мною писатели и оказывают своей работой благотворное влияние на молодую прозу.

— Критика заметила, что в последнее время герой молодой прозы в отличие от эгоцентрического молодого бунтаря пятидесятых-шестидесятых годов обращается к

социальному и нравственному опыту своих предшественников. Что вы на это скажете?

— Я постоянно читаю произведения молодых, как уже говорил, много времени на это убиваю. Недавно мы в «Нашем современнике» провели заседание редколлегии, специально посвященное работе с молодыми писателями. Только что вернулся из Иркутска с зонального совещания молодых писателей, и есть некоторые основания сказать, что сегодня молодые быстрее становятся мужчинами, чем некоторое время назад. Они в чем-то даже идут впереди нас. Как я уже говорил, некоторые из нас убивали время на профессиональную подготовку, на образование, а у них все это начинается чуть ли не с пеленок, они с детства знают музыку, театр, кино, имеют свои библиотеки — словом, впитывают в себя современную культуру естественным путем, без помех, наоборот, все вокруг способствует их росту. И, несмотря на это, биография у некоторых из них довольно интересная, трудовая. Поэтому проза имеет хорошее наполнение. Я могу назвать некоторые имена: это Александр Филиппович, Валерий Макшеев, Анатолий Василевский, Михаил Голубков, Вячеслав Сукачев, Евгений Суворов. Они разные, но все с характером, со своим видением жизни, с чувством собственного достоинства. Настораживает, правда, некоторая «привычность» тем, избранных молодыми, мало дерзости, выдумки, самостоятельности, не говоря уже о самобытности. Ощущается стремление к «благополучной жизни» в литературе.

— Виктор Петрович, я не счел бы нашу беседу законченной, если бы не задал вам очень трудного, очень сложного вопроса, который, может быть, еще не стал так остро на повестку дня нашей критики, но который, как мне кажется, непременно будет, должен горячо заинтересовать всех причастных к литературе людей. Я имею в виду вопрос о философской значимости литературы, о том, как развивается в наши дни эта великая традиция русской литературы?

— Вопрос поставлен довольно общо. Мне легче будет попытаться ответить на него, опираясь на практику, на свой опыт, хотя делать это и не совсем этично, однако так будет «доказательней». Мне кажется, что у нас есть категория редакторов, которые настороженно относятся ко всякой философичности. Сошлюсь на судьбу своей повести «Пастух и пастушка». Она прошла редакции почти всех московских и ленинградских журна-

лов. Во всех письмах из всех редакций мне предлагалось что-то конкретизировать, что-то уточнять, а вернее, упрощать, разжевывать. Предметное, вещественное изображение в нашей литературе принимается спокойно, и потому в изобразительности наша литература достигла огромных успехов. Почитайте, например, прозу Михаила Алексея, Юрия Нагибина, Георгия Семенова, Бориса Можяева. Я понимаю, инерция настороженности к условностям и сложному письму идет от лакировочной литературы, которая принесла нам столько вреда, что...

— Но лакировочная литература не претендовала на философичность, и условность ее была скорее от прекрасноты, от забегания вперед, нежели от жизни.

— От криводушия и приспособленчества она была, чего уж там тратить «ученые» слова на такого рода литературу, затормозившую развитие доподлинной литературы, а значит, и мысли. Гнилоротое ее дыхание, кстати, ощутимо до сих пор, потому никаких она добрых слов не стоит!

Трудно, с издержками мы преодолеваем ее, сбрасываем с себя пути заданности, ложной и спекулятивной идейности, урапатриотизма и того сочинительства, когда каждый имеющий время и грамоту мог писать на потребу дня хоть стихи, хоть романы, хоть драмы. Вспомните-ка хотя бы пьесы так называемого драматурга Сурова!

В современной прозе жизнь трудная, если работать по-настоящему. Все большее значение приобретают в ней символика, условные, а значит, сложные формы. Вы посмотрите, например, на работу Залыгина — «суровый реалист» вдруг пишет фантастическую повесть, следом психологический роман. Он не ищет, не хочет спокойной жизни, этот художник; сложно живет, сложно работает Владимир Тендряков, автор шибко запальчивый, весь взъерошенный современной мыслью, движением ее, он стремится нащупать не только смысл жизни, но и проникнуть в смысл оной. Чтобы выразить философию нашего времени, философию подвига, человеческой жизни, любви, смерти — мало одних рассуждений на эти темы, необходимо дать знак, символ, образ, что в буквальном переводе с греческого означает идею. Да как-то умудрились подзабыть первооснову этого слова, упростили смысл его, смешали со словесной мякиной громких патетических слов, кои так же близки ему, как «в огороде бузина, а в Киеве дядька»...

В «Пастухе и пастушке» я стремился совместить символику и самый что ни на есть грубый реализм. Меня некоторые упрекали за образ немца, где, мол, такого видел? Не знаю. Сам, возможно, я видел его во сне, возможно, наяву. Здесь мне важны детали, важна мысль. Этот немец — олицетворение дикости человеческой. Вот если бы я написал его с низким лбом, редкими зубами, тонко поджатыми губами, в каске — уверен, никто бы слова не сказал. Действует привычка к стереотипам. Но мне такой немец неинтересен, такого я уже видел у других писателей и повторять их не хочу.

— Насколько известно, «Пастух и пастушка» далась вам нелегко. Я помню, как вы читали четвертый вариант повести в переделкинском Доме творчества, это было лет шесть назад.

— Четырнадцать лет я носил в себе эту маленькую повесть, несколько лет писал и переписывал. Недавно, после четырех изданий, переписал снова.

— Значит, эта вещь дорога для вас? Чем же?

— Мне кажется, в «Пастухе и пастушке» я преодолел сам себя, традицию, самим себе созданную. Понимаете, школа нас приучила к упрощенному пониманию традиций. При нынешнем уровне культуры и образования, я думаю, не так уж трудно изобразить в повествовании деревню, бабушку, как в «Последнем поклоне», что сейчас охотно и в большом количестве делается. Мне же хотелось сказать нечто большее, чем добрым словом вспомнить малую родину. Война — событие грандиозное по своим историческим масштабам, требуются иные подходы, иная выразительность, иное философское наполнение в изображении и осмыслении такого события, и даже смелость в том, чтобы взяться за военную тему, самостоятельно, не эпигонски — эпигону никакой смелости не надо, ему усидчивость требуется. Преодолевая свою традицию в «Пастухе и пастушке», я в то же время возвращался к каким-то очень дорогим традициям отечественной литературы, в частности к толстовской традиции. В кульминационной сцене любви я, помню, написал слово «милая». И задумался. Сколько раз это слово повторяется всуе! И вот, перед тем как добавить к слову «милая» слово «моя», написал целый абзац. Я двадцать лет учился тому, чтобы разделить эти слова, чтобы меж ними написать целый абзац, и наконец рискнул это сделать. Думаю, что и

от этого зависит наполнение прозы, ведь не выставишь же между этими словами пустой ряд слов, надо, чтобы читатель не пропустил, не пробежал эти центральные, что ли, в повести строки по диагонали, а прочитал внимательно весь абзац, даже, может быть, задержался на нем.

— Не противоречит ли это тенденции к лаконичному стилю?

— Некоторые теоретики считают, что надо писать как Хемингуэй — короткими репликами, короткими фразами. В свое время была даже дискуссия о телеграфном стиле. Я не хочу опровергать ни теории этой, ни тем более практики. Каждый пишетсообразно своим внутренним возможностям и, стало быть, законам. Что же касается философской мысли в прозе, то умение размышлять считалось и считается неперменным признаком таланта. Толстой, кажется, говорил, что писатель должен ориентироваться только на самого умного читателя. По письмам, которые я получаю от читателей, можно судить, насколько он поумнел и помудрел. Пишут, например, о «Пастухе и пастушке» и такие тонкости подмечают и понимают, что не только диву даешься, но и бояться начинаешь за свою работу, думаешь о том, чтобы не отстать от читателя, чтобы оказаться достойным его.

— Что означает нынешняя тяга к гуманитарным наукам, которую в последние годы отмечают социологи?

— Нежелание ломить физическую работу, трудиться на производстве. Многие юноши возмечтали быть артистами, поэтами, циркачами да музыкантами, соблазняясь «сладкой жизнью» актеров, писателей, кинорежиссеров и т. д. Не верите мне? Сравните тогда конкурсы ВГИКа, театральных студий, хорошо вам известного Литинститута с любым промышленным вузом. А опросы школьников старших классов трудового города, давшие такой безрадостный результат? Пять процентов желающих трудиться на производстве, остальные устремлены к «роскошной жизни» творческой и технической интеллигенции! Думаю, такой наплыв в литературу и искусство происходит не только «от ума» и дезинформации о нашей жизни, но от того, что упростилось многое в музыке, в литературе, в живописи, общедоступной сделалась «массовая культура», можно петь уже без голоса, писать без таланта, рисовать «условно», чаще всего под детей, снимать фильмы без профессиональной ода-

ренности и подготовки. Такое невинное вроде бы приобщение к искусству развращает людей, делает их жалкими побирuşками около театра, кино, литературы, а чаще напористыми, «все знающими и все умеющими» шарлатанами. Думаю, что большое количество плохих и посредственных фильмов и книг, где вроде бы «все путем», все как надо, но не волнует, вызвано как раз тем, что много балласта, мешающего двигаться вперед, нагрузилось на корабль с названием «художник».

— Не поубавилось ли романтизма, мечты в нашей прозе?

— Ну как не поубавилось? Слава богу, меньше стало «туманов и шорохов тайги», за которыми едут то на целину, а то и того дальше. Как я говорил уже, проза сделалась серьезной, толкует она о вещах серьезных: о сути человеческой жизни, о нравственном ее начале. Тут уж никакие «туманы» не помогут, тут талант и серьезная работа нужны. Я, разумеется, о ложном романтизме толкую, о том самом, где стилизация «под народность», слащаво-песенная настроенность на «дальние дороги», на «огни маяков», на «белых лебедей» и на «березки» и «дальние миры», а также на «суровую любовь» и прочая выдают себя за «романтизм и мечту». Но вспомните сейчас, что осталось от косяков «романтических» повестей, рассказов и романов о целине? Рассказ «В бессонную ночь» Сергея Никитина, «Аленка» Сергея Антонова. Перечисляйте дальше сами, если сможете, а у меня ничего больше в памяти не задержалось.

Время — суровейший судья! Для меня, может быть, самая «романтическая» из книг последнего времени — «Горячий снег» Юрия Бондарева, хотя нет там ни «маяков», ни «лебедей» и ни «дальних путей». Но бьется там, трепещет среди смертей и горя жажда мира, мечта о любви, о Родине и обо всем, что есть прекрасное в жизни. Кстати, отголоски ложного романтизма то и дело дают о себе знать. Так, сюсюкающе-«романтическую» повесть Сергея Пистунова «Белая птица-лебедь» недавно напечатал журнал «Молодая гвардия», а мы в «Нашем современнике» выдали «на-гора» еще более «романтическую» повесть Владимира Солоухина «Прекрасная Адыгене». Вслушайтесь только в названия! Уже в них что-то фальшивое есть, приторно-паточное.

— Что вы можете сказать о сегодняшней прозе о войне и каковы ваши планы на этот счет?

— Вы заметили, что реже стали появляться произведения о войне? Особенно объемистые? Трудней стало писать о войне, потому что появились настоящие о ней книги. Думаю, дальше будет еще труднее и сложнее писать о войне. Время, расстояние, память человеческая, истинная память, не подмена ее сочинительством, ответственность перед будущим — вот что, на мой взгляд, заставляет относиться к этой теме с повышенной строгостью. Писатели военного поколения стали старше и мудрее — они есть пока главный и основной критерий в работе следующих за ними писателей, разумеется, опять же талантливых писателей.

По этой же причине роман о войне, написанный мною начерно, лежит в столе, ждет своего времени, то есть когда я наберусь сил, мужества и умения, чтобы одолеть его. А пока я пишу заметки, кусочки, какие-то соображения, чтобы засесть за небольшую, давно выношенную повесть о войне. Есть в замысле и рассказы. Что бы мне хотелось видеть в прозе о войне? Правду! Всю жестокую, но необходимую правду, для того чтобы человечество, узнав ее, было благоразумней.

— Немного найдется писателей, которые бы остались довольны критикой, не высказывали бы в ее адрес критических, иногда язвительных реплик. Как вы относитесь к критике и какую роль она сыграла в вашей литературной судьбе?

— Мне на критиков грех обижаться. Критика всегда была внимательна ко мне, хвалила, даже перехваливала мою работу. Но хвалы, хоть они и ласкали мою душу, я до конца всерьез не принимал, к критикам же относился как к младшим братьям и никогда их «не бил по голове». От этого, наверное, и был у меня другом покойный Александр Николаевич Макаров. С вами вот давно дружеские отношения, и другие критики со мной здороваются, жалеют меня, а я их пуще того. Жизнь у вашего брата трудная, и хлеб ваш часто горек из-за непонимания труда вашего.

После читинского семинара шли мы целой бригадой по далекому-далекому городку Красный Чикой, что находится почти на границе Монголии. Повстречался нам шишкарь — ну, это человек, который кедровые орехи добывает, — остановился и спрашивает: «Это правда, что вы — писатели?» Правда, говорим, и стали представляться шишкарю. Когда дело дошло до Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто тигру узрев,

воскликнул: «Критик?!» — и, сурово оглядев с ног до головы милейшего, застенчиво улыбающегося Николая Николаевича, спросил у нас строго-деловито: «Так что же вы его не бьете?!»

Шутки шутками, а что-то ведь есть в отношении к критикам от того простодушного чикойского шишкаря и среди нашей писательской братии, и в общественности тоже. Пока «служит» критик, раздает в качестве официанта «сладкое» — ничего, терпимо. Но стоит ему «покритиковать», да еще писателя маститого, — тут и кончилась его нормальная жизнь, свои же братья критики навалятся на него, изволтузят, да еще неучем, полудикарем выставят. Благородства бы, благородства побольше в отношении критиков друг к другу в частности и всей нашей литературе вообще.

— И самостоятельности!

— Да! И самостоятельности. Сколько ни толкуем о том, что критика не есть «слуга литературы», она все же тащится следом за нею с подносом, а ей ведь надлежит, как это уже было в прошлом столетии, «во времена Белинского, Добролюбова, Писарева и Чернышевского», даже опережать мыслью время свое. Никак это у нас не получается, все еще оценочно-рецензентская в своей массе наша критика, не хватает ей, как мне кажется, зрелости, нет в ней большого авторитета, то есть все того же Белинского. Но есть предчувствие, что критика наша если не стоит на пороге, то приближается к серьезному осмыслению художественных процессов, а следовательно, и жизни. Свидетельство тому — ряд серьезных теоретических работ и статей, появление критических журналов, книг и даже серий, подобных тем, что издает «Современник» и «Советская Россия», количественное внимание к критике не может не перейти в качественное, во всяком случае, желательно это, и поскорее бы, — уж слишком огромно наше «литературное хозяйство», и ему «без присмотра» никак не возможно существовать и двигаться дальше.

— Приходилось слышать, что в новых главах «Последнего поклона» вы слишком жестоки и откровенны. Как вы относитесь к этим суждениям?

— Сами читатели, отклики их и довольно дружная хвалебная критика насторожили меня: что-то уж больно благодушно там у меня в «Последнем поклоне» все получается, пропущена очень сложная частица жизни. Не нарочно пропущена, конечно, так получилось. Душа

просила выплеснуть, поделиться поскорее всем светлым, радостным, всем тем, что так приятно рассказывать. Ан в книге, собранной вместе, получился прогиб. Фраза: «Началась такая жизнь, что и рассказывать о ней не хочется» — ни от чего не избавила. Душевный груз, память тревожили, беспокоили, требовали высвобождения. Поездки на родину, обновление воспоминаний, взгляд на нынешнюю действительность не способствовали ни телячьей радости, ни прекрасноту — трудная и тревожная все же жизнь идет, и она напомнила о временах еще более трудных и тревожных. Я не считаю новые главы жестокими. Если на то пошло, я даже сознательно поубавил жестокости из той жизни, которую изведаль, дабы не было «перекоса» в тональности всей книги. Думаю, что, когда новые главы встанут в ряд с другими рассказами, все будет в порядке. Мне видится книга не только более грузной по содержанию и объему, но и более убедительной, приближенной к той действительности, которая была и которую никто, а тем более художник, подслащать, подлаживать и наругивать не должен — нет у него на это права.

1974

КАК НАЧИНАЛАСЬ КНИГА

Первым столичным журналом, который «пригрел» меня, была «Смена». Здесь я начал печатать зарисовки, очерки, и этот же журнал в 1957 году отправил меня в командировку на Красноярскую ГЭС, только-только разворачивающуюся.

Родная моя деревня Овсянка располагалась неподалеку от стройплощадки, и в ней обитало немало молодых строителей, поскольку с жильем, как и на всякой новостройке, на ГЭС было туго.

Здесь-то, в родном селе, произошла у меня прелюбопытнейшая встреча, значения которой я поначалу никакого не придал.

Сидел я как-то вечером на берегу Енисея, покуривал, побрасывал камешки в воду и услышал шаги. Обернулся. Ко мне приближалась молоденькая девушка, в брючках. Век феминизации только начал брезжить, не все девушки, далеко еще не все, переоделись в штаны, а парни — в бабьи, цветастые кофты, и моло-

дая особа привлекла мое любопытство. Смело ко мне приблизившись, девушка попросила закурить. Я угостил ее сигаретой, и, умело затянувшись, она блаженно закрыла подведенные глаза: «Болгарская сигарета! Кажется, век не курила. Какая прелесть!»

Я неприязненно относился и отношусь к курящим женщинам — тут уж я истинный домостроевец — «деревенщик!» — и хотел было сказать об этом, но девица оказалась из тех, кто не очень-то любит слушать кого-либо, кроме себя, и, заявив, что она сразу распознала «нездешнего» человека, понесла моих односельчан на все корки: «Разбойники, быдло, хамы...»

Я морщился, пытался вставить возражения, да куда там! Новожительницу Сибири понесло на удалых — и все под гору!

Мне бы забыть ее, ту девицу, и я забыл бы, наверное, — брань на ворота не виснет, тем более брань этакой зелененькой еще, не только «пороха», но и своего хлеба не понюхавшей «труженицы», но вот я поотирался среди строителей, послушал их, посмотрел, а потом почитал их и о них стихи, очерки, газетные заметки, статьи, повести и даже романы — и меня поразила странная особенность: все, как сговорившись, писали и говорили о Сибири так, будто до них тут никого не было, никто не жил, а если жил, то никакого внимания не заслуживал.

«Стоп, ребята! — сказал я себе. — Так дело не пойдет! Это ж значит, мне надо забыть свое детство, юность, отмести родню, предать забвению память о дедушке и бабушке, закрыть глаза на то, что тут было и есть, да согласиться, что на озаренных огнем гидростанции берегах только и началось все хорошее, а до этого все было сплошь плохое и столь незначительное, что и не стоит об этом и говорить...»

И у меня возникло не просто чувство протеста, у меня возникло желание рассказать о «моей» Сибири, первоначально продиктованное одним лишь стремлением доказать, что и я, и мои земляки отнюдь не иваны, не помнящие родства, более того, мы тут родством-то связаны, может, крепче, чем где-либо...

Словом, начал я писать какие-то полурассказы со злым упрямством, сохраняя «документальность», чтобы доказать: была здесь жизнь, были люди, и не хуже вас, таких модных и самонадеянных! Но злость — плохой помощник в писательской работе, и скоро я от нее из-

бавился, однако «струю», в которую попал, оставить не захотел — писать обыденно об обыденной, неброской жизни, ибо и в ней, освещенной светом детства, виделась и слышалась мне своя музыка, и поэзия, и краски, и сказки, и труд, и праздники, и смех, и горе. Так начался «Последний поклон», который я писал на протяжении двадцати лет.

Давно уж построена Красноярская гидростанция, давно вырос рядом с ней Дивногорск, расстроилось мое село, обновилось население его и всей округи, много односельчан уже ушло в мир иной, а книга, начавшаяся с маленьких зарисовок, застенчиво названных «Страницы детства», разрослась до большого повествования, которое завершают главы о трудных военных и послевоенных годах.

1977

ВСЕМУ СВОЙ ЧАС

Мой дебют в театре случаен и даже несколько странный. Жил я тогда в Перми, много писал, и дело с прозой у меня более или менее ладилось, во всяком разе, работа той поры доставляла мне удовольствие.

И вдруг из местного драмтеатра мне предложили написать пьесу, и я, естественно, отказался, ибо занят был сильно и еще сильнее запуган «спецификой театра», его «особым» видением жизни, его, наконец, сложными историческими традициями и в особенности словами о «постоянной плодотворной работе с авторами».

Что такое «работа с автором», я знал уже по журналам, издательствам, и у меня было достаточно оснований опасаться подобных заявлений, ибо чаще всего это означает бесцеремонное вмешательство в текст и даже в замысел тех, кому кажется, что они больше писателя понимают «специфику жанра» и даже тайну замысла и мировоззрения глубже самого автора постигли. Опасная это самоуверенность людей, «приставленных к литературе», много она наносила и наносит вреда нашей работе, подгоняя ее под какой-то всеобщий невид, а подвид литературы, лишая ее индивидуальности и новизны.

Словом, от первой попытки театра «завязать со мной отношения» я вежливо уклонился. Но театр нуждался в пьесе, его, как я узнал позднее, не пускали в Москву

на гастроли без спектакля, сделанного по пьесе местного автора. И правильно делали, добавлю я теперь от себя. Сколько бы ни пыжились областные театры, сколько бы ни самовозвеличивались и ни упивались самоздравием, тягаться им со старыми московскими театрами в постановке одних и тех же пьес весьма трудно — силенки не те.

Я понимаю, какой гул негодования по всей неоглядной провинции вызвал сими строками, и тем не менее, вдосталь насмотревшись и наслушавшись «периферийного искусства», со всей ответственностью могу заявить, что спектакли, да и сам театр, равный столичному, видел лишь один, до войны, в Игарке, но... его возглавляла Вера Пашенная, и актеров она понавезла с собой из... столицы!

Самое для нас, живущих и работающих в провинции, опасное дело — это самообольщение. Чем его меньше, тем меньше провинциальности в работе, тем спокойней живется и больше остается досуга для восполнения культурного багажа, который в столице можно получить посредством общения с людьми, с тем же театром, выставками и пр. и пр., а в районе или в области на это надо тратить свои силы, работать напряженно, чтобы не отстать от заданного ритма современной жизни, или, выражаясь модно, «держаться тонус». Я потому говорю «мы», «нас», чтобы понятно было, что и сам болею многими провинциальными болезнями.

Пермяки потихоньку, полегоньку соблазнили все же меня «попробовать», и я однажды сел и написал тридцать с чем-то страниц «драматического текста». Посмотревши мое «творение», режиссер и знакомые мне актеры не разругали меня, но сказали: «Мало. Надо еще». Думал я, думал и еще сколько-то страниц выдумал, точнее, выудил из давнего своего рассказа, и все мало.

А я уж разошелся, или, как у нас, опять же в провинции, часто по радио говорят, — заразился! Любопытство меня разобрало, задор появился. И ну я катать, ну катать! А главреж из театра, Иван Тимофеевич Бобылев, меня подбадривает да похваливает, подбадривает да похваливает!..

Тем временем по его поручению его «подручные» рыскают по окрестностям и ищут пьесу, желательно на местном материале и местного автора. И вот ведь чудеса — находят! На мою беду, как мне в ту пору каза-

лось, а в самом деле — на мое счастье, один пермский студент защищает в Москве, в Литературном институте, диплом готовой пьесой. Пьесу хватают, с ходу ставят и мчатся в Москву, на гастроли. И театр, и пьесу молодого автора в столице принимают хорошо, гравреж получает лестное предложение принять один полуразвалившийся столичный театр, ибо к той поре он уже прослыл спецом по спасению прогоревших театров и на моих глазах «поставил на ноги» впавший в не тихую спячку, наполненный не творческими поисками, а дразгами Пермский областной театр.

Обо мне, разумеется, в театре напрочь забыли. Случалось, какой-нибудь заезжий режиссер попросит посмотреть пьесу и с извинениями вернет, либо знакомые артисты позвонят, поговорят про погоду, спросят, как работается, и виновато вздохнут в трубку.

И хорошо, что я работал над первой пьесой как бы балуясь, движимый любопытством, не покидая свою тихую и трудную матушку-прозу, где сам ты себе голова и ни от кого не зависишь, хотя бы в ту пору, когда пишешь, переписываешь, черкаешь. А занимайся я «на полном серьезе» пьесой, весь «отдайся театру» — это какую же бы мне нанесли травму милые театралы, это насколько же вышибли бы они меня из творческого настроения и ввергли в пучину душевной депрессии, в которую и без их помощи трудно и давно работающий писатель впадает часто от усталости и нервного износа!

Я потому так подробно об этом «начале», что не везде и не во всех наших театрах понимают всю ответственность работы с писателями, особенно с писателем, далеким от театра, работающим профессионально, который дорожит не только словом и именем своим, но и временем, какового ему вечно недостает.

И бросил я пьесу в стол. И не тянуло меня больше баловаться в «области драматургии». Урок воистину пошел впрок.

«Шли годы, бурь порыв мятежный...» И прошло их ни много и ни мало, почти семь. Я за это время переехал жить в Вологду. Работалось мне хорошо, стало быть, и жилось недурно, ибо вся жизнь писателя, серьез и навсегда отдавшегося своему любимому и маетному делу, зависит только от работы.

А тем временем другой писатель, движимый «тайнами творчества» и все тем же зудом любопытства, же-

ланием постичь секрет как будто и недоступного жанра, потихоньку пишет пьесу, и невдомек мне, что его пьесе дано будет повлиять на «явление» моей.

Сперва народный театр города Череповца, затем и областной Вологодский театр ставит пьесу Василия Белова «Над светлой водой». Успех. Овации. Местная пресса отмечает историческое событие — появление первой пьесы вологодского писателя на вологодской сцене! Все мы, друзья и знакомые автора, после премьеры пошли по тихим улицам заснеженного города. Именинник, то есть Белов, сомлел, молчит, а мы, значит, шумим, руками машем, да все про театр, про искусство!..

Само собой, шибче всех раззадорен постановщик пьесы Белова Василий Валерий Петрович Баронов. Он, человек южный родом, горячий, прямо-таки печкой пышет, доказывает, что периферийный театр, любой, обязан в основе своей иметь «свой» репертуар, фундаментом которого должна служить местная драматургия, иначе это не театр, а прилипала — маленькая рыбка, прилипшая к большой рыбине. И что в Вологде, при такой-то сильной писательской организации, и во все грех жить театру без этого самого «своего фундамента».

Из дальнейшего разговора выясняется, что поэт Александр Романов давно потихонечку пишет пьесу о деревне, что начинающий прозаик Александр Грязев сочиняет драму про поэта Батюшкова...

— А вот вам, вам, — налетел на меня Баронов пухом, — почему бы не попробовать?

А я всегда очень любил и люблю театр. Костюм новый наденешь, рубашу чистую, галстук прицепишь, ботинки почистишь — и пойдешь! И ровно в иной мир окунешься, особенно если театр старинный, в иных и пахнет-то по-особенному, и весь ты в себе притихший сделаешься, робкий, как дитя на взрослом таинственно-сказочном празднике. Особенно любил и люблю я оперное искусство. В оперном театре все эти мои ощущения всегда во мне производили какое-то утепление, умиление, и случалось, плакивал я не раз на спектаклях, как плакал в весеннем лесу, выздоровев после смертельной раны, явившись как бы с того света в шумный и светлый мир.

Необходимое всякому человеку это место — театр!

Еще и еще я перебирал в памяти только что пережитое — сдержанные, скромные вологжане радовались

и хлопали так, как будто они сами сотворили «про себя» пьесу и жили своей жизнью там, на сцене «своего театра».

Непомерно расчувствовавшись, под воздействием минуты я и ляпнул Баронову:

— А что мне пробовать? Я уж разок попробовал, да не родил...

Баронов назавтра же был у меня и, пока я ему не дал пьесу, из дому не удалился. Говорил я ему про свое драматическое творение самое худое, как меня в том убедить успели, повторяя главный, неотразимый аргумент: пьеса написана без знания законов театра...

Часа через два Баронов уже звонил мне и орал в трубку:

— Да на кой они вам, эти законы? Тут главное есть, не затуманенный ложной многозначительностью замысел, характеры, язык. А законы мы сами сотворим, да такие, что у вас зубы заноят!..

Через несколько дней я читал старую свою, но, как оказалось, не устаревшую пьесу в театре. Слушали внимательно. Приняли. Наметили сроки постановки с таким расчетом, чтобы я мог еще поработать над пьесой совместно с режиссером, но, как это нередко бывает в областных театрах, климат в нем резко изменился, режиссеры повздорили, разошлись, и один поехал на юг, другой — юго-запад. Да кабы они уезжали «просто так», а то ведь непременно прихватят с собой двух-трех ведущих актеров, оголят репертуар, посадят на мель театр...

Большое это горе, большая беда для местных театров — текучесть. Ведь даже в футболе есть «законы» о переходе, частенько, правда, нарушаемые, а тут и во все анархия.

Я уже забывать начал о своей новой вылазке в театр, как вдруг звонят из Москвы, да не откуда-нибудь, а из Театра имени Ермоловой, и не кто-нибудь, а сам главный режиссер Андреев! И говорит не чего-нибудь, не чепуху, не дешевые комплименты, но сразу быка за рога — просит разрешения поставить пьесу!

Я, естественно, растерялся, лепечу что-то, мол, пьеса не совершенна, «обратно — законы»...

— Господи! — говорит Андреев. — Далась вам эти законы! — И повторяет почти слово в слово, что говорил когда-то Валерий Баронов.

Пока Андреев говорил, я малость приободрился,

как, спрашиваю, вы про пьесу узнали? Где добыли-то? Андреев — мужик тертый, смеется: «Секрет фирмы». По голосу слышу: человек не праздно — заинтересованно со мной толкует и серьезные его намерения. Не так уж часто оказывается подобное внимание нашему брату периферийному писателю, и я не без робости, но и не без радости дал «добро», с условием, что над пьесой надо еще много работать, что сам, чем могу...

Однако заявил я сие сгоряча. То было время, когда я заканчивал работу над новой повестью и до театра никак руки не доходили, да и не верил я, честно говоря, что так вот сразу и начнется работа, завертится карусель. Вот оно, пренебрежительное, наплевательское отношение к пьесе и автору Пермского театра, когда сказалось, вот оно чем обернулось.

Я не проникся серьезностью намерений театра, не представлял всей трудности постановки пьесы на сцене, всей сложности и объемности предстоящей работы, потому и не поспешил сразу же на помощь театру, не схватился доделывать не просто сырую, но и рыхлую пьесу, а ведь в прозе я давно уже никому не показываю недоделанных вещей, все делаю и доделываю сам, отстаиваю каждое слово, каждую строку, при редакции никому ничего не передоверяю.

Игрушкой, чуть ли не забавой казались мне на первых порах театральные начинания. И знакомство с труппой Театра имени Ермоловой, которого я так опасался, произошло как-то непринужденно, свободно. Все ермоловцы, и мужчины и женщины, сплошь мне показались симпатичными, обаятельными, добрыми, а тут еще главный режиссер поддал жару, тихонько мне сообщив, что в пьесу они влюблены.

Владимир Алексеевич Андреев, которого я теперь знаю поближе, — человек одержимый, истово влюбленный в русскую литературу, в театр, один из тех, кто не на словах, а на деле дорожит русским словом и отечественной культурой, ее традициями, и не просто дорожит, но отстаивает в работе свои принципы и убеждения, что не могло не импонировать мне. С самого начала работы в литературе терплю я поношения за «областную, лаптями и шами пахнувший язык», за «натурализм», за «бытовизм» и т. д. и т. п.

В полном наборе присутствовали в пьесе «Черемуха» и «натурализм», и «бытовизм», и «онучами пахнувший язык». А театр в самом центре Москвы, старей-

ший театр. Мне бы испугаться, а я таким новоиспеченным драматическим кавалером щеголяю.

Но вот однажды я взял и без разрешения Андреева, который ставил «Черемуху», пришел в театр, на репетицию. Не на первую — на одну из последних, когда спектакль почти уже сложился и его «доводили».

И вот тут-то я наяву увидел, что актеры и режиссер делают то, что должен был сделать я, — они «дотягивают» за меня мое произведение. Им и работается трудно потому, что было слишком легко мне. И хорошо, и ладно получилось, что в Перми не поставили пьесу. На ходу, в предгастрольной спешке что бы состряпали пермяки из такого клёклого драматического теста? Да и время, время, внезапно понял я, тогда для этой пьесы не наступило...

«Всему свой час и время, всякому делу под небесами...» — хорошее изречение, я очень люблю его и часто им пользуюсь. Но вот наступил «мой час» в театре, а сделать-то я уже ничего не могу.

Постановщик, осунувшийся лицом, ощущает недостаток действия, динамичности материала в моей драме и переизбыток длиннот, он на ходу латает, домысливает, ищет, делает вставки из моих рассказов и в конечном счете выпускает спектакль.

Премьера! Цветы! Радость! Обнимания! Целования! Скромный банкет. Жизнь спектакля началась, и он идет третий сезон, идет, слышал я, все еще при полном зале. На каком-то смотре или на Московской театральной весне, я в этом не разбираюсь, исполнители главных ролей Татьяна Говорова и Сергей Приселков были удостоены Золотой и Серебряной масок, были и другие поощрения, спектакль хорошо принимают на гастролях, он получил доброжелательную прессу. Через год «Черемуха» была поставлена в Вологде главным режиссером областного театра Леонидом Топчиевым — как оказалось, тем самым человеком, который занимался в творческой студии Андреева и показал ему мою пьесу, — вот и весь «секрет фирмы».

В Вологде получился иной, нежели у ермоловцев, спектакль. Не мне судить, какой лучше, какой хуже. И здесь публика ходит на «Черемуху», и об этом спектакле хорошо писали и пишут, но меня все еще не покидает чувство внутреннего неудовлетворения, чувство неловкости оттого, что все же сырую, очень сырую я отдал пьесу в театр.

У писателя всегда есть возможность исправить свою ошибку, улучшить свое произведение. И я переписал «Черемуху». Театры ермоловский и вологодский, кстати, упорно осуществляющий свою мечту и уже поставивший четыре спектакля по пьесам местных авторов, — своими спектаклями ободрили и подвигли меня на эту работу, открыв те возможности в пьесе, которые я хотя и чувствовал, да не видел до сцены.

Конечно, и в нынешней редакции «Черемуха» далека от совершенства, и мой скромный труд и дебют в театре не дают повода к тому, чтобы разражаться такой длинной статьей. Но я думаю: а вдруг кому-то пригодится, кому-то поможет пусть и маленький, но, как мне кажется, весьма поучительный «мой опыт»?

Что же касается лично меня, то я считаю, что мне дико повезло: я попал именно в те театры, именно к тем режиссерам, к которым и должен был попасть со своей первой пьесой.

Это не значит, что я во всем согласен с режиссером и со всеми поисками данных театров. Важно, что наши взгляды на жизнь, наше мировоззрение совпадают в главном, и еще очень важно, что теперь есть на свете театр, и не где-нибудь, а в самой столице, в который я могу прийти как в родном дом, с уверенностью, что мне здесь рады, что от меня здесь ждут новую пьесу и вообще по-свойски ко мне относятся.

И я уже пишу новую пьесу, но на этот раз не торопясь. Постараюсь сделать ее так, чтобы ни режиссер, ни актеры ЗА МЕНЯ не работали, не тащили пьесу, словно воз со щбенкой в гору.

Однажды я посмотрел у ермоловцев спектакль «Играем Стринберга» Дюрренматта. Интересный, крепко сколоченный спектакль, исполнители все на высоте, но вышел я из театра совершенно раздавленный, словно катком меня по асфальту раскатали, ни с кем не хотелось говорить, никого не хотелось видеть, да и жить не очень манило...

«Зачем вы ставите такие спектакли? Разве человеку легко? Разве мало в его жизни мрака, язв, сволочизма, тягот и несчастий?.. Зачем же еще и театр присаливает человеческие раны?..»

Так или примерно так вот напирал я на Андреева потом. Должно быть, напирал не я первый и не я последний.

Веселый человек, умный актер и режиссер, он на ка-

кое-то время грустно стих и, помолчав, спросил, в свою очередь, тоном строгим, непреклонным: «Зачем же вы и ваши товарищи по перу в своей прозе так сурово реалистичны, непримиримы ко злу, а театру что ж, оставляете право только на мишуру и увеселительность? Театр ведь не просто продолжение жизни, он составная часть ее... И какова жизнь человеческая, таков должен быть и театр. Разумеется, необходимость развлекать людей была и остается за театром, но лично я оперетт не ставил и ставить их не люблю и не буду».

Прошлой весной в Варшаве я смотрел в Малом театре «Месяц в деревне» Тургенева и, кажется, ничего еще чище, светлей и возвышенней не видел! И страсти-то, по сравнению с нынешними, игрушечные вроде бы, рафинадные, и далекие все эти «усадебные» драмы от сегодняшних драм, а вот, поди ж ты, не единожды сжало горло, слезы навертывались на глаза во время спектакля, потому что видел я прекрасное! А оно вне времени, оно всевечно, оно всегда высоко, но, чтобы понять, осмыслить и принять в сердце, в самую его глубину это прекрасное, необходимо знать, видеть и чувствовать всю пропасть человеческого падения, обнажать язвы на теле человеческого общества. Прикрытые платьем, пусть даже и модным, язвы не перестают быть язвами, вот почему я понял в конце концов режиссера, поставившего тяжелую, страшную пьесу о людях, гибнущих во зле и алчности, и принял спектакль «Играем Стринберга».

Но в той же Варшаве, в махоньком театре, и не театре вроде бы, а в балагане с названием «Башня под пороховницей» я смотрел какой-то уж совершенно озорной спектакль — «капустник» по мотивам Шекспира, где играли одни только женщины, и мужские, и женские роли, даже осовремененного гомосексуалиста исполняли женщины, да так лихо, с таким задором, что захохотался я до колик. И режиссер театра, даря нашей делегации на память театральные программки, с неподдельным изумлением сообщил, что пробовал вводить в этот спектакль мужчин и ничего, ну, ничего решительно не получалось, спектакль делался вялым, не смешным, и пришлось от такого варианта отказаться.

Словом, оба спектакля, такие разные, такие неожиданные, очень мне понравились, даже как-то и освежили мировосприятие, а вот известный московский театральный критик, ездивший вместе с нашей делегаци-

ей в Варшаву, сказал, что все это старо, скучно и что есть всего два-три режиссера в Москве, которые по-настоящему знают, чувствуют и дают еще что-то уму и сердцу, и в качестве «новаторского» примера привел спектакль «Отелло» в одном из театров, где актер, исполняющий Яго, выходит на сцену на руках — это-де перевернутый мир, мир, видимый глазами злодея...

Когда тебя вот так авторитетно «поучают», чувствуешь себя первоклашкой, который явился в московскую образцовую школу в деревенских залатанных штанах, с сумкой, сшитой из старого бабушкиного фартука, с ручкой, выстроганной из палочки, с привязанным к ней ниткою пером.

По-настоящему культурный человек никогда не допустит, чтобы вы при нем чувствовали себя неловко и угнетались своей «некомпетентностью», — это я уже знал, испытал на себе и возразил московскому критику в том смысле, что, мол, без опары пирог не ставится, а тут «опара-то» не простая, а золотая — Шекспир! У него, насколько я понимаю, никто, в том числе даже злодей Яго, вверх ногами не ходит. Уважать бы надо классику-то!..

«Уважать или раболепствовать?» — «Да, классика потому она и классика, что сама исключает всякое раболепство». — «А поиск? А новаторство? А дерзость режиссера?» — «Так дерзость иной раз состоит в том, чтобы без билета в автобусе проехать, окно разбить, в кастрюлю соседу плюнуть...» — «Это совсем разные вещи. Законы театра требуют непрерывного обновления, движения вперед и поиска, поиска, поиска...» — «Да кто же против поиска-то? Все человечество ищет чего-нибудь и находит: одни — копейку, другие — атомную бомбу. Но все ищут на земле и в земле. Отчего же театр часто ищет в небе? Он что, вне сфер жизни, вне ее законов, что ли?..» — «Как вы не понимаете? Театр обновляется, театр ищет себя нового, неожиданного!..» — «Это неожиданное, когда скоморошество, синевлузия, фольклорное действо, уличное празднество, кабацкая удаль и стилижъя дурь объединены вместе, да?..» — «Но ведь вы приняли спектакль в «Башне под пороховницей»?!» «Это — потеха, забава, не претендующая на обобщения и глобальность. Одно дело, когда делается «по поводу», и совсем другое, когда «всерьез» осовременивают, кастрируют, «переосмысливают» того же Шекспира, Пушкина, Толстого, Достоевского, Чехо-

ва. Даже дописывают за них! Это уже, простите, наглость самозванцев, именующих себя новаторами. Они ставят себя выше классиков, и дело доходит до того, что восстановленный Борисом Бабочкиным текст «Грозы» становится открытием для публики. Оказывается, шедевр великого русского драматурга кого-то не удовлетворял и много лет «Гроза» шла кастрированной, и к ней такой привыкли, ее такую «узаконили» на сцене! Стыдно какой!..»

В споре рождается истина. Бесплодна лишь смерть. Однако спорить в искусстве, я полагаю, надобно самим искусством; в литературе — самой литературой, отвергая, уважать, не бить посуду, не глумиться над противником, как тому я был свидетелем однажды.

Знакомый актер пригласил меня на «приемку» спектакля «Село Степанчиково» во МХАТ. Достоевского я люблю давно и преданно, но на сцене, да еще на такой почтенной, видеть его мне почти не доводилось. Спектакль не просто покорила меня, он меня потряс. Алексей Грибов в роли Опискина творил чудеса, но в театре творилось что-то совсем мне непонятное, дикое: какие-то люди громко изъяснялись, шелестели обертками конфет, хихикали, и не в перерыве, а дождавшись, когда погаснет свет и начнется действие, вставали с мест, хлопали сиденьями и, громко топя, уходили... А ведь в зале-то был зритель не простой — театральный, все по приглашениям. Справа от нас сидела Алла Тарасова, которую я никогда вживе так вот близко и не видел. Она горестно качала головой, на лице ее было страдание.

«Что это они?» — спросил я у своего знакомого. «Демонстрируют презрение к МХАТу». — «Да кто же они такие? Ведь вон Тарасова, вон великие старики актеры всюду. У меня сердце обмирает от того, что я с ними в одном зале...» — «А у этих нечему обмирать! Это околотеатральные мальчики и девочки, делающие вид, что они объелись всем, в том числе и искусством».

Спектакль «Село Степанчиково» шел во МХАТе много лет, с огромным успехом, его не раз показывали по телевидению. Никакие мальчики и девочки не могли остановить жизнь старейшего театра: МХАТ есть МХАТ, Малый есть Малый, Большой есть Большой! Сколь ни грохочи сапогами, они стояли, стоят и, надеюсь, стоять будут «на своем», но я никогда не забуду, как страдала любимая актриса за оскорбление театра, за работу ис-

полнителя главной роли, который, преодолевая шум, галдеж и неуважение оголтелой кучки модничающих молодых зрителей, перенапрягался в своей и без того испепеляющей, страстной работе. И кто знает, может, Алексей Грибов не дожил какие-то дни, недели, месяцы, не доиграл что-то из того, что еще мог сыграть, чем мог порадовать всех нас, его искренних и истинных почитателей, из-за того дня, из-за того давнего спектакля. А ведь, наверное, и на других «приемках» и «просмотрах» бывали такого рода «демонстрации»?

Вот и все, что хотелось мне сказать о том, как я «приобщился» к театру. Но как бы я ни «приобщался», как бы ни сроднился с ним в роли автора, оставался и остаюсь его верным уважительным зрителем потому, что зрительская эта привязанность началась еще в детстве, а далеком, утопшем в снежных забоях, городке, где был уютный деревянный театр, всегда забитый до отказа отзывчивым народом. Театр носил имя Веры Пашенной, потому что она его основала. Своим творческим подвигом и трудом замечательная актриса озарила жизнь северян, живших и трудившихся в суровых условиях Заполярья, подарила людям счастье приобщения к слову, к театральному искусству.

Недаром Вера Пашенная была совершенно «своим в доску» человеком в деревянном городе Игарке, но почиталась как Богиня!

СТРОИТЕЛЯМ БАМа

Обращение к строителям, помещенное в трехтомном издании современной литературы (Хабаровск, б-ка «Мужество», 1977)

Так случилось, что в жизни своей мне довелось больше разрушать, чем строить, — я и воевал в гаубичной бригаде-разрушения! Бывал на лесозаготовках, на сплаве, на разных работах, но все как-то вдалеке, иль, точнее, в стороне от строителей...

Но с детства любил смотреть, как пилят тес, как возводят стены, как «из ничего» возникает чудо, сотворенное человеческими руками, — дом!

Мне уже немало лет, я уже много чего видел на этом свете, синхрофазотрон и синхроциклотрон видел, даже аппараты по расчленению клетки, даже нанесенные на одну пластинку в ладонь величиной кибернетическим способом телевизор и радиоприемник, а в детстве, как

говорится, тележного скрипу боялся. Но запах стружек, мякоть опилок под голыми ногами, гладь оконных подушек, переплеты рам и пустота набувников, в которых, когда их забьют мохом, непременно поселятся воробьи, то есть обыкновенный дом для меня будет вечным и неизменным чудом!

После войны мне и самому довелось «возводить дом» из старых бревен, досок, ржавого железа и битых кирпичей, собирать халупу, ибо с жильем было туго и нам с женою, вернувшимся с войны, попросту негде было жить.

Я рано ушел на войну, жена и того раньше, мы мало чего умели, но, уцелев на войне, жили жадно, радуясь прежде всего самой возможности, счастьем жить, которого так многие лишились. «Свой дом» я строил после работы и колотил молотком чаще по «плотнику», то есть по руке, чем по гвоздю, после чего следовали громкие высказывания, от которых даже вороны отлетали вверх и теща моя, человек тихий, добрый, вырастившая девятерых детей и всего, как говорится, изведавшая, когда ее спросили, что-де за мужичонка на пустыре строится, больно, мол, уж «боевые» у него выражения... постеснялась признаться, что это ее милый зять, и тихо удалилась.

Ну а потом халупа моя сделалась жильем, похожая обликом на меня — это уж непременно! — лишь современные «коробки» похожи друг на дружку, а дома, построенные своими руками, всегда были похожи на «созидателя». Помню по сей час ясно, отратно, как в жилье затопили первый раз русскую печку и оно стало наполняться живительным теплом, уютно сразу сделалось, хорошо, покойно...

Давно я не живу в этом городке. Давно хозяйствует в моей избушке другой человек, но ни о чем так сладко не печалится мое сердце, как о домике, построенном своими руками, и, когда я бываю на Урале, непременно уж пройду мимо «своего домика», подивлюсь, как выросли посаженные мною деревья, порадуюсь тому, что в домике, совершенно уже перестроенном, на «мой» почти непохожем, живет обходный, заботливый хозяин, говорят, знатный сталевар.

Все это я к чему говорю-то? А к тому, что строить, созидать есть большое счастье. Я знаю, что всякое строительство начинается с копания земли, часто обыкновенной лопатой. Мне и моим друзьям по войне много до-

велось копать земли на фронте, если сложить все нами выкопанные окопы, блиндажи, противотанковые рвы и щели, наверное, получится дырка сквозь земной шар. Но никакой радости не доставляла та работа, мы ее прямо-таки ненавидели, да делали, потому что она была необходимой.

Совсем другое дело — мирная работа, мирное строительство, мирная жизнь! Я далек от мысли, что в тайге трудиться лучше некуда и что труд — сплошной праздник (у нас так долго твердили об этом, что иные молодые люди идут на работу как на праздник, а потом у них настроение портится: шли гулять, веселиться, а тут вкалывай до ломоты в костях!). Но все же, строя дорогу, прорубая трассы, возводя поселки, города и станции, вы, сегодняшние строители, оставляете на земле «свой дом», и в нем начнется жизнь, будут рождаться и расти дети, и по железной дороге пойдут поезда, и кто-то куда-то поедет в даль, всегда заманчивую, и, глядя вслед тем поездам, вздохнет бывший строитель и скажет про себя: «Счастливого пути, люди!»

Не знаю, как у кого, а у меня прощальный гудок парохода и уходящий поезд всегда вызывали и вызывают сосущую тоску и зависть к тем, кто куда-то едет. В сорок втором году я работал близ Красноярска на станции Базанха составителем поездов, так мне за каждым составом, мелькнувшим на хвостовом вагоне красными огнями, бежать хотелось. С годами это чувство поослабло, притупилось, года и напряженная работа поугасили мечтательность, но все еще, как увижу уходящий состав, сжимается сердце, рванется вослед ему вечно беспокойная человеческая душа...

Да что же делать? Года, года... Молодость — прекрасная пора, но проходящая. Быстро, к сожалению. Наша молодость осталась на войне в окопах, в бредовых палатках санбатов и эвакогоспиталей. Нам остается лишь по-хорошему завидовать тем, кто так свободно и, надеюсь, разумно может распоряжаться собою, своей молодостью и устройством своей, а стало быть и нашей, жизни, ибо все мы живем в одном обществе и цели у нас едины.

Я долго думал, что же послать в сборник, назначенный для строителей БАМа, и порешил самую мне «родную» вещь, полагая, что у каждого бамовца где-то осталась своя маленькая родина, отчий угол, клочок земли, который его вырастил, с которого и начинается человек.

Кланяюсь вам, дорогие люди, из далекого старинного российского города Вологды, желаю мирного труда, вечной возможности не разрушать, а строить и еще любить то, что всех нас объединяет, то, без чего мы не можем жить, — нашу природу, прекрасную, многотерпеливую мать-землю.

ОТВЕТ В «ПИОНЕРСКУЮ ПРАВДУ»

Дорогая Вера Смирнова!

Сперва договоримся о том, что каждый человек неповторим на земле, а я убежден, что и каждая травинка, цветок, дерево, пусть они и одного цвета, одной породы — так же неповторимы, как и все живое и живущее вокруг нас.

Значит, все живое, в особенности человек, имеет или назначено ему природой иметь свой характер, который, конечно же, развивается не только сам по себе, но прежде всего под влиянием среды, родителей, школы, общества и друзей, кому повезет их иметь, ибо дружба, настоящая дружба — награда человеку редкая и драгоценная, порой она бывает крепче и вернее родственных связей и влияет на человеческие отношения куда сильнее, чем коллектив, в особенности при крайних, бедственных обстоятельствах — с поля боя, рискуя своей жизнью, выносят бойца только настоящие, преданные друзья. У меня они, такие друзья, были на войне, есть и в нынешней жизни, и в литературе, и я стараюсь за преданность платить преданностью, за любовь — любовью. Каждую свою книгу, да и строку каждую, и поступок свой просматриваю и прочитываю глазами своих друзей, в особенности фронтовых, чтоб не было стыдно перед ними за плохо, нечестно или неряшливо сделанную работу, за ложь, за непорядочность.

Добрых людей на свете было и есть и, надеюсь, будет всегда больше, чем плохих и злых, иначе в мире наступила бы дисгармония, он перекосялся бы, как нагруженный балластом или мусором на один борт корабль, и давно бы опрокинулся и затонул.

Нет, я не согласен с тобой, что Горький вырос в основном среди «злых людей». Если бы это было так, то в нашей литературе был бы совсем другой писатель, не страдающий людям, способный на любовь и самопожертвование ради них, воспевающий любовь матери и

нежность к Родине своей. Нежность и любовь его часто отдают горечью оттого, что люди жили да и еще живут некоторые не по сердцу, не по законам и заветам добра, а подчиняясь обстоятельствам, загнавшим их в угол или спустившим на самое дно мерзопакостного быта.

В детстве Горького была рано угасшая мать, самоотверженно и горячо его любившая, беззаветная бабушка Акулина и даже дедушка Каширин, поровний внука «для науки», жалел его и добра желал ему, готовя к суровыми тяжким жизненным испытаниям и труду, которые сам он познал когда-то «на своей собственной шкуре». Иной «науки», иного воспитания дед Каширин попросту не знал. Он, дорогая Вера, жил в другое время и учился жизни совсем не в тех школах, в которых учитесь вы, нынешние дети.

Суровая наука пошла Алексею Максимовичу впрок — малограмотный парнишка с нижегородской ремесленной и драчливой окраины в конце концов сделался образованнейшим человеком и Великим писателем русской литературы, где не так просто было утвердиться и найти свое место — рядом с ним творили и мыслили титаны русской культуры: гений Лев Толстой, «тихий» и проникновенный Чехов, Куприн, Бунин, друг Горького Леонид Андреев и многие-многие другие писатели, мыслители, художники, музыканты, составившие гордость нашей отечественной культуры. А ведь тот же гениальный художник Репин был выходцем из самых нижайших слоев общества и, наверное, много познал зла и оттого научился высоко ценить добро.

Нет людей «без характера», есть те, кого в простолюдые звали и зовут бесхарактерными — это люди, которые всю жизнь ищут места в заветрии, кого, как щепку или бумажку, куда несет ветром, туда они и плывут, и «приплывают» они чаще всего или, точнее, прибывает их к тому берегу, где не надо ничего делать, а только тешить себя ленью, ждать, когда заработают и принесут хлеба кусок другие люди, и еще обидятся, что хлеб черствый. Очень часто эти безвольные люди страдали и страдают от бездумья и безделья, тревожатся только о себе, ищут забытья в вине, попрошайничестве, а то и в воровстве, постепенно забывая все, чему их учили дома, в школе, теряя и свой человеческий облик, озлобляясь и скатываясь в число преступников или отверженных, никому, даже близким своим, не нужных.

Конечно же, многое в формировании характера за-

висит от окружения, от общества, но влияние его бывает неодинаково на каждого человека. Очень часто случается, что в так называемых «неблагополучных семьях» вырастают «неблагополучные» дети, но я знаю множество людей, которые в детстве насмотрелись на разгул и разгильдяйство родителей и никогда и ни в чем не подражали им, наоборот, уносили неистребимую ненависть на всю жизнь к вину, сквернословию, хамству, побоям, дракам, хотя побороть дурное влияние их как не просто и сложно, требуется большая сила воли, внутренняя дисциплинированность и даже мужество, чтоб быть полноправным гражданином своего общества, а не отщепенцем, наплевательски относящимся ко всему, что есть святого и ценного вокруг, даже к своей собственной жизни.

Один путь у человека, во все времена открытый к самоусовершенствованию, — это неустанное пополнение знаний, расширение жизненных интересов. Человечество накопило не только много смертоносного оружия, и страницы истории его залиты не одним только красным цветом крови и соленым морем слез, человечество в муках, неся неисчислимые жертвы, страдая, творя подвиги на пути познания мира и себя, накопило бездонный клад сокровищ искусства, литературы, им сделаны невероятные открытия в науках, сулящие людям избавление от голода, болезней, горя. Осуществилась вековая мечта человека — он вырвался в Космос и готов к изучению мироздания, глубин океанов, продвижений вперед и выше.

Из-за нависшей угрозы войны, из-за постоянной занятости, мне кажется, мы еще не успели осознать, что наделали, каких вершин достигли на исходе двадцатого века.

Вам, нынешним детям и молодым людям, надеюсь, выпадет счастье перевалить в третье тысячелетие, открыть новые миры и, быть может, отыскать в бесконечности мироздания обжитые планеты. Но не думайте, что все это делается само собою, без труда и напряжения.

На уроках истории в школе, наверное, вам говорили, как панически боялось тогда еще разбросанное по материкам и континентам, разъединенное, еще невеликое человечество приближения второго тысячелетия: люди ждали пришествия Христа и страшного суда, а затем и конца света, перестали учиться, строить, ухаживать за

землей и жильем, выращивать урожай, разводить скот... Не утратили они лишь одно ремесло — виноделие, много пьянствовали, развратничали, иные племена целиком разоружились, потеряли способность защищать себя и добывать пищу охотой и рыбной ловлей, подались жить в пещеры...

Почти на пятьсот лет отбросило себя человечество назад, почти четыре века потребовались ему для того, чтобы «восстановить память» — научиться строить дома и корабли, восстановить морские и сухопутные пути, возобновить путешествия и торговлю. На исходе пятого века Магеллан совершил кругосветное путешествие — человечество встряхнулось, как бы очнувшись от глубокого обморока, — и началась эпоха Возрождения.

Мы делаем и делаем все, чтобы вы, нынешние наши внуки, вступили в третье тысячелетие с достоинством разумных существ, помнящих, что ради вашего светлого будущего многие люди не доучились, не добрали в области культуры, не дожили положенного земного срока из-за лишений, ран и трудовой надсады.

Если вы поймете это, главное, что мы жили, боролись и, стиснув зубы, перемогали голод и холод, боль от ран ради вас, вам уже будет проще с открытым сознанием жить, бороться и работать на земле.

Конечно же, дуракам всегда жилось и живется легче, да не соблазнит вас эта «легкость», не захочется вам подражать и дуракам, и тем, кто, не читая книжек, покушает их ради украшения квартиры, кто цепляет на себя побрякушки и похваляется дорогими тряпками, умением с шиком курить и пить под лестницей — жизнь человеческая очень еще коротка, чтоб ее тратить на безделушки. Каждому человеку есть место на Земле для приложения сил его и знаний, а в деле, в непрестанном поиске и движении — высший смысл жизни, и тут уж как-то «незаметно» сформируется характер, затем личность, а она, личность, никогда не была и не будет подвержена отравляющей ржавчине вещизма, зависти, злобы и ненависти. Она, личность, на то и существует, чтобы облегчить страдания другим людям, отдать им все свое, вплоть до жизни.

Ты спросишь: а есть ли сейчас вокруг нас такие вот великие и простые, как хлеб насущный, люди?

Вот первые, кто пришел мне на память сейчас, когда я заканчиваю эту заметку, — великий хлебороб, мудрец земли русской Терентий Семенович Мальцев; хирург

и ученый, делающий операции на маленьком детском сердечке и не одну уже жизнь, а тысячи жизней спасший, — Владимир Александрович Белаковский; маг и волшебник из города Кургана, исправляющий кривые позвоночники, горбы, неправильно сросшиеся кости, на третий-четвертый день ставящий больных на ноги после тяжелых переломов, умеющий удлинять или укорачивать рост человека, этаким добродушный и великий страстотерпец нашего времени — Гавриил Абрамович Илизаров. И многие-многие другие наши современники, которых назовет вам газета, назовут папа с мамой, а если вы хорошо посмотрите вокруг, то и возле себя обнаружите их, наших беззаветных тружеников и воинов.

Вот у них надо учиться умению трудиться, молча страдать, делать добро, не ожидая, что тебе за это «что-нибудь дадут». Я видел в клинике Илизарова, как смотрели на него исцеленные им больные, и, думаю, что эти взгляды, безмерная любовь и благодарность, светящиеся в них, — есть самая высшая и прекрасная награда. И все эти люди, мною названные и не названные, обладают большой внутренней культурой, они — профессионалы в высоком смысле этого слова, но еще и очень начитанные, компанейские люди, просто и с чувством собственного достоинства умеющие держаться в любом месте, в любом обществе, в том числе и за рубежом.

Может быть, кто из старших напомним древнейшую мудрость, что-де «многие знания умножают скорбь». И это так: высококультурный, организованный человек все в мире, начиная от дикого животного, нарядной певчей птицы, живого цветка, речного или морского пейзажа, воспринимает глубже и тоньше, и музыку и живопись, и литературу; горше и больнее переживает потерю не только близких своих, но и тех, кого пытались и не смогли спасти. Я видел не просто седую голову академика Белаковского, а как бы уже по второму и третьему разу начавшую покрываться инеем, и думаю, что, делая операцию на маленьком детском сердечке, с врожденным, допустим, пороком, он делает надрез прежде всего на собственном сердце, и ему больно так же, а может, еще больнее, как и ребенку, которого он всем своим умом, всеми накопленными знаниями, всем опытом, всеми силами и мужеством, какие у него есть, старается не просто вернуть к жизни, но вернуть обязательно здоровым, веселым, счастливым.

Внешне же этот большой человек с грустными гла-

зами приветлив, весел, по южному складу характера гостеприимен.

Вот это характер! Это жизнь! Это Человек с большой буквы! А уж как он обрел такой характер, сделался таким человеком и специалистом, зависело и от его родителей, и от школы, и от коллектива, где он учился, работал, но более всего зависело это и зависит от самого человека. Распорядиться с толком жизнью — это главная наука, очень непростая.

Учиться можно и нужно ежедневно и ежечасно, начиная от того, что зовем мы природой, и кончая книгами, которые ныне есть почти в каждом доме, только спать надо по четыре-пять часов, как доктор Илизаров или хлебороб Мальцев, особенно в молодости, — молодые люди, спящие помногу, как старики, не знающие, куда девать себя и свое собственное время, на мой взгляд — люди неполноценные.

ВИВАЛЬДИ ЗА ПЯТАК

Я расскажу вам сказку самую-самую архисовременную.

В некотором царстве, но в нашем государстве было много-много книжных магазинов, и в них было много-много книг, и в иные из магазинов, точнее, во многие-многие никто не заходил и ничего не покупал, разве что утащат когда из завалов трудящиеся или учащиеся книги и тем внесут оживление в монотонную жизнь книготорговой сети.

И ведь не сто, не двести лет назад было, а совсем-совсем недавно. Помню, после исторического Читинского семинара ездили мы писательской бригадой по глухим районам Читинской области и книгоман Илья Фояков затащил нас в Петровском заводе в книжный магазин, заваленный и заставленный от полу до потолка книгами, так продавцы сперва напугались, думая, что мы — комиссия какая высокая, а узнав, что не комиссия, обрадовались.

Я купил в том магазине редкую книгу — «Записки охотника Восточной Сибири» Александра Черкасова. Фояков тоже чего-то купил, потоньше и поукладистей — чтобы легче таскать, а остальные члены бригады ограничились листанием и просмотрением книг.

Но в Петровском заводе магазин-то хоть походил на магазин, чаще нам встречались и вовсе всеми забытые

и заброшенные избы где-нибудь в глухом закутке райцентра.

Совсем в другом конце страны единожды оказались мы другой бригадой, мы — это покойный Николай Рубцов, вологодский поэт Виктор Каратаев и я, в недалеком от областной столицы, далеко не самом глухом райцентре — и давай искать книжный магазин. Нашли. С трудом. Смотрим, женщина на крыльце пригорюнившись сидит. «Чего, — спрашиваем, — сидишь-то?» — «А меня книжки сюда вытеснили. Негде уж от них ступить. Которые дак плавают. Затопило мою лавку».

Кое-как пробрались мы меж книг и по книгам в «лавку». Боже ты мой, какое кладбище книг нам явилось! Которые книги уж заплесневели и сопрели, которые плавали пачками, которые как попало на грубо сколоченных полках лежали и стояли.

Пригляделись, И вот уж сказка так сказка! Пяти томник Бунина как поступил, так никем и не открывался. Синий том избранных произведений Булгакова, Платонов полным набором. А там, тускнея золотом, томится библиотека приключений, серийные, подписные, тонкие и толстые, отечественные и иностранные, нарядные и серые, дорогие и дешевые — все в куче, в свалке, в погребельной неразберихе. И перед этой свалкой подавленная, тупо равнодушная ко всему, «хозяйка», у которой никто ничего не покупает, разве что летом какие-нибудь забеглые туристы и отпускники чего прихватывали на бегу, да и то больше из уцененных по три и по четыре раза книг, можно сказать, почти задарма.

Помню книжные базары того, сказочного времени. Книг навезено на городскую площадь или в центральный магазин — горы, и к ним, ко книгам-то, авторы приставлены — содействовать, значит, книжной торговле и успеху современной литературы.

И я ставал. И надо мной красовался плакат с крупно написанными словами: «Праздничный книжный базар», с обязательным умным изречением какого-нибудь классика, чаще всего Максима Горького, который когда-то заявил, что всем хорошим, что в нем есть, он обязан книге.

Стоишь, стало быть, если летом — преешь, зимой — стынешь возле своих книг, перед тобой советские покупатели ходят туда-сюда и ничего не берут, иные полистают книжку, со вздохом сожаления глянут на тебя и отойдут. Но ведь у нас есть граждане обоего пола, ко-

торые непривычны сдерживать свои эмоции, более того, они эти свои эмоции так высоко ставят, что непременно несут их на свет, на люди и, полиставши книжку твою и при тебе, такой вот эмоциональный читатель и покупатель, глядя поверх твоей головы, вроде бы в пространство бросит: «Написал какую-то ерунду и всучить пытается! А никто и не берет. Х-хы».

А ты ж художник, инженер человеческих душ, обостренно чувствующий действительность, понимаешь, что это не в пространство, в тебя выстрелено — и так заноет сердце, так потянет сбечь с этого базара. Но сдерживаешься, дюжишь, на часы поглядываешь, конца культурного мероприятия ждешь.

Но тут, оживляя мероприятие, пойдет по рядам меж книг массовик-затейник от книготорговли, чаще всего зав. магазином, которому терять нечего, но приобретет он все, если сбудет книги и выполнит план книготорговли. И начнет он агитационно-рекламную работу: «Товарищи! Товарищи! Не проходите мимо! Вот книжка о передовых металлургах. Обгорел, понимаете, металлург, а трудящиеся, наши передовые трудящиеся ему кровь и кожу... Спасли, понимаете! Героя спасли! А как же? Человек человеку... Вот и автор тут! Сам! Живой. Наш, можно сказать, ну пусть не Пушкин и даже не Тургенев пока — но на Глеба Успенского уже тянет. Он вам автографик, автографик...»

Стоишь вот так, бывало, за прилавком, ждешь дорогого покупателя да и затоскуешь: «Э-эх, пошто я на сплав не пошел — от людей далеко, заработка приличная и природа, опять же, кругом... Занесло оглоеда в писатели. Во-он их сколько, писателей-то, и все пишут!..»

Ничего в этой реалистической картинке, в этой сказочке не ложь и не обман и никакого намека, но урок добрым молодцам — книголюбам хороший! Признаться, я иногда испытываю здоровое чувство злорадства, видя, как те же покупатели, которые куражились когда-то над книгой и над живыми писателями, что змен горынычи, мечут огонь из ноздрей, топчут друг друга в очередях, бегают по магазинам, ищут «тайные ходы», чтобы добыть книгу, руки готовы целовать автору, который подарит им книгу, да еще с автографом. Это называется фе-но-мен! А по мне так просто погода переменялась и ветер «моды» подул в «книжную сторону».

Тут бы мне сказку и кончить, да жизнь-то уж очень многообразна и нет-нет да и заявит о себе с какой-то совершенно неожиданной стороны, и так-то тебя удивит или огорошит, что невольно возьмешься за перо, чтобы не томиться мыслями и не кипеть в одиночестве.

В шестидесятых годах, в начале их, я хорошо приспособился покупать пластинки в московском магазине «Военкнига», который был на Арбате. Никто тут пластинками не интересовался, а были там навалом музыкальные шедевры, на любой вкус, возраст и сословие.

Но ничто не вечно под луной! Магазин этот на Арбате снесли. Учеба моя в Москве кончилась. Загоревал я, да недолго длились мои печали. Заглянул как-то в провинциальный, бодрой музыкой гремющий магазин и зрю картину: с одной стороны народ толпится, к прилавку ломится, а в другой половине никого нету, один лишь какой-то малокровный очкарик уткнулся в списки, написанные от руки, приколотые к стене, шевелит губами, пытаюсь разобрать написанное. Скоро я выяснил: где народ неистовствует и одежды друг на друге рвет, там продают Пугачеву, Ротару, Кобзона, Лещенко, молодого да раннего Гнатюка, разные ВИА, ТРИО, «машины», «гитары» и т. д. и т. п. А с той стороны, где мучается малоденежный, судя по одежде и смирному поведению, очкарик, читающий с ошибками написанные трудные фамилии разных там Генделей, Гайднов, Шуберта, Шопена, Берлиоза, Чайковского, Глинку, Мусоргского, Шаляпина, Обухову, Марио Ланца, Джилини, Ренату Скотто и т. д. и т. п., — с той стороны все спокойно.

Очкарик вдруг ужаленно вскрикнул, покрыв разнообразный рев современной музыки своим тонким голосом, и метнулся к кассе, вконец перепугавши миротворно дремавшую кассиршу, на ходу выгребая из карманов мелочь, рублишко скомканный добыл и, словно в бреду, все повторял и повторял: «Нашел! Нашел! Столько лет искал!..» И ушел из магазина, прижимая к груди пластинку. Кассирша сказала, пожав плечами, скучающей продавщице: «Чокнутый какой-то!»

В том магазине далекого областного города хранились, точнее сказать — томились, кисли музыкальные клады, глаза разбегались от изобилия скопившейся музыкальной продукции. Помнится, все деньги, какие были при себе, я ухлопал на покупки, и когда стал платить в кассу, то кассирша в чем-то засомневалась и

крикнула продавщице: «Софочка! Софочка! Тут никакой ошибки нету?» — «Нету, нету!» — ответила Софочка — и вижу я в зеркальном отражении стекла — огорожи кассы — вертит пальцем у виска, дескать, дядя с «приветом», тоже чокнутый, как и тот очкарик, который только что удалился.

Город тот и магазин вызнали москвичи и ленинградцы, летом наезжают в него и раскупают бесценные по содержанию и очень доступные по деньгам пластинки классиков мировой музыкальной культуры.

Ну, а как быть с теми городами и магазинами, куда столичные гости «не достают», где нет консерваторий, музучилищ, театров, где так называемая «культурная прослойка» столь тонка, что сквозь нее все ветры дуют и ничего в ней не застревает, кроме дешевой маскарадной мишуры и модной, блестящей пыли.

Побывавши у меня в гостях и послушав пластинки, которые я с такой радостью приобрел и которыми гордился один секретарь райкома, совсем не отдаленного и не маленького района, сказал: «В другой раз не траться. Приезжай к нам и эти самые пластинки купишь за пятак».

И я поехал, и купил по два, по три раза уцененные пластинки, а был там не только Вивальди, но и Бах, и Глюк, и Бетховен, и хоралы Бортнянского и Березовского, и старинная клавесинная музыка, и орган, и скрипка — все великие композиторы и музыканты доведены до цены в пять копеек, и все равно пластинки никто не покупает и никто никакого интереса к ним не проявляет и стыдом не мучается.

«Хранить пластинки у нас негде, — чуть не плача, говорит заведующая раймагом, которой «навязали» — она так и сказала — «навязали» всю эту «музыку», — потому что специально открытый в городе музыкальный магазин «прогорел» и никакого от него дохода не было. А пластинки ломаются, гнутся, портятся. Среди них есть ведь такие, которые в крупных городах, подика, ищут?..»

Да, ищут. И часто найти не могут. Это извечные парадоксы нашей торговли: валенки везут в Таджикистан (сам видел их в Душанбе), куртки «на рыбьем меху» — в Сибирь, книги по производству кукурузы и инжира — в Магадан, наставления по пастьбе оленей — в Молдавию.

Книги и музыка — товары деликатные, тонкие, и

продавать их, наверное, надо уж если не деликатно, то хотя бы уважительно и умело, чтоб не заявлял продавец в ответ на вопрос о книге или пластинке: «А я не знаю. Я в этом деле не волоку». В большинстве стран социалистического содружества в книжные и музыкальные магазины людей без специального образования не направляют, и чаще всего такой образованный специалист управляется в магазине один. У нас же зачем-то бригады, толпы продавцов в пустых книжных магазинах, и все они, как правило, «не волокут».

Радоваться бы, конечно, надо, что книга ныне нарасхват, да что-то не очень радостно от этого «бума». Истинные читатели, как и вообще культурные люди, во все времена в толпу с кулаками не лезли и не лезут, за книгу и за себя не умели и не умеют биться, боковых и «черных» ходов не знавали и не знают, на черный рынок у них денег не хватало и не хватает — вот и стоят в стороне, вздыхают, ноют, жалуются. Барыга тем временем ломится к прилавку, мнет интеллигенцию, к заднему ходу «блатняк» крадется, и в том самом районе, где книги плавали в гнилой воде, секретарь райкома и предрика после рабочего дня сидят и маракуют, как распределить по городу и району шесть подписок на Пришвина: себе две — это само собой разумеется, редактору газеты непременно, иначе продернет за отставание в уборке урожая. Завмагу отдай, обществу книголюбам, заслуженному ветерану войны и труда... «Слушай, — говорит секретарь предрику, — и откуда у нас столько книголюбам объявилось?! Всего какой-то десяток лет назад не то что на Пришвина, на Пушкина и на Толстого подписываться не хотели. Помнишь, мы специальным постановлением обязывали нашу районную интеллигенцию обзаводиться книгой и даже читать...»

Сказку, как и положено у нас заканчивать, заключаю бодрым, реалистическим возгласом-призывом: «Товарищи любители классической музыки! Напоминаю вам, что жизнь многообразна и повороты ее часто бывают непредвиденны — вдруг по нашей необъятной стране объявится необъятное количество меломанов! Что вы со слабыми кулаками и маломатерьяльными связями будете делать тогда? Куда подадитесь? Кому станете жаловаться? Нам когда-то показалось же тяжелым делом везти из Читинской области книжки, а вот молодежная наша делегация не сочла за труд тащить наши отечественные книжки с молодежного фестиваля,

проходившего на Кубе, потратив на них скромные свои валютные средства. Не пришлось бы из Испании или из Португалии, а то и со Шпицбергена везти те самые пластинки, которые сейчас валяются в пыли типовых бетонных раймагов».

БЕРЕГИТЕ!

В жизни труд — всему голова. И в любом труде, даже самом незаметном, есть поэзия, но слово это слишком громкое и слишком часто ныне употребляемое, и поэтому я бы просто сказал: интерес — в труде. А раз так, то интерес этот пробуждает в человеке любопытство, доброту и уважение к людям, для которых и делается любая работа.

Казалось бы, что интересное может быть в работе колхозного птичника, в самом птичнике, где куры, петухи, перья и тяжелый запах? Но однажды занесло меня случайно на колхозный птичник, посмотрел я, послушал и изумился — как тут интересно!

А интересно было оттого, что человек, работавший здесь, делал свое дело с любовью, и этой любовью как бы наполнялось все вокруг. И я тоже проникся уважением ко всему, чем жил тот добрый, смешной и хороший человек — дядя Кузя с колхозного птичника, и мне захотелось, чтобы и другие люди полюбили его и помнили, что всякий труд человеком красен, человеком освещен, и неразделимы они: человек и труд.

Есть еще в этой книге рассказ «Васюткино озеро», судьба которого любопытна.

В городе Игарке в тридцатые годы преподавал русский язык и литературу Игнатий Дмитриевич Рождественский, известный потом поэт-красноярец. Преподавал он, как я теперь понимаю, свои предметы хорошо, заставлял нас «шевелить мозгами» и не слизывать из учебников изложения, а писать сочинения на вольные темы. Вот так он однажды предложил написать нам, пятиклассникам, о том, как прошло лето. А я летом заблудился в тайге, много дней провел в ней один, и об этом обо всем написал. Сочинение мое было напечатано в рукописном школьном журнале под названием «Жив». Много лет спустя я вспомнил о нем, попробовал восстановить в памяти. Так вот и получилось «Васюткино озеро» — мой первый рассказ для детей.

Рассказы, включенные в эту книжку, написаны в раз-

ное время. Почти все они о моей родине — Сибири, в них далекие уже детские воспоминания, которые, несмотря на трудное время, все-таки остались удивительно светлыми.

Я писал о природе и для детей, и для взрослых. Мне хотелось внушить людям: все, что окружает нас, — от зеленой травинки, малой беззащитной птахи, таежного зверька, хлебного поля, неба, дающего нам возможность дышать, солнца, согревающего нас, — все-все есть часть нашей жизни, то есть и нас самих, потому что человек — дитя природы и, как дитя родное, должен относиться к своей матери-Земле, ибо мы ее сердце живое и она в нашем сердце жива и вечна, без нее нам не прожить.

Земля уже нуждается в нашей помощи. Нам, людям, уже пора не только рубить, а и садить, нам уже не надо хвастаться тем, что мы — покорители природы, нам пора называться хозяевами своей земли.

В Томской области, в одном из районов, я видел среднюю школу, стоящую в кедровом бору, — откроют в перемену ребята окошки и могут рукой потрогать ласковую, пахучую лапку кедра, в конце лета сорвать с нее шишку и пощелкать очень вкусных кедровых орешков, которые так любят сибиряки.

Так вот, весь этот бор посажен и выращен учащимися школы. Из класса в класс, из поколения в поколение переходила работа и забота о кедрах учащимся всех классов.

Осенью ребята собирают уже не в бору, а в пришкольном кедровом лесу шишки, ягоды, семена и сдают их в лесхоз за деньги. На деньги, заработанные собственными руками, приобретают для школы инвентарь, наглядные пособия и, если идут в поход, не просят у родителей средств на пропитание, на походное снаряжение. С детства приучая себя к самостоятельной жизни и труду, они и в походах умеют все делать и быть самостоятельными.

Ах, как бы мне хотелось, чтобы возле каждой нашей школы зазеленели боры и дубравы, чтобы дети не только учились грамоте, но и труду с раннего возраста, видели бы и знали, как выращивается хлеб, картошка, всякие другие овощи, как птички малые высиживают и выкармливают своих птенцов, как непроста жизнь в лесу, в воде, в воздухе, где обитают братья наши мень-

шие, нуждающиеся порой не только в помощи, но и в защите человека, в том числе и вашей, ребята.

Вы ведь тоже станете взрослыми, и все, что есть на земле, и сама земля достанутся вам в наследство — берегите землю, тогда и себя сбережете, и любовь свою ко всему живому и цветущему на планете нашей, и эту любовь свою передадите дальше, в будущее.

Берегите!

Берегите всегда и всюду, и везде, вечно берегите мир наш подоблачный и живую жизнь.

Первостепенная задача писателя —
попытки в своем деле, чтоб вернее
забыть.

КАК ТОТ ЗАРЕЧНЫЙ ОГОНЕК

Не большая и не маленькая река Сейм, то округляясь на травянистых плесах, то хлопая лопухами и дбля гибкие иглы хвощей, катилась в горловинки и даже пошумливала. Вода в ней желтовато-серая с фиолетовыми разводами у берегов и возле ошипанной гусями осоки. И эта вот осока, шириной в два пальца, кинжально торчащая у берегов и по-ужинуму щипящая, только и поражала мое воображение, да еще гуси, которых тут бродили тысячи, если не миллионы. Дерзкие, драчливые птицы, привыкшие трудом, а то и разбоем промышлять себе пищу, точно ведающие, что за каждую из них полагается большой штраф, если шофер раздавит, и потому надменно, как московские пешеходы, ведут они себя на дорогах. Не знаю, что такое курский соловей, — не слышал, но курский гусь — это фигура!

Гуси были уже тяжелы — истекал срок их жизни, или, как выражается один мой знакомый, «наступал конец пределу». Сожженный жарою и задушенный пылью, падал с кустов осенний лист; объятый клубом земного праха, как подбитый танк дымом, двигался по полю трактор с картофелекопалкой, мчались машины на спиртзавод, соря по дороге бурьяками и картошками; вддали виднелся перелесок, над которым висело не утомленное, а прямо-таки уморенное солнце; обшипанные, объединенные и загаженные гусями и утками берега Сейма пустынные и тихи, лишь вяло гонялись над водою за мошками ласточки-береговушки да где-то за поворотом реки председательским голосом орал на всю округу петух.

Избалованного броской, поражающей глаз и воображение красотой Сибири, меня угнетала эта изработан-

ная, заезженная, искорчеванная земля, на которой и присесть-то негде, попить водицы невозможно, потому что по реке гнало тучи белого пера, а в воздухе неотступно висел запах гусиного помета. Все больше и больше дивился я тому, что идущий со мной рядом друг мой говорит об этой земле растроганно, и не говорит, а прямо-таки поет немножко носовым, неторопливым голосом, и так поет, ровно уж и нет краше земель на свете, чем курская. Большое и доброе лицо его как посетила блаженная улыбка, когда мы вышли из поезда, да так и не сходит.

Мы часто повторяем по делу и без дела: «Любить землю», «Любить Родину», — а может быть, чувствовать, ощущать, как самого себя, а? Если любовь можно привить, укоренить и даже навязать, то чувства и ощущения передаются лишь по родству, с молоком матери, редкой лаской отца, когда опустит он тяжелую ладонь на детскую голову, и притихнешь под ней, как птенец под крылом, и займется сердчишко в частом, растроганном бое, и прежде всего в матери, в отце ощутишь Родину свою. А уж какая она, эта Родина, — все зависит от того, какие чувства перенял ты от родителей. В голлой пустыне живут люди, и в тундре живут люди и любят ее так же, как люблю я свою диковатую и прекрасную Сибирь, как любит работающую, пожалуй что уж, усталую от трудов и набегов пристепеную Русь мой друг, не громко, но так проникновенно поющий о ней вот уж почти двадцать лет.

Поднимаясь по Сейму, дошли мы до крутых холмов. Берега здесь сделались чище, приветливей, в заводях поблескивали уже чернотой берущиеся листья кувшинок и лилий — одолень-травой назвал я их, и лицо моего друга помягчело еще больше — звучные русские слова для него самая сладкая музыка. Мы нашли тенистое местечко у реки, сели под кустами возле деревянных мостиков, оплесневелых от воды.

Солнце уже скатилось за холмы, перестал пылить трактор в полях, последними рейсами прошли машины, медленным белым войском наступали на прибрежные села цепи гусей, над головами нашими бумажно хрустели и падали в воду листья.

Мой друг сидел возле реки, голый до пояса, черпал воду большой, как лопата, ладонью и припивал ее, откусывая от горбушки ржаного хлеба. С язвой желудка не надо бы, пожалуй, грубый-то хлеб да с сырой водою,

но раз в охотку, значит, и впрок. То сближаясь остро, то расходясь, двигалась раздвоенная осколком лопатка. Ниже, наискось по спине, идет еще один шрам, рука тоже побита — ровно кто-то выхватил из этого могоучего тела жадными зубами куски мяса, и у живого тела едва хватило сил и материи затянуть эти жуткие, провально темнеющие шрамы с желтой безволосой кожей.

Мой друг — человек не то чтобы не разговорчивый, а скорее застенчивый, сдержанный по природе — может иной раз много, хорошо, даже потешно говорить. Редко, правда, по настроению. И от выпивки ли, от благи ли наступающего вечера он говорил и говорил чуть носовым голосом, и кажется, совершенно не замечал, что буханка хлеба, которую он потреблял с родной тепловато-мутной водицей, идет к концу и вообще о ночлеге пора бы подумать — осень все же, прохладой вон из кустов на спину понесло. Но я не останавливал его — уж очень редко ныне доводится нашему брату так вот побыть вдвоем, вдали от суеты и шума, да и поговорить ни о чем и обо всем сразу, без раздражения, тихо-мирно, не следя напряженно за строем речи и не умничая.

Мой друг говорил о том, как однажды подстрелили они с сыном здесь, на Сейме, одиноко плавающую гагарку. Взяли и подстрелили, потому что ружье было с собой. Гагарка жила с перебитым крылом дома, ее подлечили и выпустили, да все равно, наверное, погибла северная птица, каким-то ветром занесенная на курскую реку Сейм; говорил, как бы извиняясь передо мною, мол, рыбалка на Сейме сделалась никудышной — вполне может быть, что мы ничего не поймает; вспомнил о Вологодчине, где жил он однажды летом в гостях у друга в деревне Тимонихе. Вот где рыбалка — знай таскай! Не сказал он мне, да и не любит о том говорить, что привез с Вологодчины добрые ясные воспоминания, из которых родился затем один из лучших его рассказов «За долами, за лесами...».

Вечеру, когда уже забусила сероватая осенняя темь из-за холмов, доевши булку хлеба и ублаженно дымя сигаркой, он начал вспоминать о войне. Доподлинный окопник, рядовой боец, он не любил говорить о ней, как не любят говорить о своем деле настоящие охотники или мастера какого-либо ремесла. Раны бойца больше и сильнее скажут о войне. Нельзя всеу трепать святые

слова. А может, не говорит еще и потому, что многовато развелось у нас тех, кто болтовней о войне зарабатывает себе положение и лепит карьеру. Как бы они, эти, много о войне говорящие, ни избегали неправды, все равно врут, чего-то присочиняют. А врать о войне, как, впрочем, и плохо писать о страданиях народа, — стыдно. Вот потому-то, наверное, опасается впасть в сочинительство мой друг. Мастер и труженик прозы, он знает, что память погибших друзей можно оскорбить неловким словом, корявыми мыслями. И готовится, как мне кажется, напряженно внутренне готовится писать достойно и с достоинством о самом великом, что было в нашей жизни, — об Отечественной войне. Мне понятны его осторожность, трепет и уважение к памяти погибших — он воевал в расчете пятидесятидвухмиллиметровой противотанковой пушки, самой опасной на прошлой войне (пушки на войне, как и должности, тоже бывают разные!). Артдивизион отбивался однажды от наседавших фашистских танков, выкатив орудия на полотно железной дороги.

И если бы не это полотно!..

Автоматчики в потемках подобрались к пушкам, начали косить расчеты, танки сделали бросок, в упор, одно за другим сбивая орудия с полотна. Сколько-то человек скатились по насыпи, и полотно закрыло их от танковых гусениц и пулеметов. Кто-то отстреливался, кто-то полз, волоча за собой кишки, кто-то кричал: «Не бросайте, братцы!» — и хватался за ноги; кого-то тащил мой друг, потом кто-то волоком пер по земле его, и, когда останавливался передохнуть, друг мой явственно слышал, как журкотит где-то близко ключик, и ему нестерпимо хотелось пить, и не понимал он, что этот невинный, поэтически звучащий ключик течет из него по затвердевшей тележной колее, лунками кружась в конской ископыти...

Будет госпиталь, и не один, будет много дней и ночей одинаковых, как комариная нудь, будут страдания, будет День Победы, который он встретит на казенной койке, и дадут ранбольным по стакану вина в честь этого долгожданного праздника, и останется он незабываемым, этот праздник, и однажды друг мой расскажет о нем, и будут плакать люди, пережившие войну, читая рассказ «Красное вино победы».

Наше поколение не избаловано радостями жизни. В тяжкие послевоенные годы почти нетрудоспособный

молоденький бывший солдат вдруг получит посылку из своей артиллерийской части — костюм, ботинки да кое-какие вещицы, так необходимые и драгоценные в ту пору. Видно, хороший был солдат, коли помнил о нем командир полка и не просто письмо одобряющее прислал, а нарядил парня, будто ведал, что ему и поухаживать за девчонками не в чем.

Был еще праздник — взяли в газету работать, сначала цинкографом, затем художником-оформителем, а после уж и на должность литработника перевели.

Рождение детей, первая книжка, встречи с немногочисленными друзьями, вылазки на природу.

А ведь не так уж и мало!..

Мерцает в темноте Сейм и колышет отражение редких огоньков села, рассыпавшегося по холму, закручивая их пружинками, размазывая по плесу, а то бросая остренько и лучисто в нашу сторону. Не слышно птиц, не плещет рыба, лишь мягко шелестят отволгшие в вечерней сырости листья над головой.

Замолк мой друг, выговорился, облегчил душу, слушает свою по-осеннему притихшую землю. Какие воспоминания тревожат его? Какие звуки рождаются в его душе? Какая песнь там начинается? Разве узнаешь! Есть тайна таланта, никем еще не угаданная, не поддающаяся объяснению, а тем более понуканию.

Когда молчит художник — не мешайте ему. Может быть, он думает в эту минуту о себе, может, обо всех нас, может быть, страдает живым и горюет о мертвых. Всякое таинство, тем более таинство творца достойно уважения хотя бы потому, что пока оно нам неподвластно и недоступно, а значит, глубже и сложнее нашего незрелого, но чрезмерно самонадеянного времени...

Я говорю это прежде всего для тех, кому все ясно на этом беспокойном свете и кто с легкостью необыкновенной, а порой и с напором, достойным лучшего применения, подает нам советы, бросает боевые призывы, как писать и о чем писать...

Утром шумел ветер и гнал над рекою листья, кружил перо и мусор по дороге, потом пошел дождь — и курская земля сделалась разом схожа со всеми землями, какие доводилось мне видеть в непогоду. Помните у мудреца Толстого? «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья — несчастлива по-своему». А с землями — наоборот: в мирные,

солнечные дни все они разные, в ненастье и в войну — одинаковые.

Мы торопливо шлепали по лесу, такому густому, что под ним не росла трава. Вышли к какому-то пруду и, дурачась, мокрые, поплавали под дождем на затопленной лодке. Бросали спиннинг — ничего не попало. Потом заблудились на территории какого-то пионерлагеря, уже пустого и безголосого. Сторож, бдительно следивший за нами, охотно рассказал, как короче пройти к станции, и даже ржавый замок на калитке услужливо открыл, чтобы мы поскорее убралась.

За сосновым бором на низкотравной полянке полосами стелилось белое перо — начался ежегодный, никем пока не объясненный падеж молодых гусей. Видно, не сулил бог дожить им до праздника. На этой поляне друг мой наклонился и сорвал какую-то былку с махонькими спекшимися цветками и поднес к моему тугому носу:

— Чуешь, как пахнет?!

Я понюхал. Полузасохшая былка, на конце окропленная цветочками величиной с самую малую букашку, источала все дивные запахи этой засыпающей на зиму соловьиной земли, и главный из них, не растраченный в засушливое лето, запах молодой, еще влажной, силу набравшей весны.

— Чебрец! — сказал мой друг. — Как в Сибири зовут?

— Богородская травка.

— Богородская травка... богородская травка... — повторял мой друг, шагая вдоль какой-то полусгнившей жердяной ограды, отделяющей дорогу от старого яблоневого сада.

Так вот и вижу я моего друга — с маленьким цветком на большой ладони, с цветком, что до самых снегов и даже в сене пахнет молодо и свежо — ни сушь, ни пыль, ни скот, ни птицы, ни люди, топчущие его, не могут остановить в нем силу вечной весны.

И песнь друга, как цветок чебрец, некорыстна с виду, но чист и высок ее тон, тот самый древний златоголосый тон, что звучал когда-то в сказаниях баянов, воспевающих славу молодой Руси, как звучит он в книгах певцов, рожденных порубежной и центральной Россией: Бунина и Тургенева, Лескова и Андреева, Есенина и Полонского, Кольцова и Никитина — да разве перечтешь их, российские таланты!

Евгений Иванович Носов достойно продолжает дело своих знаменитых земляков, так же бережно, как они, пестует родное слово, высвечивает его и отдает нам отграниченным, в строгой оправе. Тем, кто любит литературные буги-вуги или захватывающие рассказы о все знающих и все могущих разведчиках, о в поту бьющихся с консерваторами новаторах, советую не читать книги моего друга, они не для трамвайного чтения.

А познакомился я с Евгением Носовым в Москве, на Высших литературных курсах. Мы были соседями — жили через стенку. Комната моя не отличалась покоем иль безлюдностью. Всегда в ней стоял дым коромыслом, грохотал мужицкий хохот, а то и пенне раздавалось. Сосед мне угодил терпеливый, он и сам любил наведаться на «огонь», вставит, бывало, ногу в притвор, слушает, улыбается себе под нос иль одними глазами и никак не проходит в комнату. «Я хоть дым лишний в коридор выпущу, кроме того, у меня компот на кухне варится, боюсь, всплывет...» И слушал дальше. Но вдруг поднимал левую руку и, сжав ее в кулачище, бросался в разговор, как в драку. Чаще всего это случалось тогда, когда треп наш литературный переметывался на самоё жизнь, и «выступающий» в чем-то был неточен, особенно если дело касалось природы...

Поразительную память, зрительную, слуховую и просто человеческую, с которой начинается уважение к родителям и прошлому Родины своей, обнаруживал тогда Носов. А были перед ним не мальчики, не околелитературная накипь, а чаще всего люди зрелого возраста, и не обделены памятью и талантом если не писать, то хотя бы помнить и рассказывать о виденном и пережитом.

Он знал, когда цветет рожь и доцветает донник, где гнездится соловей и с какого возраста начинает петь, на какую приманку берет курская плотва и какая букашка поражает бурак в полях.

Многое из того, что знал он, знали, конечно, и мы, но как-то разбросанно, лоскутно. Мы тоже, например, могли назвать срок цветения ржи, но не все, далеко не все могли сказать и найти точное цветовое определение ржи в утренний час, в полуденный зной или в пору заката.

Сосредоточенно, пристально, собранно познает природу Носов и к познанию жизни идет от нее, от природы. Путь, конечно, не новый, но всегда удивительный и

неповторимый, ибо ничто в природе — ни поле ржи, что попало мне на язык, ни отдельная былинка в лугах — неповторимо, она лишь продолжает саму себя, и ничто и никого больше.

Когда человек, да еще пишущий, усваивает это, жизнь его обретает более глубокий смысл, а работа в литературе становится до невероятности трудной. Так вот Евгений Иванович и сковал «свое счастье» на этом пути. Нет среди знакомых мне писателей никого другого, кто бы работал так медленно и надсадно. Мне доводилось видеть рукопись его рассказа в авторский лист размером. Этот рассказ, как яичный желток, был вылуплен из рукописи страниц в полтораста, и каждая из этих страниц отделана так, что хоть сейчас в типографию сдавай.

Всяк работает по-своему, тут и темперамент, и характер не последнюю роль играют, но перед такой маетной работой я склоняю голову, тем более что, когда читаешь рассказы Носова, особенно последние, наиболее значительные по содержанию и объему, такие, как «И уплывают пароходы...», «Шопен, соната номер два», «Красное вино победы», повесть «Не имей десять рублей...», никакой маеты не заметно, и кажутся они написанными по вдохновению, единым махом и напором.

...Хорошее время! Счастливые дни! На курсах мы как бы спешили прожить, договорить, допраздновать то, что отпущено нам было сделать в молодости и чему помешала война.

Курсы мы закончили уж более десяти лет назад, и судьба распорядилась, кому кого помнить, с кем дружить, а кого тут же стерла из памяти без следа. Мы остались с Женей Носовым друзьями, и нам радостно и хорошо помнить, что где-то сейчас вот живет, дышит, а может, и пишет что-нибудь друг любезный.

Летом семьдесят четвертого года мы ездили с Евгением Ивановичем на Байкал. Мы там работали, вели семинар молодых писателей, и побыть нам на природе выпало всего несколько дней. А на берегах Байкала была дивная пора, пора цветения и таяния вершинных снегов. И Женя, увидев буйство природы, как-то весь размяк сразу, говорил мало, ходил медленно, глаза его то засияют радостно, то подернутся дымкой грусти — видно, в детстве, в воображении ли его, а может, и в мечте, была такая же безоглядная, цветущая, голубая от незабудок и пламенная от жарков земля...

Потом я повез его на свою родину — Енисей, где Женя тоже не уставал смотреть и радоваться: «Осталось еще! Осталось много красоты! Ах, как беречь все это надо! Беречь!..»

Не скрою, я радовался его радости — ведь нет большей награды, коли показываешь дорогое тебе сокровище человеку и чувствуешь душу отзывчивую, понимающую, а уж отзываться добром на добро, сердечностью на сердечность, уметь слушать и утешать — этого не занимать Носову — человеку и писателю.

Я пишу все это в далекой северной вологодской деревушке, в сырой зимний вечер. За окном подвывает ветер, порывами налетает, лепится сырой снег, за которым бело мерцают поля и дымятся темными полыньями, как бы мучаясь от наготы, река Кубена. На холме, за рекой, меж перелесками, угольком теплится огонек — там, в заброшенном селе, живет человек, что-то делает, о чем-то думает. И мне уж не так одиноко в этот непогожий вечер, в сиротскую эту зиму, потому что тепlinkа эта напоминает мне о друге, который живет за тыщи верст от меня, но душа его, как тот заречный огонек, мерцает мне живым светом, а доброе, глубокое слово его вот уже почти двадцать лет согревает душу читателю.

В моей памяти Женя, отныне уже Евгений Иванович, не меняется, все такой же он, грузный фигурой, сдержанный в общении. Облик его и сердце доброе вроде бы неподвластны времени, только чуть сунулись к переносью крутые надбровные дуги, грустней, пронительней и усталей сделался взгляд, да реже и реже бросается он в разговор, как в драку. В душе его происходит серьезная, сосредоточенная работа, трудно вызревают и еще труднее будут поддаваться перу новые книги. Он еще, чувствую я, напишет немало, ибо много умест видеть вокруг себя, запомнить и мучительно пережить в себе, да и кость его, рука еще крепки — словно бы о нем или о таких, как Евгений Иванович Носов, сказал один поэт: «Мужичья кость, простые люди, чьим потом залиты поля, на ком держалась да и будет держаться русская земля».

1975

ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ И ГРАЖДАНИНА

Настала пора держать отчет, становиться на боевую поверку двадцать четвертому году — великому и горькому; году утраты Ленина, году рождения бойцов, которые докажут потом в труде и на войне, что они помнят не только о своем человеческом назначении, но и о той ответственности, какую наложило на них время, их год!..

19 июня 1924 года в тихой лесистой трудовой Белоруссии родился будущий воин и писатель — Василь Быков.

Творчество В. Быкова нет надобности представлять советскому читателю — настолько широко известны его произведения и имя, имя человека, так и не вышедшего с переднего края нашей жизни и прошедшего «сквозь весь огонь», как писали о нем однажды в газете «Правда», не только войны, но и писательской надрывной, испепеляющей сердце работы.

Я встречался с Василем Быковым только мимоходом, в толчее писательских съездов и собраний, потом мы изредка писали друг другу. Но странное дело, мне всегда казалось и кажется, что я давно знал и знаю этого человека с простоватым на первый взгляд лицом застенчивого сельского интеллигента, с умно и опять же застенчиво-скромно мерцающими под роговыми очками глазами, вешняя прозелень которых выдает истинного сына Белой Руси, — с рождения увиден и навечно отражен в них цвет спокойно зеленеющей родимой земли, которую белорусы умеют не только любить и оплакивать, но и умирать за нее, — не к месту, может, а все ж напомним, что в Отечественную войну погиб каждый четвертый белорус.

Ощущение же близости, братства, если не бояться громких слов, с человеком и особенно с писателем есть свойство души доброй и отзывчивой. А раз писательский труд, как давно замечено, не что иное, как отражение души, свет ее, то труд истинного писателя, произведения, им созданные, всегда похожи на него самого — оттого-то и происходит узнавание писателя, привычка к нему, если он истинный, талантливый писатель, повторяю, по книгам и мыслям его.

Не раз и не два случалось в Сибири, на Урале, в Вологде ли, когда заходил разговор о писателе В. Быкове, люди как бы разумеют его здесь, где-то по сосед-

ству живущим, и словно забывают напрочь, что под произведениями Василя Быкова стоит мелко набранное: «Перевод с белорусского»; и это не обезличка национального, не отрицание принадлежности к своему народу — это та самая творческая индивидуальность, та сила таланта, которая стирает всякую условность общения между людьми и делает единым читателя и писателя в любви и доверительности друг к другу, хотя самому писателю, работающему на родном языке, общение с широким многонациональным советским читателем создает дополнительные очень большие сложности и трудности: ведь как бы хорошо ни переводили произведение, утраты, особенно языковые, при этом неизбежны.

Советскую и тем более белорусскую литературу без Василя Быкова представить уже невозможно. Творчество этого писателя явилось как бы болевым отражением потрясающего и героического времени — Отечественной войны. Сам участник войны, пехотинец, проливший кровь, пот и слезы в окопах и госпиталях, Василь Быков честным и ярким талантом своим был приговорен нести тяжкую и славную долю бойца и в литературе.

Не принято вспоминать о горьком и досадном, о том, что помимо работы выматывает силы, доводит до усталости и боли писательское сердце, и о тех, кто портит кровь творцу при жизни и плачет скорою слезой у его раннего гроба. Бог с ними! Они были и будут, к сожалению, да и не искали писатели нашего поколения легкой доли ни в жизни, ни на войне, ни в работе и всегда верили в справедливость, в правду. И она восторжествовала, эта справедливость, и не могла не восторжествовать, ибо, когда критическая мельница вдруг заработала в обратную по отношению к писателю Быкову сторону, по временно внахлест подувшему ветру, читательская привязанность, любовь и наше фронтовое дружество были с Василем, помогли ему устоять. Ну а если порой охватывало писателя отчаяние и одиночество (а я это знаю из писем ко мне и рассказов друзей Быкова), наверное, перед глазами его предстал образ лейтенанта Ивановского из повести «Дожить до рассвета», создаваемой им именно в эту нелегкую пору жизни: смертельно раненный, почти замерзший лейтенант Ивановский не дает себе умереть, держится уже какой-то запредельной силой за жизнь ради того, чтобы выпол-

нить свой воинский и человеческий долг — убить врага всех честных людей — фашиста. И он выполняет его, этот долг, бросив гранату, он тут же умирает, но и враг повержен. Правда, повержен обозник — тыловой вояка, однако вот о чем думаешь, закрывая последнюю страницу этой потрясающей, на мой взгляд, лучшей повести Василя Быкова: вот если бы все наши граждане и воины в сорок первом году, да и дальше выполняли долг перед Отечеством своим так же, как лейтенант Василя Быкова...

Но это уже другой разговор. Оставим его для встреч и для книг. А сейчас я позволю себе мысленно окинуть взглядом строй труженников литературы, которым выпала честь родиться в 1924 году и рапортовать в полувекковой юбилей, в 1974 году, о пройденном пути: Юрий Бондарев, Николай Старшинов, Юлия Друнина, Григорий Бакланов, Юрий Гончаров, Михаил Горбунов — немалый набирается строй, строй, которым можно гордиться нашему народу и всему вчерашнему воинству.

На правом фланге этого крепкого строя прямой и строгий в жизни и работе полвека стоит и не колеблется боец и художник Василь Быков! Поклон тебе, брат, с седого Урала, где в маленькой, белой черемухой залитой деревушке Быковке — совпадение какое нечаянное и замечательное! — сижу я и работаю и откуда кланяюсь тебе низко за твой ратный и творческий подвиг — знай и помни всегда: живешь и творишь ты — легче жить и работать твоим читателям и друзьям...

1974

СВОЯ БОРОЗДА

Отчетливо помню несколько ошеломляюще громких вхождений в литературу: порой даже казалось, что шум и гром, произведенный «отворяющими дверь» сразу с парадного, предвещают не иначе как гения. Но с годами заявители на гения подзатихли. А сами писатели-дебютанты, высоко «взявшие голос», случалось, и воистину талантливые литераторы, работали вяло, неохотно или не работали совсем.

А есть другая категория писателей, близкая и дорогая моему сердцу, которые, надев жесткую лямку, подобно бурлаку, но не ватажкой, а каждый в одиночку преодолевая местное, встречное, порой и противобор-

ствующее течение, тянули свою баржу, груженную несовершенными, иногда вторичными материалами, на ходу, в работе преодолевая скованность, чувство неполноценности, неуверенности в себе, материальные невзгоды, и учились, учились, учились. Но учились в работе, в том числе и движения вперед добивались работой, только работой, слабости свои побеждали упорством, внимание читателей, критики и общественности завоевывали опять же усердием в работе, изнурительной, вытягивающей жилы в струну, — потому-то все без исключения эти писатели, ныне составляющие головной отряд нашей литературы, выглядят старше своих лет, не могут похвалиться и здоровьем. Среди них судьба Петра Лукича Проскурина совершенно типичная — трудом постоянным, на удивление плодотворным, добился он широкого признания.

А биография его по своему «багажу», объемности и богатству тоже очень похожа на биографии всех начинающих литературный путь в российских даях, городках, городах и весях!

Родился Петр Проскурин на Брянщине, в селе Косицы Севского района. Война прошла по его родной земле, когда он уже был мальчишкой «на ногах», и сразу же после освобождения села, с пятнадцати лет, начал работать в колхозе. Жили в землянках, нарытых оккупантами, пахали и сеяли на пашнях, превращенных в минные поля. Картины разрушения, свежие раны, людские и земные, воскресающие пашни, оживающие искалеченные перелески, ребятишки, трофейными гранатами и запалами поувечившие себя или совсем до смерти подорвавшиеся; вдовьи, сведенные горем лица, выплаканные до дна глаза; радость восстановления колхозов, начало жизни на истерзанной битвами Родине; первый кол, первая избенка, первый урок в школе, первый перебор гармошки за околицей села на давно и вроде бы насовсем умолкшей земле — все это и еще многое другое видели, вобрали в себя растревоженно работающая память, пристальный глаз будущего писателя.

Пока он ломает жизнь, и она его тоже: после службы в Советской Армии — Камчатка. Проскурин работает лесорубом, сплавщиком, затем шофером издесь же, на Дальнем Востоке, в газете «Тихоокеанская звезда» печатает первый свой рассказ с очень характерным для его поколения названием «Цена хлеба», ибо

уж кто-кто, а мальчишки военных лет, припрягавшиеся вместе с матерью к плугу, знали ее, эту самую «цену», и было вполне естественно, что о самом сокровенном рассказывали в первую голову.

В 1960 году в Хабаровске вышел первый роман П. Проскурина «Глубокие раны», уже из названия которого видно и «слышно», о чем он, — да, конечно же, о горьких и доблестных днях войны. Затем еще несколько книг в разных издательствах. Широкая известность приходит к писателю с появлением романа «Горькие травы».

Учеба на Высших литературных курсах — да будет светла память и вечная благодарность наша тому, кто придумал для писателей это учебное заведение, «наш университет», где мы не только получали знания, но и по-настоящему становились на ноги, приобретали верных друзей, уверенность в своих творческих возможностях.

После столичного житья-бытья, после той бурной, а чаще суетливой атмосферы, каковая царит в столицах, где шумят витии, не всем, далеко не всем курсантам удастся вновь прижиться «дома», то есть на периферии. П. Проскурин становится московским жителем, работает в газете «Правда» и пишет, пишет, пишет.

Перед упорством и трудолюбием этого писателя я склоняю голову. Плодотворности его остается только позавидовать. И нелегкая жизнь, и напряженный труд наложили на Проскурина свой отпечаток. Не видевши его несколько лет и повстречавшись с ним прошлым летом на литературных перепутьях, я обнаружил у Петра обнажившееся высокое чело, усталые складки, спускающиеся от углов губ.

Человеку, так умеющему и могущему работать, столь много сделавшему за восемнадцать лет литературной деятельности, венчающему полувековой юбилей эпопеей «Судьба», — такому человеку совсем ни к чему говорить фольгой светящиеся слова, однако ж не могу не сказать, что сотворение эпопеи считаю творческим подвигом.

Вижу я отчего-то Проскурина не за писательским столом, не напрягши морщины на «пименовском челе» в творческих муках, а со спины вижу за плугом. Идет он, держась за горячие, ладонями отшлифованные ручки плуга. Дымится рубаха на его широкой, крутыми лопатками взбугренной спине, скрежещет плуг, лицо за-

ливаает соленый пот, но упорно, наклонив голову, напрягшись жилами, ведет он свою прямую и глубокую борозду, припахивая «свой клин» к нашей великой и вечно молодой литературе, славной не только вдохновением, муками и нравственным величием, но и титаническим трудом на благо своего народа.

РОДНОЙ ГОЛОС

Летом 1928 года в устье Губинской протоки вошел пароход «Тобол» и бросил якорь. Штормило. За каменным мысом, замыкавшим вход в протоку, гудели громадные волны-беляки, яростно хлестали они о камни, с железным звоном перекачивали гальку. Но это там, на Енисее. Здесь же шторм едва ощущался. Медлительные, неуверенные волны только чуть покачивали «Тобол».

Северный ветер — низовка угнал тучи и облака. Незакатное солнце светило упрямо, но не знойно. Табуны непуганых уток проносились над «Тоболом» и падали на протоку и озера. А озер этих поблескивало множество и на крутобоком берегу, и на острове Самоедском. Впоследствии он получил имя Полярный, а заодно с ним так необычно стал называться и первый в истории Севера овощеводческий совхоз.

Близко к протоке подступили леса, приземистые, покореженные суровой стужей, влажной почвой. С северной стороны ели, лиственницы и березки были почти наги. А под этими кривобокими узловатыми деревцами с поврежденной сердцевиной буйно клубились мелколиственные карликовые березки, синели ветви голубичника, чадил одуряюще багульник, отливало на солнце жестяной листвой брусничник и накалялась под солнцем северная ягода морошка. Прижатые ветром к кустам, гудели тучи комаров и многоголосо кричали долгоногие кулики.

Заполярье. Почти неизведанная, доступная только путешественникам, рыбакам да охотникам земля. Земля нетронутая, скованная мерзлотой. В самый разгар лета отвори лишь пень или слой мха на берегу озера, не поленись — и увидишь эту мерзлоту, чуть рыжеватую, окропленную семенами трав и ягодников, которые никогда не прорастут, если не «осадить» ниже мерзлоту.

Вот сюда-то и приплыла экспедиция на пароходе «Тобол». Приплыла и твердо обосновалась на берегу

Губинской протоки, глубокой и спокойной в любой шторм. Экспедицию возглавляли профессор Урванцев и инженер Рюбин. Они промеряли входы в протоку, место стоянки кораблей, проделали множество других работ и заложили основание будущего города — порта Игарки, самого северного, самого «деревянного» города, о котором суждено было узнать всему миру и которым гордились все советские люди. Город получил имя от охотника Егорки, избушка которого якобы стояла тогда на месте будущей Игарки.

Быстро рос город, но еще быстрее разлеталась о нем слава по всему свету. Отто Юльевич Шмидт, именем которого названа центральная улица города, сказал однажды: «Игарка видна всему миру, как маяк». Сюда писали письма со всех концов Советского Союза, из многих стран: Максим Горький, Ромен Роллан, Мартин Андерсен-Нексе, ученые, школьники, путешественники, артисты. Все они дивились мужеству заполярников, гордились ими, желали успехов и старались помочь словом и делом. Цинга, морозы, нехватка жилья и многое, многое другое, с чем встретились первые строители в Заполярье, не сломили их воли и упорства. За несколько лет город и порт были построены, лесопильные заводы начали выпускать экспортный пиломатериал. Английские, немецкие, польские, норвежские корабли повезли из Игарки грузы, а вместе с ними и добрые вести об этом городе.

Мне как-то довелось слышать, что Игарка была «баловнем тридцатых годов». Говорилось это в том смысле, что, мол, страна и советские люди давали Игарке все, чем были богаты: и продовольствие, и лучших людей, и, главное, свое душевное тепло, в котором так нуждались игарчане.

Да, советские люди щедры, они никогда и ничего не пожалеют для тех, кому трудно, кто находится на так называемом «переднем крае». Не было в первое лето овощей и фруктов в Игарке, и цинга свалила не одного строителя. В следующие сезоны овощей было завезено в изобилии. Не было доброй одежды — она появилась; не хватало школ, библиотек, клубов — они были построены; нуждался молодой город в специалистах, врачах, учителях, артистах — они приехали.

До сих пор помнят игарчане народную артистку СССР Веру Николаевну Пашенную. Она вместе с группой московских артистов приплыла в Игарку, обоснова-

ла здесь драмтеатр, который впоследствии был назван ее именем.

А на острове Полярном, что против порта, кудесница и творила свой негромкий подвиг ленинградский агроном Мария Митрофановна Хренникова. Долгие-долгие годы выводила она сорта, которые могли бы произрастать в суровых условиях Заполярья. Теперь в Игарке повсюду огороды: и на задворках, и под окнами растет картошка, крупная, урожайная. Этот сорт картофеля называется «Енисей», и вывела его та самая скромная «агрономша» с острова Полярного — Мария Хренникова. К слову сказать, сейчас в совхозе снимаются обильные урожаи капусты, лука, редиса, огурцов. Перед тружениками-энтузиастами этого совхоза стоит задача полностью обеспечить игарчан своими овощами.

А разве забудут игарчане, как по всем деревням и городам Советского Союза школьники собирали книги для ребят-заполярников. Из этих книг была составлена одна из первых и богатейших библиотек города. А доброго дедушку Максимыча, прекрасного друга — Горького, принявшего активнейшее участие в работе над книгой «Мы из Игарки», разве забудут? Нет, конечно, нет, никогда не забудут наших прекрасных друзей из всех краев страны. Они, эти друзья, искренне удивлялись тому, что вот живут ребята в Заполярье, учатся, помогают взрослым, они даже восхищались нами...

Я говорю «нами» потому, что и я жил и учился в те годы в Игарке. И сейчас, когда оглядываешься назад, многое кажется действительно достойным удивления.

Но я буду говорить о другом. Об Игарке знали в нашей стране все. А вот о том, что была в Игарке школа № 12, мало кто знает. Ее помним мы, воспитанники этой школы, как, впрочем, помнит всякий свою родную школу. Ну о том, что в этой школе был отчаянный класс 5-й «Б», помнят уже совсем немногие.

Двенадцатая школа стояла тогда на окраине города, над Медвежьим логом, за которым располагалась лесобиржа. 5-й «Б» был крайним по коридору. Из него на перемену не выходили, а вылетали с шумом, гамом, рыком и воплями ребятишки. Многие учителя на этот класс, что называется, рукой махнули и считали несчастьем великим вести в нем работу. Анна Матвеевна Фишер, добрейшая и терпеливейшая учительница немец-

кого языка, так прямо и заявила однажды: «Класс никс гут, я откажусь в нем трудица». Но «трудица» Анне Матвеевне все-таки пришлось, ибо, если мне не изменяет память, в ту пору на всю Игарку было два или три преподавателя немецкого языка.

Вот в этом-то классе появился однажды высокий черноволосый человек, еще довольно молодой, порывистый, в очках с выпуклыми стеклами. Он кинул на стол журнал, потер очки, близоруко сощурился, оглядел нас и представился:

— Рождественский моя фамилия, Рождественский Игнатий Дмитриевич, буду учить вас русскому и литературе.

Я сидел на последней парте возле печки-«голландки» с закадычным другом Мишкой Шломовым. Сидели мы за этой партой уже второй год и развлекались как умели. Мишка шепнул мне:

— Смотри-ка, Витька, учитель-то ни шиша не видит, будем курить за печкой и вообще веселиться.

Для начала Мишка дал щелчок впереди сидящему большеголовому мальчишке, которого мы прозвали Глобусом. Потом Мишка спустил тому же Глобусу льдинку за воротник, и тот тоненько заскулил.

Учитель посмотрел на нас как-то до обидного снисходительно и тихо сказал:

— Эй вы, там, на Камчатке, уймитесь, а то из класса выгону.

Мы встретили это сообщение с удовольствием. Выгоняли нас из класса много раз, и мы всегда весело проводили время в коридоре, мешая работать другим учителям. Однако на этот раз все обошлось, мы благополучно досидели до конца урока и, мало того, «пересидели» звонок, чего у нас раньше почти не случалось.

Уж очень увлекательно говорил новый учитель о русском языке. Оказалось, что яр — это солнце и что Красноярск, Ярославль, Белоярка и другие русские города и местности получили свое имя от солнца, что в русском языке, на котором мы говорим, много замечательных слов, которых мы вовсе не знали.

На перемене Мишка сказал, шмыгнув носом:

— Учитель-то ничего, занятно балакает.

А потом был урок литературы. Вместо того чтобы в десятый раз спрашивать нас об образе деспотичной барыни, немого мужика Герасима и его любимой собач-

ки, Игнатий Дмитриевич заставил нас читать вслух и смотрел на часы.

— Мало читаете, — заключил он, — вслух, должно быть, совсем не читаете. А без этого ни русокий, ни литература у вас не пойдут. Для русского языка одних зубренных правил недостаточно...

Помню, в тот день я получил от учителя первую похвалу. Я прочитал отрывок из «Дубровского» быстрее и внятней других. Последние года четыре меня только ругали в школе, а тут на вот, похвалили.

В следующий урок мы писали сочинение, и опять не так, как раньше, не на заданную тему. Нет. Учитель разрешил нам писать о том, что мы узнали и увидели летом. Некоторые наши сочинения были напечатаны затем в школьном рукописном журнале, организованном Игнатием Дмитриевичем. Попало и мое сочинение в этот журнал.

Так вот с этих уроков и началась наша дружба с Игнатием Дмитриевичем Рождественским. Он успевал пройти с нами и программный материал, и выгадывал десяток минут для того, чтобы почитать что-нибудь из новинок, путешествий и приключений; интересовался, что мы читаем дома, и всегда, рассказывая о том или ином писателе, сопровождал свой рассказ множеством стихов, отрывков, вовсе не означенных в хрестоматии, приносил фотографии, открытки, хорошо иллюстрированные книги.

Исчезли из классного журнала эти «пл.» и «очень пл.». Может быть, и «снимали стружку» с молодого преподавателя, может, и внушения ему делали за то, что он не всегда по методике и по соответствующему параграфу ведет урок. Мы этого не знали. Мы были ребята, всего лишь ребята, и, как всякие ребята, не терпели скуки, сухости. Игнатий Дмитриевич учил интересно, и это для нас было главное.

Помню, однажды в конце урока Игнатий Дмитриевич сказал:

— Ну а сейчас, ребята, я вам прочту новые стихи... свои.

Он закрыл глаза и голосом, в котором едва заметно было волнение, начал:

На вездеходах и на самолетах
Вернулись дети в школу-интернат,
Минуло лето в играх и заботах,
Был каждый день событиями богат.

Раскрыты аккуратные тетрадки,
И пишут, пишут в них ученики,
Как первый раз копали в тундре грядки,
Палатки разбивали у реки.
Пасли на взгорьях молодых оленей,
Ходили за белухой в океан.
И не для классных только сочинений —
Для книги хватит летних впечатлений
У маленьких саха и нганасан.
И за окном — шеренги елок важных.
И словно приподняли небосклон
Копры, ряды домов многоэтажных,
И вклинился в болото стадион.
А дальше там... И школьники немножко
Волнуются — мы чувства их поймем,
Там созревает сочная морошка,
Облив траву оранжевым огнем.
Пока сидят ребята на уроке
И пишут от звонка и до звонка,
Для них суда закладывают в доке,
Для них в турбины ринулась река.
Чтоб больше счастья дети повстречали,
Для них, пытливых, братья и отцы
Ведут в тайгу стальные магистрали,
Возводят пионерские дворцы...

Я цитирую и привожу уже отделанные, а может быть, и много раз переписанные стихи Игнатия Дмитриевича. Вполне вероятно, что в ту пору, как и у всякого молодого поэта, они были еще сыроваты и кое-где неуклюжи, но стихи-то были про нас! Мы читали и слушали стихи Пушкина, Некрасова, Лермонтова. Мы любили творения этих великих поэтов, но они писали и про дворян, и про «немытую» Россию, а вот про нас, про Заполярье, про Игарку, написал Игнатий Дмитриевич, и нам, конечно же, стихи его казались самыми прекрасными и близкими. Нам даже чуть страшно стало. Как это так, вот учит нас, соляков, человек, расстраивается иной раз от проделок наших. И на тебе, стихи сочиняет. Здорово сочиняет!

И надоели же, наверное, мы ему потом! Ведь не проходило урока, чтобы кто-нибудь робко не попросил:

— Прочитайте еще свои стихи, Игнатий Дмитриевич, почитайте, а?

И он никогда не отказывал нам. Он дарил нам радость просто, от души. Он читал о строителях, о рабочих, о речниках и, конечно же, о Заполярье, о его цветах:

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели,

Их сроки жизни коротки,
Их солнце греет еле-еле.
Они растут у снежных груд,
Их вьюги сотни раз отпели,
И все-таки они цветут
И дальше к полюсу бредут,
Цветы высокой параллели.

Или о том, что «под Красноярском косят травы, за Минусинском жнут ячмень...», а здесь, у нас, в тундре, «на яр взобравшись тяжело, не может отдышаться лето, оно в пути изнемогло». Мы узнавали свое житье, свои радости и заботы в них, в этих простых стихах учителя.

В 1941 году Игнатий Дмитриевич выехал из Игарки в Красноярск. Уехал и навсегда оставил в наших сердцах любовь к литературе, к великому русскому языку. Мы тоже подросли и стали рабочими, моряками, строителями, а затем и воинами, сражавшимися на многих фронтах Отечественной войны.

Кончилось детство, беспокойное, бурное детство. Осталось оно в далеком замечательном городе Игарке, где мы неводили рыбу, добывали куропаток, «копали грядки в тундре», трудились над книгой «Мы из Игарки», переписывались с Горьким и Роменом Ролланом, помогали взрослым на лесобирже и в порту, порой огорчали тех, кто давал нам все: и знания, и силу, и любовь к Родине своей, к своему народу.

Наши добрые, дорогие старшие друзья! Пусть эти строчки будут маленьким свидетельством того, что мы никогда не забываем вас, наших учителей!

Война. Фронт. Громадные расстояния, великие и тяжелые дни разделяли нас с нашим учителем и поэтом. Из-за близорукости он не попал на фронт, но тем не менее всегда оставался в строю. И родной его голос из далекой Сибири доносился до нас, фронтовиков.

Помню, на днепровском плацдарме сидели мы, голодные, отрезанные от наших рекой, и вовсе нам не до стихов было. Ночью на плацдарм переправились свежие части. Мы подались к «новичкам» «подстрелить» на завертку табачку. В норке, по-стрижиному вырытой в яру, мелькнул огонек. Я туда. Подхожу и слышу из-за плащ-палатки, загораживающей вход:

Всю ночь в тайге буянили метели,
К востоку тяжко пробивая путь,
В снегу завязли стрельчатые ели,

До сорока к утру упала ртуть.
Надели кедры пышные кухлянки,
Сугробами тайга заметена...
Старик рыбак проснулся спозаранку:
«Какой тут сон... Тут, парень, не до сна».
Старик рыбак идет проверить сети.
На Енисее гулко рвется лед:
Тайга оцепенела на рассвете,
Лиловый пар от проруби плывет.
Могучи осетры на Енисее,
И с ними трудно сладить старику,
Но знает он: чем сети тяжелее,
Тем легче земляку-фронтовику.
Туман окутал каменные гряды,
Заря зажгла багряные костры,
Лежат на льду, как грозные спаряды,
Пудовые литые осетры.

Родной, нераскатистый, не цветистый, а простой, чуть суровый голос долетел до далекого Днепра. Долетел — и чертовски тепло от него стало. Еще больше захотелось драться с этой непрошенной фашистской ордой, которая на погибель себе явилась на нашу землю. От мала до велика поднялись на нее советские люди. И тот старик, что поднял из-под льда «пудовых литых осетров», тоже участвовал в этой битве, участвовал и поэт, учитель наш. Он тоже боролся в меру своих сил, своего таланта.

Я выпросил тогда у пехотинца газетную вырезку с этим стихотворением и долго таскал ее в нагрудном кармане и читал своим друзьям.

Они часто говорили мне:

— Повезло тебе. Вишь, у какого человека учился!

Я и сам так думаю: повезло. Не всякому дано учиться у такого преподавателя, не всякому дано иметь такого старшего друга. Однако это совсем не значит, что преподаватель истории, географии, русского языка и особенно литературы, не пишущий стихов и рассказов и не собирающийся стать поэтом, не может сделать так, чтобы каждый его ученик говорил потом: мне повезло. Ведь очень легко и просто сказать детям, будто Буревестник Горького — это революционер, а Пингвин — буржуй. Гораздо труднее разбудить в сердцах ребятешек любовь к этому Буревестнику, дать крылья и мечту к полету, бесстрашие к бурям.

И где-то здесь, совсем близко, та тропа, по которой рядом идут обыкновенный школьный учитель и писатель. У них почти одна и та же задача: звать людей

вперед. Вот почему для меня лично поэт Рождественский неотделим от учителя Игнатия Дмитриевича Рождественского, оба они в полете, оба зовут с собой в заманчивые, порой неизведанные дали.

В одном из стихотворений Игнатий Дмитриевич Рождественский сказал:

Я себя не мыслю без Сибири
И без дорогих сибиряков!

И действительно, Рождественского можно смело называть певцом Сибири и, если хотите, сибирским рудо-знатцем. Давно и прочно он прирос сердцем к своему огромному, необычайно богатому Красноярскому краю.

Это сейчас стало модно и незазорно даже для столичных писателей и поэтов обращать «свой взор» на Сибирь. В летнее время (зимой в Сибири студено и трудно проехать по ней с комфортом, особенно на север) на самолетах и красавцах теплоходах, преимущественно в каютах первого класса, по Енисею катаются столичные писатели с командировками Литфонда, и частенько открывают давно открытое, и восхищаются тем, что для людей, работающих и живущих здесь, является само собой разумеющимся: «Ах, Заполярье! Ах, мерзлота! И скажите, живут люди, и, знаете, ничего живут, не плачут, и дома строят, и не в медвежьих шубах, а в шелковых платьях ходят и, понимаете, поют, «Подмосковные вечера» поют! Ах, герои! Ах, покорители суровой Сибири!»

Может показаться, что несколько преувеличиваю эти «ахи», но стоит только взглянуть на путевые заметки писателей, появляющиеся в центральных газетах каждое лето (я еще раз подчеркиваю — лето, ибо зимой в Сибирь писатели не ездят). Так вот, все эти путевые заметки пестрят этими «ахами», этим праздным наивным удивлением заезжих гастролеров.

Но живут в Сибири писатели и поэты, для которых родной край никогда не был отхожим промыслом. К сожалению, до последнего времени их творчеству уделялось, да и сейчас еще уделяется, очень мало внимания. Некоторым из них за признанием нужно было уехать в столицу. Только за последние годы в Москву переехали писатель Г. Марков, С. Сартаков, поэты В. Федоров, Ю. Левитанский и другие.

А сколько поэтов и писателей переехало за это вре-

мя из столицы в Сибирь? Да и те, что переехали, по справедливому замечанию Казимира Лисовского, считают сей шаг чуть ли не подвигом. Как только сейчас не именуют Сибирь в стихах, поэмах и прозаических произведениях: «Это земля будущего», «Это край завтрашнего дня», «Это передний край»! И слова-то, в общем, верные, но уж больно много в них барабанного треска. Много звона бубенчиков под дугой. А уж чего-чего, но пустозвонства, словолейства, самолюбования сибиряки терпеть не могут, в этом я могу ручаться. Вот потому-то, наверное, и любят в Сибири сдержанные, без броской красоты (именно красоты, настоящую красоту сибиряки всегда умели ценить и понимать, потому что живут они в удивительно красивом краю) стихи Игнатия Рождественского. И потому-то особенно обидно становится, когда мимоходные произведения, заглянцованные, похожие друг на друга, как родные братья, заполняют газеты и журналы и авторы их возводятся чуть ли не в землепроходцев, чуть ли не в героев: шутка ли — в Сибирь съездили!

У поэта Игнатия Рождественского никогда не возникало потребности ездить за жизнью, потому что он сам активный участник той жизни, которую творит советский народ. Несмотря на то что и зрение у поэта очень слабое, и семья была немалая, и, как в одной из статей газеты «Литература и жизнь» было сказано: «Двадцать с лишним книжек у него за плечами», он неутомим, как в молодости. Ему хочется всюду побывать, все увидеть своими глазами, все пощупать и понюхать. Его все время тянет

...там, на далеком перевале,
Костер, как в юности, зажечь.

Нынче летом мы повстречались с Игнатием Дмитриевичем на Волге, а через месяц — в Красноярске. Поэт уезжал на Лену.

— Не бывал еще там. А хочется всюду побывать, года-то уходят.

Да, действительно, годы идут, жизнь идет стремительно, быстротечно. Трудно угнаться за ней, но нужно. Это главная задача литератора, если он не хочет плестись в хвосте и обрастать жиром.

Уже и виски посеребрили годы у моего учителя, у моего доброго друга, уже и ребята его выросли, уже и

дедушкой стал Игнатий Дмитриевич, и внук потеснил деда из рабочего кабинета, а он все такой же порывистый, непоседливый. Все так же вместительна и глубока его память, и он может целый день, а то и ночь читать стихи известных и неизвестных поэтов, живших и давно умерших. Очень редко и неохотно он читает свои стихи. Читает, как всегда, с закрытыми глазами, задумчиво и потом так же задумчиво говорит:

— Еще поработать надо, отграничить. Вот поеду — и в пути, в дороге доделаю. В дороге всегда свежее все получается...

И вот в газете «Правда», где Рождественский работает корреспондентом, появляется очерк с Лены, в столе новые стихи, которые поэт никогда не торопится тащить в редакцию, чтобы «протолкнуть» поскорее, куда они не «состарились». Голос его по-прежнему молод и свеж, и стихи его не стареют, потому что рождены они молодой жизнью и той землей, которая в самом деле вся в будущем, которая в самом деле рождает утро.

Лена, Диксон, дорога Ачинск — Абалаково, Тува, Хакасия, Усинский тракт, Шушенское, Дивногорск — вот далеко не полный перечень тех мест, где только за последние годы побывал поэт Игнатий Рождественский. Почти ежемесячно в газете «Правда» печатаются его очерки, а затем выходят отдельными книжечками. В 1958 году Красноярское издательство выпустило книжку его стихов о Ленине «Вечно живое сердце», а в 1959 году — поэтический сборник «Енисейская новь».

Поэт верен себе, своей теме. Его последний сборник все о том же — о Сибири, о Енисее, но только еще более широкое, свежее дыхание слышно в нем. Да и как же иначе? Такого строительного размаха, какой развернулся сейчас в родных краях поэта, Сибирь еще не знавала. Если раньше в стихах Рождественского говорилось о том, что «будет море», то сейчас уже речь идет о строителях этого моря:

В хребты, в урочища зимы,
Питомцы незабвенных лет,
Ведем тропу стальную мы
От Абакана на Тайшет.

Как это трудно и как необходимо поэту идти в ногу со временем!

Для Игнатия Рождественского нет иных мук и тревог, постоянно жива в нем страсть:

Край родной окидываю взглядом,
Степи и таежный океан,
И со мной моя Игарка рядом,
И от сердца близко Абакан.
Вижу Бирюсинские утесы,
Горы благодатной Абазы,
Слышу, как гудят многоголосо
Реки, что неустоивей грозы.

Да, все вот это видеть, охватить взглядом и сердечно сказать об этом хочется в силу неистощимой внутренней потребности, неискоренимой вовеки привязанности. На его глазах молодеет Сибирь, жизнь исполняет мечты многих поколений тружеников, и мечты эти реализуются нередко в более совершенных формах, чем об этом мечтали! И поэт уверенно говорит:

Корпуса встают могучим строем,
Ни числа, ни счета нынче им.
Все, что мы задумали, построим,
Все, что мы решили, совершим!

1960

ЧИСТАЯ ДУША

Два человека, два Виктора, которых свела и сдружила литература, не побоявшись дать крюка, заехали в Вологду. И вот я хожу с ними, показываю город. Ребята глазастые, умные, сами многое понимают и видят — таким показывать родную историю легко и дивно, будто и сам все видишь вновь, открываешь неожиданное.

Два человека, два Виктора, умеют найти во всем свой смысл и значение, не призывают походя «любить родину и народ», потому что любят и то и другое по-русски сдержанно и верно. Не сплетничают два хороших писателя, два Виктора, не поносят «иных» и не славят «наших». Хорошо. Радостно. Ребята крепкие. На таких можно положиться, на таких надо надеяться и многое от них ждать.

Один Виктор родом из Сибири, второй приуралец. Он рыжей масти, а характером совсем не огневой, даже напротив — застенчив, как девица, и по этой причи-

не закаленный молчун. Но молчит он как-то по-особому — «активно молчит». Лицо его и глаза прямо-таки само внимание, сама доброта и нежность. Где-то под всем этим брезжит сильный характер, немалая физическая сила, духовная чистота и крепость.

Первый Виктор, который сибиряк, — себе на уме. Но это «себе на уме» мне очень понятно, близко и немножко смешно, потому что и сам я сибиряк, и всю «чалдонскую умственность», литературно именуемую утонченностью, вижу и знаю «наскрозь», как принято выражаться на моей родине.

Викторы, Лихоносов и Потанин, ходят со мной по Вологде, и один все напевает какую-то старинную песенку со странными словами: «Я люблю все живо...», а то возьмется подтрунивать над дружкой, и так и этак его тормозит, но ни одной пушинки выбить из него не может. Потанин посмеивается тихо, как-то даже снисходительно и нет-нет да подсадит поднаторевшего по части острот в «высшем свете» дружка, да так уместно, так славно, что тот даже крикнет от удовольствия.

Погода была — хуже не придумать: хлюпал дождь попережку со снегом, гололедно было, и Лихоносов шутил все реже, бодрился через силу. Здоровьишко его к такой погоде слишком чутко. Шапка с распущенными ушами совсем взмокла на нем и вроде бы сгорбила его тяжестью своей.

Чтобы сократить дорогу домой, я повел двух Викторов через базар, двери которого здесь простодушно и гостеприимно открыты день и ночь, а с одной стороны их вовсе нету. Шлепали мы по базарным лужам, и вдруг Лихоносов встал как вкопанный, и глаза его, хорошие глаза, как-то сумевшие соединить в себе детскую удивленность и взрослую печаль, возбужденно засияли. «Ой, что это?» — спросил он, показывая на голубые тележки, с которых торгуют в Вологде горячими шаньгами, именуя их по-здешнему — лепешками.

Я выгреб из кармана мелочь, и через минуту мои гости и я вместе с ними уплетали за обе щеки наливные шаньги.

«А с картошкой есть?» — спросил Лихоносов. Я купил шанег с картошкой и с творогом, и оба Вити так их здорово ели, что тетка, торговавшая такой продукцией, по-хозяйски умильно воскликнула: «Эко-ко, мужики-то ровно три дня не едали!..»

«Да я уж не помню, когда и ел русские-то шаньги, — отозвался Лихоносков и покачал головой. — От Геленджика до Новосибирска, да и дальше, одни и те же пончики, одни и те же вафли, озелененная колбаса, недоеденные куры. Нигде ничего не продают местное, национальное. Ширпотребные сувениры продают, а съедобного нет!..»

Он говорил еще что-то глуховатым, негромким голосом, а я смотрел, как он аппетитно и чисто ест, и чувствовал — был сейчас Витя Лихоносков далеко от Вологды, дома был, у мамы, в сибирской избе, на улице Озерной..

И на меня вдруг накатило: середина зимы сорок второго года. Мы, солдатики новосибирского пехотного полка, уже обмундированные, подготовленные в маршевые роты, ждем отправки на фронт. Но где-то и что-то «не сработало» еще в военной машине, и нас бросили пока в Искитимский район «на хлеб».

Уроженец Саянской тайги и гор, я впервые видел совершенно новую Сибирь, ровную, степную, с реденькой щеточкой березняков вдали. Над снегами, над шипящей летучей поземкой шумели бесконечно, желто и трагично неубранные хлеба. «Где же наш пахарь? Чего еще ждет?..» Пахари на войне, хлеб осыпался, и только серая ость да желтая мякина тучей кружились и пылили над белыми полями.

Осенью часть хлебов была скошена, но копны остались под снегом. Мы разгребали их, на своедельных волокушах тащили к комбайну. Там наши же солдатики, вчерашние крестьяне, молотили полуобсыпавшиеся колосья.

Горел костер из хвороста, тонких березок и соломы. Огромный солдат Коля Рындин, родом из Каратузского района Красноярского края, загнув противень из железа, жарил на нем пшеницу и, горячую, хрустящую, горстями засыпал в широкоуший рот, где зубы росли как у щуки — рядами и вразбивку. Хруст разносился такой, будто рабочая лошадь в стойле крушила жесткий корм. Дома Коля за один присест съедал ковригу хлеба, две кринки молока и чугунок картошек. Он раньше всех отощал на харчах запасников и последние два месяца из вечера в вечер рассказывал, как он, будучи в гостях у тетки, не доел, дурак такой, сковороду картошки, жаренной с мясом. Его уж бить пробовали, чтоб не дразнился, но Коля не унимался, и день ото дня рассказ его

становился все пробористей, аж в животах у солдат ныло от этого повествования.

Отъевшись в зерносовхозе харчами и пшеницей, Коля тут же начал выполнять работу за половину звзда и посмеивался над бойкими на язык, но неуклюжими, суетливыми в крестьянском деле, мелкосортными горожанами, которые впятером ковыряли копешку; как сытый Коля когда-то ковырял у тетки жареную картошку на сковороде. Коля как подденет на вилы копну, как шуранет ее на плечо и без всяких волокуш к комбайну прет, да еще и кричит что-то раздольное, дурашливое...

Колю Рындина свалило под Сталинградом в первом же бою. Какого истового, какого могучего крестьянина потеряла наша земля!

Глядя, с каким наслаждением гости мои ели домодельные шаньги, я невольно вдруг вспомнил о Коле Рындине и рассказал двум Витям о том, как тяжело было богатырю русскому жить впроголодь и как оглушительно хрумстел он подгорелой пшеницей. И как все мы хотели, чтобы никто больше не знал голода, унижающего человека, выматывающего силы его.

Не развеселились Викторы от моего рассказа, а ссутулились еще больше — один от усталости, другой — по вековечной привычке русских скромников выглядеть как можно «незаметнее».

За плечами их, невольно сутулящимися, уже не одна, не две книги, которые дали критике оправданную возможность толковать, что боль за человека, готовность и способность стать на его защиту, внутреннее соучастие и сострадание, а также «вкрадчивое очарование, женственная мягкость», доброта и безмерная любовь к малой родине, без которой нет и не может быть любви к большой, характерные, объединяющие их работу черты.

Но только ли для них они характерны?

Не та ли это пуговина, через которую питалось и питается вдохновение всякого истинно русского, истинно искреннего таланта?

Тогда, в Вологде, не было у меня таких мыслей. Просто «стронулось» мое ретивое, воспоминания заворочались, и все я пытался сделать непостижимое — вообразить этих парней в ту грозную и тяжелую военную пору.

И выходили у меня маленькие, беззащитные ребята, чего-то постоянно ожидающие. Хлеба, конечно. Чего же еще ждали тогда дети! Хлеба, человеческой теплоты и победы, а там уж папка вернется, много хлеба привезет, а может быть, и сахару...

Вижу рыженького деревенского парнишку. Сверкая запяточниками пимов, тащит он беремья дров, ухаает поленья с громом у печки, подметает пол, заправляет лампу керосином, чтобы, когда мама-учительница придет из школы, усталая и промерзшая до изнеможения, сказала бы ему: «Помощник ты мой...»

Второй Витя видится кучерявеньким, круглоглазым, в чистой рубашке, в штанишках с ляпочками и карманчиком. Он прижался лицом к окошку, расплющив нос о стекло, смотрит на кривощекую улицу Озерную, ожидая с работы маму с пайкой, и напевает: «Я люблю все живо...»

Конечно же, не знал он тогда этой песни, и вообще ему не до песен было, есть ему хотелось, как и всем малышам военной поры, но почему-то так вот и видится: Кривощекое в густом морозном пару, за рекой — мерцающие настороженно и слепо огни Новосибирска, звездно сгущенные там, где огромный завод «Сибсельмаш», на котором доведется Лихоносову начать свой трудовой путь.

По кривощекоевской малолюдной улице, скрипя мерзлыми ботинками, бежит домой женщина, прижав к груди сверточек с хлебом. Это о ней впоследствии напишет ее единственный сын, родная кровинка: «Мать у меня не строгая, но я слушался ее во всем, невольно старался, чтобы молодое горе ее заплыло хотя бы маленькой гордостью за единственного сына. Я благодарен ей за внушенное мне широкое отношение к жизни и людям, и писательское восприятие у меня от нее».

Как мне хотелось бы, чтобы все читающие Лихоносова и особенно пишущие о нем повнимательней прочли эту фразу: «И писательское восприятие у меня от нее». Это избавило бы многих критиков от ненужных домыслов, натужных догадок и тривиальных рассуждений. Сказано как вырублено. И кабы эти слова были относимы лишь к Лихоносову! А не у всех ли нас восприятие «от нее», от матери?

«Каки сами, таки сани», — любят говорить в Сибири, а по другому случаю еще шутят: «Свинья не родит бобра, а все того же поросенка».

Грубовато, конечно, по-сибирски топорно, коробит слух. Ну, чтобы смягчить нашу чалдонскую корявость, напомним изящных французов: «Ищите женщину!»

И найдете, уверяю вас. И это объяснит многое, почти все объяснит.

Отец, Иван Лихоносов, погиб на войне. Одна из многих русских женщин подняла одного из многих осиротевших парней, и не просто подняла, а, будучи жительницей рабочей окраины, так точно и с такой печальной любовью, описанной в повести «На долгую память», сумела каким-то образом выучить свое чадо и наделить совершенно естественной интеллигентностью, сохранив при этом в парне сибирское упрямство, настойчивость и творческий напор в труде нашем, названном одним моим другом шахтерским, — качества, совершенно необходимые и бесценные.

Из ранних вещей Лихоносова я больше всего люблю «Тоску-кручину», угадывая в главном герое некоторые черты характера самого автора, я вижу, как нелегко, порой до крика больно давалась ему, «маменькиному сынку», самостоятельность, эта самая настойчивость и стремление на все смотреть чистыми глазами, а коли глаза — зеркало души, значит, и душу сохранить чистой, незапятнанной. Мне кажется, эта повесть — большая личная победа автора над собой и обстоятельствами, которые, конечно же, были и будут в жизни нисколько не похожи на те красочные картинки, каковые изображаются в школьных учебниках.

Самоутверждение молодого человека, борьба за свое место в обществе были и останутся вечно, и если от них избавят человека или он сумеет избавиться — тут ему, человеку, и конец. Но почему-то в нашей литературе тема самоутверждения считается чуть ли не исключительной и дерзкой! Разве дышать кислородом, двигаться, работать — не естественно?

«Живая мысль — не повторение жизни, не слепок из истины, но новая жизнь, новое содержание, несущее в себе «учительную» силу. Она пускает корни в нашем сознании, продолжая жить и развиваться. Умудренные ею, мы и сами становимся зорче, по-иному смотрим на то, что казалось привычным и примелькавшимся». Эту точную и емкую мысль, высказанную критиком О. Михайловым, рассуждавшим о творчестве Лихоносова, можно отнести к работе всех молодых писателей, которые,

прежде чем осмелиться говорить всеохватно, что чаще всего выливается во всеядность, хотели бы сначала познать самих себя, отделить в себе, а затем и в жизни истинное от мнимого, а это ведь было «вечным двигателем» поэтической души, следовательно, и поэзии.

Но как часто попытка «себяпознания» признается и выдается у нас за «самокопание», якобы вредное нашей литературе и чуть ли не постыдное для советского литератора. Зато набеглое копание в кибернетике, в комбайне либо в мартеновской печи, которая почти как правдашняя полыхает на сцене одного старинного театра, вызывает чуть ли не восторг и умиление. Писателям, осваивающим «производственную тему», даже тем шамкающим беззубым произведениям, по которым легко определить, что авторы их видели лишь трубы производства из окна собственной квартиры, а комбайн в телевизоре, — писателям таковым за «новаторство» — одни пышки, а «самокопателям» — шишки.

Не раз уже и не два следовали критические окрики в адрес Лихоносова, и было опасение, как бы он не полез в спасительную подворотню, не погрузился бы в уютную и теплую книжность, которая утишила не один талант, опеленав его дымкой этакой сладкой творческой полудремы. По правде говоря, это опасения есть и во мне, и Лихоносов как бы подживил его своей последней повестью «Чистые глаза». Уж очень разительно отличается она от «тихих», но глубочайших и внутренне напряженных «Люблю тебя светло» и «Осени в Тамани», отличается как раз бойкостью рассуждений, поверхностью мыслей. Как ни странно, эта, тоже в какой-то мере биографическая, вещь очень книжна. Пожалуй, у Лихоносова она самая книжная, и не от настроения, не от жизни, а от вроде бы уж забытой «исповедалки» ее исток.

В мою задачу не входит производить анализ повестей и рассказов Лихоносова. Признаться, я и не умею этого делать. Более того, считаю, что книги надо просто читать. А то у нас сплошь и рядом, особенно в школах и на читательских конференциях, горазды бывают «анализировать и разбирать» книги и героев, а вот научить читать не умеют, даже, наоборот, случается нередко, отучивают прочно и надолго от чтения.

Путь Лихоносова-читателя — от «Тихого Дона» к Пришвину, Есенину, Бунину, Толстому Льву, а затем и

к древним летописям — мне кажется вполне соответствующим его мировосприятию и характеру, его душе, сумевшей не только почувствовать, но и в работе «задеть» — выражение все того же критика О. Михайлова — «болевые точки современности».

Непрост и нелегок творческий путь Лихоносова от простых, как беседа во время зимних сумерек в тепло натопленной избе, пахнувшей тестом, березовыми дровами и сухой известью, «Брянских» к молитве о русской земле, о ее слове и грустноликих светлых певцах, которым как бы на роду написано задохнуться от восторженной любви к родине своей и неизбежной печали за нее, — к «Люблю тебя светло», где Лихоносов каким-то чудом сумел воедино слить слово и музыку, грусть и восторг, гордость и скорбь, жгучую современность и не менее жгучий исторический материал! Мне эта вещь, которой я так и не рискну подыскать жанровое определение, напоминает самую, быть может, пронзительную, самую национальную симфонию, написанную композитором, уже смертельно больным и потому озаренно чувствовавшим каждую уходящую минуту жизни, — Первую симфонию Калининкова. Думаю, что любовь к музыке и песне, прилипающая к душе сибиряка с малолетства и как бы всечасно звучащая в нем, помогла создать Лихоносову эту «звучную» вещь, и не только эту.

Следом за «Люблю тебя светло» появилась «Осень в Тамани». Это вроде «то же», что «Люблю тебя светло», да не «так же». И мелодия и строй новой вещи иные, но мысль, скрепляющая как бы «парящий над землею», свободный от литературных условностей сюжет, все та же мысль о непрерывности жизни, о скоротечном и в то же время беспредельном ее движении и глубине, доступная, может быть, лишь высшим и тончайшим созданиям природы — ее певцам. Среди них самому пространственному, самому «космическому» поэту Михаилу Лермонтову дано было заглянуть в такие неизмеримые бездны мироздания и человеческой души, что он содрогнулся дару, ему открывшемуся, измучен был им и погублен, как гибнет иной раз соловей от собственной песни, как вянет цветок, преодолевший силу корня, надсаженный собственной тяжестью и красотой.

Я толкую эти, на мой взгляд, пока лучшие достижения Лихоносова (и только ли его? Может быть, придет

еще пора, когда их признают все же высоким достижением всей нашей литературы?) произвольно, на свой читательский субъективный взгляд. Бесспорно, однако, для меня одно — вещи эти дают такой простор мыслям и чувствам, в них так сильно спрессованы «звуки» и материал и столько много видится «за словом», что с первого раза, с налета их — окрывающие или предваряющие какой-то новый жанр в нашей богатейшей русской литературе — не прочтешь и не «раскусишь». Их надо перечитывать, и, уверяю вас, с каждым прочтением вам станут открываться новые и новые «геологические» пласты в этих вещах, исторгнутых звуком и сердцем. Не скрою, я всегда с нетерпением жду новое произведение Виктора Лихоносова и знаю, что будет оно не только по теме новое, но и неожиданное по решению ее. Лихоносов работает медленно, строго и взыскательно, стараясь не повторять даже свое, ранее написанное. Эпигонство, вторичность, заданность, процветающие в нашей литературе, подобно репью на пустыре, не влекут, к счастью, и не расхолаживают Лихоносова, даже, наоборот, прибавляют ему требовательности к себе, подвигают его на еще более глубокий поиск и работу.

«Пока мы обращаемся между собой, — пишет Лихоносов, — мечтаем и выслушиваем комплименты в узком кругу, — уютно, приятно, хорошо. Но оглянись на полки с великими книгами — и страшно и ничтожно думать о себе, якобы продолжателе чудных традиций. Страшно еще и потому, что люди, ум и глубину которых мы не всегда оцениваем, очень ждут от писателя и порою совсем не склонны принимать за правду те «великие», на наш взгляд, истины, которыми мы гордимся в уединенном восторге».

Ну что еще к этому можно добавить?!

Я очень рад, что живу в одно время с таким «идушим вослед» писателем, как Виктор Лихоносов, редким встречам с ним рад и тому, что имею возможность сказать о нем эти от сердца идущие слова. Знаю, доброе слово зерном упадет в бесплодную почву, а в добрую же и чистую душу и прорастет там новыми всходами. Горжусь тем, что родила нас с Лихоносовым одна земля и мы не из бахвальства и обесцененной привычки можем называть себя сибиряками. Землячество, как и родство, ко многому обязывает. Работает земляк напряженно, трудно, не делая заячьих скидок в пути,

значит, и тебя тем самым обязывает к работе взыскательной, жизни бескомпромиссной, дороге нелегкой.

Светлое его слово, добрый и грустный взгляд изда-дека постоянно слышны и ведомы мне. Надеюсь, и читателям тоже.

ВГЛЯДЫВАЯСЬ ВГЛУБЬ

«Поперек Ангары проплыла широкая тень: двига-лась ночь. В уши набирался плеск, чистый, ласковый и подталкивающий. В нем звенели десятки, потом сот-ни, потом тысячи колокольчиков. И сзывали те коло-кольчики на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями о борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь вглубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка».

Тот, кто хоть раз испытывал чувство бессилия от невозможности помочь близкому человеку, погибающе-му на глазах, ужметя в себе, еще и еще раз пережи-вая человеческую трагедию, и еще раз потрясет его свет этой самой спички, вспыхнувшей «у самого дна» не реки, нег, а жизни, таинственный, никем еще не уга-данный, потусторонний, что ли, неотвратимо светящийся во все времена всем самоубийцам.

Простая из простых, молодая, перед миром и людьми чистая женщина наложила на себя руки, а во чреве ее ребенок, а в избе, узнав о ее гибели, умирает мудрый старик Михеич, свекор Настены, защитник ее и на-ставник на все военные одинокие бабьи годы. Но и на этом цепь не обрывается — крадется в каменную пеще-ру Андрей Гуськов, и ясно, что долго ему там без за-бот и помощи жены не протянуть, а уже кончилась война, и друзья Гуськова, оставшись в живых, возвра-щаются домой. Вот и ему бы тоже открыто, заслужен-но, с медалями на груди...

В нашей литературе так много говорилось и писа-лось о тех, кто был на войне, испытал ее, так сказать, на своей шкуре, и о тех, кто не был, что вроде бы недо-стача эта в биографии сделалась упреком литератору, берущемуся за «военную» тему, но пороку не понюхав-шему.

Валентин Распутин не был на войне по про-стой причине — годами не вышел, но это обернулось в повести «Живи и помни» не изъяном, а преимуществом

его перед теми, кто был. Ведь возьми наш брат бывший фронтовик писать о человеке, который до того устал на войне и от войны, что однажды забыл обо всем и обо всех на свете да и задал тягу домой, к жене и родным, так вот непременно в нас явилось бы чувство активного протеста, если не ослепляющей злости: «Ты, гад, устал, а мы, значит, нет!» И начали бы мы этого самого Гуськова крушить и ляпать черной краской.

Распутин насмотрелся на бывших вояк и вдов, наслушался их, вник в самое суть войны и зашел на эту тему со своей глобальной стороны, поднявшись над материалом, а не задавленный тяжким его грузом.

Страшна, чудовищна война, нечеловеческие силы, надсада нужна, чтоб одолеть ее, а помощь тебе одна, но очень и очень важная помощь: сознание того, что за твоей спиной Родина, народ, и среди этого народа малая его частица — твои близкие — отец и мать, сестры, братья, любимая невеста или жена, и другого пути к ним нет, как через победу над врагом. Расслабился, забыл об этом — значит, позор, горе и черная кончина. Да кабы кончина на миру, где, как известно, и смерть красна. Нет, кончина звериная, потайная, тленом своим погибельным касающаяся всего живого, и в первую голову родных людей. Вот Настена-то несла, несла свой тяжкий крест да и сломилась под его тяжестью.

Печальная и яростная повесть, несколько «вкрадчивая» тихой своей тональностью, как, впрочем, и все другие повести Распутина, и оттого еще более потрясающая глубокой трагичностью, — живи и помни, человек: в беде, в кручине, в самые тяжкие дни и испытания место твое с твоим народом, всякое отступничество, вызванное слабостью ль твоей, неразумьем ли, обрачивается еще большим горем для твоей Родины и народа, а стало быть, и для тебя. Так от изображения, от размышлений о людях маленьких и самых что ни на есть простых автор «незаметно», но настойчиво переходит и ведет за собой читателя к многомерному, масштабному осмыслению не только прошедшей войны, но и современной действительности, ибо человеческое бытие вечно и, стало быть, вечно движение жизни. А она задает загадки, пробует на прочность не одних только деревенских парней Гуськовых, она в любой миг любого человека может испытать «на излом».

Прям, но не прост путь самого автора к этой само-
бытной и глубоко нравственной повести — от несколь-
ко назидательных, порой схематичных рассказов и очер-
ков к драматической повести «Деньги для Марии», на-
писанной еще молодым литератором. Но уже в следу-
ющей повести — «Последний срок», произведении глу-
боко лиричном и умном, Валентин Распутин предстает
вполне сложившимся художником, тонким психологом
и стилистом. Далее следует почти не замеченная, но
очень важная на творческом пути писателя повесть
«Вверх и вниз по течению», в коей Распутин, завершив
очень важный начальный этап в работе, как бы отошел
чуть в сторону, чтобы взглянуть на ту дорогу, какую он
сам себе торил, да и поразмыслить о дальнейшей своей
судьбе, стало быть, и о судьбе родной земли. Размыш-
ления оказались плодотворными, если судить по сле-
дующему его произведению — «Живи и помни», луч-
шей, на мой взгляд, повести в нашей литературе послед-
него десятилетия. Чистый тон и высота этого произве-
дения обещают движение автора к вещам еще более
сложным, а читательское мое предчувствие подсказыва-
ет — может быть, и эпическим.

ЧУВСТВО ЗВУКА И СЛОВА

Мы привыкли к расхожим понятиям, они становятся
для нас не только обыденными, но и удобными. Вот при-
выкли говорить: «Сначала было слово». Однако слово-
то происходит из звуков, стало быть, сперва был звук,
и звук тот растворен в природе, и никому не подвластно
услышать его, перенять у природы и передать людям,
кроме поэта и музыканта. А может быть, прежде зву-
ка было чувство? Может быть, всем, что есть вокруг
нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство.
Оно-то и есть первородство звука и самого слова и,
стало быть, вытекающего из них вечно святого и свет-
лого истока поэзии, который, набирая мощи, полнозвучия,
а в наше время широты и шума, вот уже много
веков мчит, не иссякая, будоража человеческое серд-
це, наполняя его восторгом и печалью, подымая бурю
страстей и улаждая тихой музыкой.

Вечна загадка поэта и вечно наше желание отгадать
ее, пробиться сквозь какую-то невидимую преграду или
пелену и постичь то, что за строкой, то есть душу по-
эта, но, когда это произойдет, поэзия утратит смысл и

«секрет», стихи станет возможно изготавливать каждому мало-мальски грамотному человеку, как сейчас учащиеся средней школы на станции юных техников с помощью простых инструментов, из обыкновенных материалов могут выточить и собрать электромузыкальный прибор, радиоприемник, и даже ракету, и любые вещи, так недавно еще поражавшие воображение и повергавшие нас в изумление своей непонятностью и недоступностью.

Верую, с поэзией этого не произойдет, во всяком разе не произойдет до тех пор, пока не отформуются человеческая душа, не сделается стандартной, подобно кирпичу, хотя поползновения, и явные, к этому имеются и есть люди, стремящиеся к тому, чтобы все было одинаково — дома, леса, дороги, одежда и человеческая мысль.

Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека, и в этом ее непреходящее величие и, воспользуюсь бытовым словом, постоянная польза для всех нас, а привораживать человека, околдовывать его словом, точно старинным складным наговором, это ее милая игра с уставшим человеком, которая, с букваря начавшись, открыв глаза ребенку на мир, постепенно втягивает его в серьезный разговор, становится строгим и взыскательным собеседником. Как это необходимо в наш суетный век, когда все «секретное» вроде бы рассекречено, когда после «прелестей» общежития человека все чаще и чаще тянет побыть наедине с собой, предаться созерцанию и осмыслению своей, а значит, и всей нашей жизни.

Женщина плачет в вагонном окне
или смеется — не видно в вагоне.
Поезд ушел. И осталось во мне
это смешение счастья и горя...

Чем увлекают меня, читателя, эти бесхитростные и совсем «простые» строки? Отчего так защемило мое сердце при звуке их? И сам сделался какой-то незащищенный, открытый сладкой печали. Почему повторяются и повторяются во мне эти строки, хотя, может быть, я не запомнил их наизусть?

Кабы я знал! Но кабы я знал, то, стало быть, и написал бы их сам, а не Роман Солнцев, за работой которого я давно и пристально слежу.

Но и сам Роман Солнцев не мог раньше написать

такого. Раньше, вплоть до сборника «Малиновая рубаха», он мог позволить себе напечатать толстый сборник, не особо разбираясь, что надо печатать, а что оставить в столе или вовсе выбросить. Характерная особенность — от книги к книге Солнцев становится сдержанней, а сами книжки тоньше.

Поэт «повзрослел» — и вот этот секрет мне, как читателю, сделался доступен, поэт приостановил свой юношеский восторженный бег, «дыхание» его сделалось глубже, взгляд пристальней, к нему приходит взрослая и мудрая печаль, из которой, словно из бесконечной нервущейся нити, выткалось полотно нашей дивной и великой русской поэзии. Радостной, восторженной поэзии Россия дала мало. Не из чего было черпать — весна, дорога, любовь? Но весна — так скоротечна, дорога — так коротка, любовь — преходяща, природа же наша бывает часто в грустной, нежели веселой поре. Недаром почти все русские литераторы и музыканты утверждали, что осенняя пора увядания рождала и рождает неповторимость чувств и погружает в грусть, вызывая думы плавные, глубокие, о вечности и мироздании...

Нас всех одолевает сон.
Или томит любви бесцелье,
Но, кто-то мыслью потрясен,
Сидит сейчас в ночной постели.
Он курит или спичку жжет
И смотрит в черное окошко.
Там по стеклу звезда ползет,
А может, снег — сырая крошка.
О чем он думает, когда
Другие спят, раскинув руки?
Какие видит он года,
Какие новые науки?
Злодейства ль тайные врагов
Мрачат его чело крутое?
Что ж он не спит? Уж пять часов.
Ведь быть не может, чтоб пустое!
Хочу я думать, что во тьме,
Раскуривая сигарету,
Он держит вечное в уме,
Иначе в этом смысла нету...

Если поэт начинает говорить о вещах вечных — это не всегда от дерзости, чаще от наступившей зрелости, житейской заряженности и душевного груза, а то и перегрузок. И если он часть своей тяжести перекладывает на читателя, это не значит, что у него есть стремление

облегчить себя, нагрузить нас своими страданиями, чтоб не страдать самому.

Нет, не для того горит и мучается сердце поэта! Оно всегда бескорыстно, всегда устремлено к свету разума и добра, и в непосильной работе оно часто сгорает или разрывается, отдавая все, что в нем есть, до последней горячей капли крови, людям и искусству.

Поэзия всегда стремилась открыть в мире прекрасное, и своими муками доказывали поэты, как долог и тяжок путь к красоте и постижению смысла жизни.

Поклонимся же низко за эту благородную работу стихотворцу и пожелаем ему того, чего желали странники Востока друг другу: «Торопись обрадовать добрым словом встречного, может быть, в жизни не придется больше повстречаться».

ПЕСНЯ ДОБРА И СВЕТА

В старину бытовало слово «сочинитель», которое со временем заменилось несколько нейтральным словом «писатель», быть может, потому, что развелось так много пишущих что угодно, когда угодно и о чем угодно, а вот сочинителей в литературе, в особенности в поэзии, стало совсем мало. Людей же, слагающих стихи, и вовсе единицы.

К этим немногим относится Ольга Фокина.

Однажды, когда дети Ольги были маленькие и не оставляли времени для работы, но стихи ее все равно появлялись в периодике, я спросил, когда же она пишет? «А вот когда укладываю детей или хожу куда — и складываю стихи. Потом записываю. Да вот записывать-то некогда... уж дождусь лета, деревни...»

Она почти не знает слова «черновик», слагая стихи и отделявая их начисто в голове. Мне довелось встречать еще одного поэта, который на обычный вопрос, как он пишет стихи, отвечал: «Очень просто. Беру лист бумаги, ставлю сверху «Н. Рубцов» и записываю их столбиком».

Если о пишущих стихи, о их напряженной работе можно составить представление по рукописям, то никогда и никто не узнает, какой процесс происходит внутри поэта, слагающего стихи «про себя». По складу и ладу строк кажется, что стихи родились сами собой, как песня у веселой птицы, и лишь по ранней седине, уста-

лости и печальному облику поэта остается заключить: не так-то уж все легко, как кажется.

Однако по облику Ольги Фокиной ничего не угадаешь. Когда ее ни встретишь, она деловито-улыбчива, скромна, к людям приветлива, вечно занята хлопотами, детьми и на привычный вопрос: «Как живешь?» — несколько не рисуясь, не играя в бодрячество, отвечает: «Хорошо!»

Все у нее хорошо, все ладно, и глаза светятся, как и прежде, молодо, ясно, душевным здоровьем веет от нее. Помню, когда учился на Высших литературных курсах и жил в общежитии Литинститута, видел Ольгу не раз, круглолицую, улыбчивую, с челочкой на лбу, в розовой шелковой кофточке, которая, видимо, и была ее единственным праздничным нарядом, вывезенным из деревни, где она уже поработала медником, да сундуков не накопила, зато так и пыхала румяным детством, резвой юностью, и стихи той поры были очень похожи на компанейскую девушку, к себе строгую и в то же время общительную, которой последним куском поделиться, кого-то пригреть, кому-то помочь никакая не тягость, а душевная необходимость.

Я встречал читателей, которые, приняв естество и песенность ранних стихов Ольги Фокиной за основу ее поэзии, в этом мнении удобно и утвердились, а между тем и в ранних стихах за непринужденностью строк, за их сказовым и песенным ладом уже и тогда проглядывалась, точнее, прослушивалась трагедия недавней войны и вторым, пока еще едва слышным фоном, — вечная песнь женщины, которая со временем примет облик женщины русской, женщины-матери, какую поэтесса до сих пор не перестает звать нежно и неотстраненно — мамой. А матери ее, Клавдии Андреевне, уже за семьдесят, но старая русская крестьянка все еще трудится, все еще «на ногах», как принято говорить в деревне, хлопочет по дому, занимается невидимыми миру делами да ждет каждой весной в родную деревню Артемьевскую доченьку с внуками.

Ольга Фокина много, удивительно много, плодотворно и цельно работает. Стихи Фокиной для меня, давнего и постоянного ее читателя, звучат как единая песня о Родине, большой и малой, о маме, о деревне, о себе, о не таком уж далеком прошлом, о своем месте в нынешней жизни. Новации, модные течения и ветры проносятся над ее головой, оставляя строку Фокиной не-

захватанной, погонями за сиюминутным успехом не задержанной.

Тонкой, светлой струйкой начала вплетаться в эту песнь детская мелодия — подрастают дети, и мать не может не думать, не тревожиться об их будущем, ибо они, дети ее, — зерна в том колоске жизни, который зреет на той же земле, где росла когда-то их мать, и гнется, шелестит тот колосок на всех, таких беспокойных, мирских ветрах.

Вечная, великая песнь матери, мелодия которой вселяется в сердце человека с первыми звуками жизни, у поэта не кончается с остатком его вздохом, продолжаясь в других людях, в других благородных сердцах. Усложняется мир поэта, восприимчивей становится душа его, и, не теряя ясности, простоты, стих Фокиной становится многосложным, мелодия его пространственней, мысль и чувства углубленней — поэтом творится симфония, начатая как бы голосом непритязательной, деревенской дудочки, все больше и больше включающая в себя оркестровых голосов, — сложнее партитура, сложнее мысль, однако главная тема симфонии — тема судьбы народной, думы о ее нелегком прошлом — так и остается главной, хотя не утрачена, наоборот, еще более прозрачной сделалась мелодия любви к Родине, доверительней ее звучание и все так же открыто добру и состраданию сердце творца.

Ольга Фокина — дитя своего времени. Она и ее поэзия возможны только в мирные дни. Сам характер поэта предопределяет назначение его слова, а оно у Фокиной без гроз, без выкрутасов, загибов и загадочных страстей, раздирающих грудь, а у нынешних поэтов — чаще всего модную рубаху на молодецкой груди.

Формализм всегда и возникал в силу разных изгибов в жизни, добавляя мути и в без того мутное течение бытия. Не случайно думается: пышный расцвет всякого рода течений в поэзии, уводящих человека от естества и реальности, произошел, допустим, в годы нэпа. В годину тяжелых испытаний, в годы войны, например, когда людям сделалось не до шуток, надо было выжить или умереть, требовалось идти прямо, грудью, только грудью на врага, литература наша, в том числе и поэзия, лишена была какого-либо позерства, салонности, жеманства. Суровая с виду, мужественная по содержанию, открытая, прямодушная, она отвечала на

сущным потребностям времени, шла в ногу со своим народом, она сражалась.

В первые послевоенные годы, на которые пало детство Ольги Фокиной, народу нашему было тоже не до шуток, испытания не менее тяжкие ждали его, в особенности обезмужичевшую, надорванную войной деревню.

Большую семью поднимала мать Ольги Фокиной и вырастила всех детей, никого не потеряла. Как вырастила, какого труда, порой непосильного, стоило это матери — можно с совершенной доподлинностью узнать из стихов поэтессы, только за судьбой Фокиной Клавдии Андреевны вы почувствуете и узнаете всех русских матерей, а за жизнью и деяниями родной северной деревни увидите судьбу всей русской послевоенной деревни и непременно — это уж неизменное достоинство русской поэзии, прекрасная традиция ее — благородство людей деревни, величие их труда.

Воспевая будни села, его вечный труд, непозлащенный быт, Ольга Фокина поэтизирует все это не натужным усилением голоса, не набором внешних атрибутов или упором на кондовость и неповторимость Севера — поэтизация происходит из любящего сердца, удесятеренно чувствующего человеческую боль, всегда настроенного острием против зла.

Вот написал я все это и почувствовал: в какую же привычную и удобную схему вогнал я самобытную поэтессу! А поэт, в особенности поэт самобытный, всегда неповторим, и ни в какие он схемы и рамки не вмещается, как бы нам того ни хотелось. Конечно, с привычным и жить привычно, спокойно, но поэзия, настоящая поэзия, существует для того, чтоб «глаголом жечь сердца людей», волновать их, тревожить, возбуждать потребность мыслить и совершенствоваться. Да и сама Ольга Фокина, не задаваясь, в общем-то, такой целью, всем ходом своей работы, движением мужающей мысли рушит привычные схемы. Вот одно из ее последних, привычных, «фокинских» стихотворений о том, как бабушка ее знавала:

...Не с какой-то
ерунды
В человеке рак заводится,
От сонной от воды!

И что же противопоставляла бабушка страшной той болезни? Какую «науку» преподавала внучке?

По ночам не бегай пить,
Ну а если уж
 приспичит —
Воду надо разбудить!
Ковшиком о край кадушки
Брякони, не поленись...

И дальше простой, однако «надежный» наговор и проговор:

А поди ж ты! Так,
 спроста,
Бабушка с ее устоями
Жила годов до ста...

К слову, умение владеть юмором, да еще естественно, да еще к тому же в поэзии, — дар редкий.

Но что это? «Поэзия проблем не поднимает. Прогулочный себе усвоив шаг, она, увы, не только не ломает, но даже и не скрешивает шаг...»

Это тоже Ольга Фокина! Пока еще мало привычная, но много обещающая, ибо находится она в самом расцвете поэтических сил, и все так же открыт, светел, правдив и чист ее взгляд, все так же нараспашку открыто сердце добру, все та же в ней, скрытая от людей, стойкость в борьбе с житейскими невзгодами, все так же благороден и патриотичен ее стих, высок голос.

Голос женщины, матери, гражданина, поэта!

И ВСЕ ЦВЕТЫ ЖИВЫЕ

Судьбы человеческие, они — каждая сама по себе, хотя живем мы вроде бы сообща и все у нас должно быть общим. Судьбы писательские и вовсе прихотливы. На моем веку произошло немало блистательных, шумных восхождений на вершины, где уж одно только снятие, благоухание, восхищение, поклонение, и вершина эта оказывается столь заманчивая и удобная, что сиднем сидит на ней обласканное новоявленное творческое диво и совсем уж не видит, что делается вокруг, в особенности у подножия вершины — кто там копошится, зачем копошится и куда это все спешат, на работу, что ли?

Однако есть писатели, напоминающие мне старательного и умного пахаря, который встает до зари и без шума, гама, показательной активности и молодецкой стати делает свою трудную работу, зарабатывает свой хлеб.

Но случилось, как это ни горько признать, и поныне случается, что судьба такого вот скромного труженика не только в повседневной, сложной жизни, но и в литературе проходит незамеченной не только при жизни, но даже и после смерти — и это вроде бы при всеобщем-то, заинтересованном внимании к современным нашим творцам?!

Такой вот укорный пример нашему творческому коллективу и многохваленному читателю — судьба писателя Константина Воробьева, которого граждане наши, даже много и внимательно читающие современную литературу, по сию пору путают со всеми Воробьевыми, кои были и есть в литературе (а их и сейчас там до десятка), но чаще всего и совсем не знают. Упомянешь его на встрече, назовешь в числе выдающихся русских советских писателей — недоумевают читатели, пожимают плечами или изумленно спросят: «Да уж не тот ли это Воробьев, что написал «Убиты под Москвой», «Крик» и еще что-то?» — «Тот, тот!» — скажешь, и непременно последует: «Это ж замечательные вещи!».

Вот так: знают книги, знают повести, но не знают автора! Тоже феномен читательский, тоже загадка, и загадка тем удивительней, что не только читатели, но и многие, так сказать, «собратья по перу», «работники одного цеха» мало или совсем не знают творчества Константина Воробьева. Однако не было еще случая, чтоб, отрекомендовав кому-то книги моего, ныне уже покойного, товарища и собрата по войне и работе, я услышал бы: «не понравилось», «не показалось». Наоборот: всегда письменно или устно благодарили меня читатели за то, что открыл «замечательного художника, к стыду моему, как-то пропущенного...»

Печататься Константин Воробьев начал в середине пятидесятых годов, сперва в провинции, затем в Москве, и не где-нибудь, а в «Новом мире», где появиться в ту пору мог писатель не просто сложившийся, но и владеющий «крепким пером».

Он долго и трудно шел в литературу, его рукописи громили московские рецензенты в журналах и издательствах, громили беспощадно, изничтожающе — я потом узнал их, этих «закрытых» рецензентов, — громили они и меня, и в конце концов убедился, что это в большинстве своем несостоявшиеся писатели-теоретики, все и вся знающие про литературу, но не имеющие писательского дара.

Чтобы существовать самим в литературе, кормиться — им надо было оборонять себя и свое утепленное место и в первую очередь обороняться от периферийной «орды», от этих неуклюжих, порой угловатых и малограмотных, но самостоятельных и упорных, жизнь повидавших мужиков. Имеющие за плечами институтское или университетское образование, они какое-то время успешно справлялись с нашим братом, сдерживали на «запасных позициях», но когда их «скрытая оборона» была прорвана, они взялись трепать нас печатно, и доставалось нам все больше за «натуралистическое видение жизни», за «искажение положительного образа», за «пацифизм», за «дегероизацию», за «окопную правду», которую один и ныне процветающий писатель назвал «кочкой зрения», хотя сам воевал, между прочим, в армейской газете и, что такое окопы, представлял больше по кино, да и самое войну наблюдал издали.

В особенности доставалось за «окопную правду», за «натуралистическое» изображение войны и за искажение «образа советского воина» писателю Константину Воробьеву.

Но у периферийных писателей той поры, в первую голову у бывших воинов — доподлинных фронтовиков, окопников, в конце концов образовалось своего рода товарищество, которое, как правило, начиналось с переписки, с заочного знакомства.

И мы прекрасно понимали и были единомышленны в том, что когда читателя долго кормят словесной мякиной, пусть она, мякина, и о войне, у него, у читателя, появляется голодная тупость и малокровный шум и звон в голове.

Читая послевоенные книги, смотря некоторые кинофильмы, я не раз и не два ловил себя на том, что был на какой-то другой войне. (К. Воробьев уверял меня в том же.) Да и в самом деле: как иначе-то думать, если вот под песню «Клен зеленый» воют летчики, даже не воют, а выступают на войне: «Парни brave, brave, brave!..» И так вот красиво выражаются: «Война — дело временное, музыка — вечна!» И-и... взмах руки: «Кле-он кудр-рявый!..» — летят вверх эшелоны, цистерны, — «р-рас-кудр-рявый!» — и лупит в хвост удирающему фрицу краснозвездный сокол, аж из того сажа и клочья летят! Еще раз: — «Раскудр-рявый!..» — и в землю врезается бомбовоз, разбегаются ошеломленные враги, все горит, все бежит — и как-то в кинотеат-

ре я тоже заподпрыгивал на сиденье, и в ладоши захопал вместе с ребяташками школьного возраста — до того мне поглянулась такая разудалая война.

Или вот еще: смертельно раненная девица поет романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он...» — и палит из автомата по врагам, палит так много, что уж в рожке немецкого автомата не сорок, а тыща патронов должно быть — это она, под романс-то, «красивая и молодая» заманивает фашистов в темь леса, на неминуемую гибель.

А там, на некиношной-то войне, на настоящей, дяди баскетбольного роста, как штангист Алексеев телосложением, раненные в живот (редко кто с этим ранением выживал), криком кричали «маму», и уж — срамища сплошная — доходило до того, что просили, умоляли: «Добейте, братцы!..»

Конечно, при подобном, до конца так и не избытом «творческом климате» и чудесах искусства и литературы писателям вроде Константина Воробьева было тяжело жить и работать.

Повторяю: у даровитого человека судьба была, есть и будет отдельная. У да-ро-ви-то-го! Возьму на себя смелость заявить, что у Константина Воробьева не только жизнь, но и творческая судьба была не просто отдельной, а исключительной!

Примерно к середине шестидесятых годов творческое братство писателей-фронтовиков, быть может, и не широкое, но стойкое, приобрело уже заметные очертания. Бывшие истинные вояки, пришедшие в литературу почти все одинаково трудно, прорвали сопротивление окопавшегося в лакировочной литературе «противника». Об этом непростом и нелегком становлении тогдашней молодой литературы даже нынешняя, вроде бы все знающая критика помалкивает, а стоило бы ей вместо того, чтобы перемалывать молотое, хвалить хвалимое, поинтересоваться архивами хотя бы того же Константина Воробьева и почитать ответы из столичных изданий — удивительные бы документы они для себя открыли!

Но чем периферийщиков больше игнорировали, оттирали и унижали, тем они жадней и привязчивей следили друг за другом и, прежде чем пожать руку собрата по войне, зачастую уже досконально знали его творчество, вступали в переписку, поддерживали, как могли, иногда и печатно. Но и требовали друг от друга будь

здоров, ибо хорошо знали: чтоб нам утвердиться и устоять в литературе, нужно работать в десять, в сто раз больше тех, кто учился, самоусовершенствовался, наполнял свой культурный уровень в ту пору, когда мы дрогли в военных окопах, а потом боролись с разрухой и нуждой.

Для меня был и остался главным судьей в литературе мой лучший друг Евгений Носов, с которым мы познакомились и сошлись на Высших литературных курсах. Если мой рассказ или повесть «показались» Носову, он признал и принял новую вещь — можешь смело тащить ее в любой журнал, в любое издательство. Нежный, добрый человек, он становится беспощадным, когда дело доходит до творчества, и требует с тебя так же, как и с себя, ибо по себе знает: чтобы выбиться в люди нам, много не добравшим в образовании, надо работать. Нам надо писать и отделять свои произведения так, чтобы никаких «прений» не было насчет «качества продукции», чтобы редакторы и другие деятели литературы морщились, называли нас «густопсовыми реалистами», но отправляли рукопись в набор, потому что деваться-то некуда. Не надо забывать и такой фактор: в пору нашего становления как литераторов умами властвовала так называемая «исповедальная» литература, против которой я лично ничего не имею — она хотя бы уже тем полезна, что вызвала ответную реакцию и ускорила приход литературы иной, так называемой «деревенской прозы». От нас в ту пору никто не взял бы в печать произведения, написанного на уровне: «он сказал, она сказала». И посейчас никто не возьмет. Но уже по другим причинам, по причинам высокой требовательности, утверждению которой в немалой степени способствовало военное поколение писателей.

Нам приходилось и приходится работать так же, как на войне, — все лучше и лучше. Иначе не победить. Иначе пострадает наше достоинство, будет принижено значение современной отечественной литературы.

Это я сделал такое, пусть слегка и патетическое отступление прежде всего для нынешних молодых литераторов, которые, как мне сдается и видится, думают, что мы, военное поколение писателей, вошли в послевоенную литературу под духовой оркестр, молодецким дружным строем.

Творческая судьба Константина Воробьева — наглядное подтверждение тому, как ему, да и всем нам

далась эта самая литература и то положение, которое мы по справедливости в ней занимаем.

После того как критик Гр. Бровман навалился на Константина Воробьева и начал прорабатывать его при появлении любого его рассказа, любой повести — будто на посту стоял и караулил! — за те самые грехи, что я перечислил выше, мне пришлось вступить за фронтовика-писателя, и я чуть ли не впервые попробовал себя в критике, написал статью в газету «Литература и жизнь» (ныне «Литературная Россия») под названием: «Яростно и ярко».

Позволю себе для подтверждения моих высказываний ту маленькую статью привести здесь целиком, думаю, она убедительней, чем нынешние мои слова, развеет у доверчивого нашего читателя мнение, будто перед нами, писателями военного поколения, расстилались ковровые дорожки.

«Бывает так: читаешь рассказ или повесть, и все время чудится тебе человек, который по лености или недомыслию не запасся на ночь дровами. И сидит он, бедный, один в ненастную ночь, скучно коротает ее при чуть теплящемся огоньке — как уж совсем замирать огонек начнет, он палочку подбросит, потом еще, потом еще...

А есть писатели другого склада. Они, не жалея, валят в костер весь свой запас, всю свою энергию, и сердце тоже, не подживляя огонь скупыми порциями хвороста. Чтоб горело. Чтоб ярко было!

Вот за это яркое, порой стихийное горение мне нравится писатель Константин Воробьев, человек самобытного таланта.

Критикой К. Воробьев совсем не избалован. Более того, две его повести: «Крик» и «Убиты под Москвой», напечатанные — одна в «Неве», а другая — в «Новом мире», — как только появились, были раскритикованы. А наиболее значительная повесть: «Сказание о моем ровеснике» (в журнале «Молодая гвардия» у нее было лучшее, на мой взгляд, название — «Алексей, сын Алексея») — осталась вообще незамеченной.

Самой «отторженной» оказалась повесть К. Воробьева «Убиты под Москвой».

Итак. «Убиты под Москвой». Кто? Рота.

И не просто рота, а рота кремлевских курсантов.

И оттого, что она не просто рота, трагедия ее по-особому страшная, и хочется кричать от боли. В иных местах, читая повесть, хочется загородить собою этих молодых ребят, вооруженных «новейшими» винтовками СВТ, которые годны были лишь для парадов, и остановить самих курсантов, идущих на позиции с парадным, шапкозакидательским настроением.

Курсанты окапываются, ждут боя, фашистов, а дожидаются... отступающих наших солдат, растерзанных страхом. Курсанты стали презирать, ненавидеть за трусость этих солдат, особенно их генерала.

А к вечеру капитан Рюмин, командир курсантской роты, выясняет, что они уже окружены, их уже обошли, и окапывались они зря, и ждали зря, и никакого планомерно рассчитанного боя не будет. Им просто-напросто надо выходить из окружения и пробиваться к своим.

Чтобы не убить веру в свою силу у этих парней, не обстрелянных, но действительно преданных Родине до последней кровинки, капитан Рюмин решает дать им возможность «не просто так» отступить, а с победой.

Курсанты ночью атакуют впереди лежащее село, занятое гитлеровцами, которые до того «охамели, — как говорит лейтенант Гуляев, — что спать в кальсонах».

И вот ночной бой, жестокий, сокрушительный.

Потом, после боя, лейтенант Алексей сходит посмотреть на застреленного и додушенного им врага.

«Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе, «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора».

Так о бое может писать человек, только сам хлебнувший окопной жизни, горя, крови и слез. И напрасно критик Гр. Бровман обвинял К. Воробьева в натурализме, пацифистском духе и других грехах.

Воробьев начал войну рядовым необстрелянным бойцом, каких и описал в повести «Убиты под Москвой», а закончил ее командиром отдельной партизанской группы в Литве, изведав унижение и боль окруженца, а после — и долгожданную, выстраданную радость победы.

А что касается натурализма, то я могу, как бывший окопник, сказать, что не знаю ничего страшнее и натуралистичней войны, где люди убивают людей. И коли К. Воробьев, все испытавший на войне, не умеет рядить ее в кому-то нравящиеся романтические одежды, значит, иначе не может. Он пишет, страдая за людей, без расчета кому-то понравиться и угодить. В том его сила!

Вернусь к повести, хотя, откровенно говоря, мне бы хотелось кончить читать повесть и говорить о ней на том месте, когда наши «долбанули» фашистов, и затопать бы ногами, как до войны, в темном зале кино, и закричать от восторга, видя, как красноезвездные танки гонятся за толпой врагов и те, рассеянные, с вытаращенными глазами, в панике валяются и поднимают руки вверх.

Но это там, в довоенном кино. А здесь немецкие самолеты наутро загнали дерзкую роту курсантов в сосновую рощу и завалили бомбами. Курсантов просто уничтожили, их закопали, сожгли заживо вместе с лесом.

Повесть «Убиты под Москвой» не прочтешь просто так, на сон грядущий, потому что от нее, как от самой войны, болит сердце, сжимаются кулаки, хочется единственного: чтоб никогда-никогда не повторилось то, что произошло с кремлевскими курсантами, погибшими после бесславного, судорожного боя, в нелепом одиночестве под Москвой.

Повторяю, это не самая лучшая повесть К. Воробьева, и остановился я на ней подробно только потому, что уважаемый критик категорически «зачеркнул» ее. Лучшими представляются мне повести: «Сказание о моем ровеснике» и «Крик», тоже очень эмоциональная, написанная на одном, «верхнем» дыхании. Что же касается самой большой в книге повести: «Почем в Ракитном радости», то она местами сбивается на авторское кокетство, совершенно чуждое суровому и достоверному перу К. Воробьева, и оттого впечатление от нее какое-то лоскутное. Местами она превосходна, искренна до предела, и тут же рядом в ней присутствуют назидательность, резонерство и литературщина.

Мне думается, что этой повести, как и некоторым рассказам К. Воробьева, вредят известная заданность и та самая, никому не нужная расчетливость, когда сидящий у костра человек соображает: подложить ли ему еще палочку в костер.

Константин Воробьев силен там, где он пишет, точнее, живописует свободно, давая себе и своему воображению полный простор, а языку, кстати говоря, отличному, богатейшему оттенками и красками, русскому языку, — полное дыхание, как на ветру, напоенному запахами родной ему курской земли, русских полей и садов.

И тогда огонь, зажженный им, горит во всю мочь, яростно и ярко».

Статья эта написана и напечатана в 1965 году, и она избавляет меня от ненужных повторений, да и петушистость ее мне как-то все еще по нраву, ныне бы я так не сумел написать, призвал бы себя к сдержанности и теоретизировать бы взялся. Кроме того, в этой статье изложено содержание одной из лучших повестей о войне, и не только у Константина Воробьева, но и во всей нашей литературе, что теперь общепризнано, и слова мои: «Это не самая лучшая повесть К. Воробьева» я после повторного прочтения повести беру назад, и, надеюсь, читатели простят мне этот грех и некоторую менторскую назидательность в конце статьи — это мне хотелось выглядеть «солидно», не «отставать от тенденций времени». Словом, все это — издержки молодости. Литературной.

А теперь самая пора рассказать подробнее о самом Константине Воробьеве — когда еще доведется писать о покойном товарище — не знаю.

У меня хранится книга повестей и рассказов Константина Воробьева с его дарственной надписью, изданная в 1964 году «Советской Россией», и в книге этой оказалась вырезанная мной из журнала «Смена» редакционная заметка с портретом молодого, не просто красивого, а какого-то яркого юноши с темной прической (она окажется рыжеватой), тоненького, изящного, даже в чем-то интеллигентного (он, кстати, окажется высоким, статным, резким в словах и жестах, но в чем-то и вправду неуловимо интеллигентным), и я, глядя на этот журнальный снимок, всегда с грустью вспоминаю грустную же русскую поговорку: «Красивыми, быть может, не были, а молодыми были».

В заметке написано вот что:

«В журнале «Смена» был опубликован рассказ-быль К. Воробьева: «Верное сердце». Редакция получила много откликов на него. Читатели просят познакомить»

их с Константином Воробьевым, с его новыми произведениями.

Константин Дмитриевич Воробьев родился в 1919 году в Курской области. Юношей приехал в Москву, работал уборщиком в магазине, был шофером, а вечерами учился. Затем стал профессиональным журналистом. Войну К. Воробьев закончил командиром отдельной партизанской группы в Литве.

В 1956 году в Вильнюсском издательстве вышел первый сборник его рассказов: «Подснежник».

А теперь я «передам слово» земляку Константина Воробьева, нашему общему другу, задушевному человеку и писателю, Евгению Носову:

«...Я развернул карту моей курской стороны и долго вглядывался в ту ее полуденную часть, где к тонкой синей прожилке безымянного ручья прилепился похожий на рыбью икринку топографический кружок села Нижний Реутец. Из этой-то икринки и вышел в большой свет своеобразный и яркий художник Константин Дмитриевич Воробьев. Родился он всего в одном дне ходьбы от моей деревни, и получилось, что некогда, еще мальчишками, мы видели одни и те же закаты и восходы, слышали одни и те же майские громы и поди что мокли под общими ливнями. Да и хлеб ели почти с соседних полей, и жили, и росли по единым обычаям, дошедшим к нам от общих наших предков — пахарей и воинов земли Северской.

Но так случилось в круговерти жизни, что не знали мы друг друга почти полвека и встретились (теперь горько сознавать это) лишь незадолго перед кончиной Константина Дмитриевича. И чувствую, догадываюсь, как нужны мы были друг другу, почти одновременно вступившие в литературу, трудно, вслепую искавшие туда дорогу, как важны были нам в ту пору взаимная поддержка и одобрение».

Слышите, как большой мастер, тонкий стилист, честный человек, Евгений Носов в пожилом уже возрасте, вольно и невольно винится перед земляком-писателем. И общественность наша, в первую голову литературная, пыталась и пытается это сделать — после смерти Константина Воробьева (1975 год): в Вильнюсе был издан двухтомник; одна за другой вышли книжки в центральных издательствах столицы. Наконец-то! — снизошло до творчества большого мастера слова и самое массовое издание — «Роман-газета»; появились

статьи и исследования творческого наследия в газетах и журналах. Слышал я, что известный режиссер Алексей Салтыков собирается ставить художественный фильм по повести «Убиты под Москвой». Медленно, как-то разрозненно и лениво начинает проявлять интерес к творчеству К. Воробьева и наш дорогой читатель, которого, судя по отношению хотя бы к этому незаурядному писателю, мы как-то заискивающе перехваливаем и торопимся ему наговорить комплиментов при любом удобном случае, особенно по торжественным дням.

И, следя уже за посмертной судьбой писателя и товарища, не раз и не два я горько вздохнул: «Вот бы все это при жизни!»

Как нуждался Константин Воробьев в участии и поддержке. Как трудно пробивался в печать. Всю жизнь трудно, с нервозностью, доходя порой до отчаяния и душевной депрессии.

Однажды я написал письмо в Вильнюс незнакомому еще тогда писателю с восторгами по поводу повести «Алексей, сын Алексея». Потом она будет названа «Сказание о моем ровеснике». И с руганью по поводу повести «Капля крови», которую тоже написал Воробьев, но совсем другой — вот вам и «лучший в мире», внимательный читатель. Еще один!

«Не знаешь ли ты, мученическая душа твоя русская, отчего нас невозможно пронять, отчего мы, несмотря ни на что, сохранили живой, честный ум и веселый смех. И никому, никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Потом, при личном знакомстве, придется убедиться, и не только мне, что оптимизм его, Кости, и резкий, ядовитый, но веселый нрав — все это от природы, а не от литературы. Зная, как трудно складывалась его военная судьба, мы много и не раз говорили об этом, но более всего расспрашивали его о том, что это такое — кремлевский курсант? Каково служить при Кремле? И он охотно, порой с юмором рассказывал нам, его друзьям и товарищам, о действительно очень трудной, единственной в своем роде службе. До войны стояли возле Мавзолея и на других постах по два часа. Ныне — один час. Неподвижно. Окаменело. Со стороны это торжественно, красиво, благоговейно. Тем, кто смотрит. Но тем, кто стоит?.. Когда нет посетителей, можно переступить с ноги на ногу, переморгнуться с напарником

по посту, размять пальцы на руках и ногах. Но когда на глазах у людей...

«Села как-то муха стоящему напротив курсанту на лицо и пошла обследовать его черты — такая ли шустрая, любопытная: и в нос залезет, и по губам шарит, и в глаза заглядывает. Я едва сдерживаюсь, чтоб не засмеяться. Нельзя — у Мавзолея стоим, идет народ. А она, муха-то, обследовала лицо напарника, ничего в нем выдающегося, видать, не нашла, покружилась — и раз! На мое лицо! И тут уж я до конца осознал старую истину — смеется тот, кто смеется последний...»

Бог его знает, может, это байка кремлевских курсантов насчет мухи, однако в память рассказ Кости запал.

Приняв первый бой под Москвой, жестокий, беспощадный, Константин Воробьев попал в плен, бежал из шяуляйского лагеря в партизанский отряд и там встретился с Верой Викторовной, которая стала его женой. Она и поныне хранит верную ему память. И архив писателя. Сейчас и Вера Викторовна, и дети Константина Воробьева живут в России, в Москве.

Как мечтал, стремился покойный писатель домой, в Россию. Но так и не смог осуществить своей мечты, так пусть хоть его близкие поживут здесь.

«...Желаю радостей и хоть немного денег. Ты не задумывался, отчего их у нас нету?»

«В день по абзацу пишу, а иногда и по целой странице. Видал?»

«Вот и дождался я своих «Аистов» (сборник повестей и рассказов: «У кого поселяются аисты». «Советская Россия». 1964 г. — В. А.) Посылаю тебе их. Жалко, что «Убиты под Москвой» ты читал в журнале. Там до черта было купюр. В сборнике же это полнее. Я ведь писал их, как продолжение «Алексея». Тебе не кажется, что мы с тобой одним миром мазаны?»

«Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов на своих аистов. Сволочи, вышибают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!»

«Мне известно, что жить и писать с этим (живым, щедрым, русским сердцем) чрезвычайно трудно, но иначе нельзя, не стоит писать, а стало быть, жить. Мы нищи хлебом, на зато «в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне», как сказал Блок. Это чув-

ство радости за свою нерастраченность очень четко проявляется в лесу, на пустынном озере. Правда?»

«Хочу в Русь. Криком кричу — хочу домой!»

«Что ты делал в Курсках? А Носов — кто? Я не читал его. Ох, хочу на Родину! Я ведь чуть-чуть не смылся в Рязань, да не вышло с жильем. Остается одна надежда — купить хатку где-то, крестьянскую, рублей за 200—300».

«Спасибо за ласку: я, видишь ли, уже отвык от человеческого слова, потому как рык и брань сплошь. И не то чтобы я не понимал сути этой брани, не ведал истины этой брехни, но сердце-то незащищенное!..»

«Да, конечно, выдюжим, но дело в том, что иссыхает душа, выпадает из рук карандаш, вянут замыслы... А надо бы выдюжить! Ох, как надо! Но вот я иногда иду по улице и думаю: не дай бог упасть и окочуриться, ибо сраму не оберешься».

«Принимался несколько раз писать тебе, но выходило так nepотребно мрачно, тоскливо и горько, что... надо было рвать письма: я не люблю нытиков и неудачников... Ну-с. Есть у меня и просветы на горизонте: ребята из Пскова обещают осенью квартиру там. Перееду. Был я у секретаря обкома. Кажется, перееду. Может, там, на родной земле, будет лучше».

«...В Пскове не дали квартиру. Живу хреново. Меня совсем перестали печатать. Я ожесточен, а это не помогает писать».

«Пребываю преимущественно в лежачем положении».

«...Мне передали, что ты на пленуме сказал доброе слово обо мне. Я тогда был в больнице, с воспалением мозга и частичным параличом конечностей. После операции (трепанация черепа) рука и нога восстановились, а левый глаз видит плохо — трои́т и двоит, так что, к примеру, ежели встать возле метро и протянуть руку, то поданный пятак будет сходить за три... Будь добр, черкни мне пару строк вот о чем: ты не мог бы посодествовать в издании сборника моих повестей и рассказов в издательстве «Современник».

Из этих коротеньких выдержек из писем, адресованных ко мне, которые я расположил, чуть нарушив хронологию ради «оптимизма», видно, как жил и пробивался к читателю большой русский писатель, не доживший из своего срока какую-то долю, наверное, нем-

лую, и уж совсем точно, недоделавший очень много, может быть, не написавший «главную» свою книгу — о чем свидетельствует посмертно напечатанная в журнале «Наш современник» лишь взявшая «разгон» повесть «И всему роду твоему...» По значительности замысла, точности стиля, удивительно тонкого проникновения в святая святых, душу человека, даже и в незавершенном виде эта повесть может и должна стоять на одной полке с русской классикой.

Из писем видно, что Константину Воробьеву не я один пытались помочь, но что из этого получалось, можно судить по письмам покойного или по такому вот примеру: к двадцатипятилетию со Дня Победы Пермское книжное издательство поручило мне составить сборник военной прозы, и наряду с другими известными произведениями я включил в этот сборник и рассказ Константина Воробьева «Дорога в отчий дом». И рассказ понравился в издательстве, решено было всей книге дать по нему название, соответствующее содержанию и духу сборника. Пока книга выходила, я переехал жить в другой город, и каково же было мое не изумление, а потрясение, когда я получил хорошо изданный сборник «Дорога в отчий дом», но самого рассказа там не было — кто-то где-то на пути к дорогому читателю смахнул рассказ.

Издатели, писатели, критики после смерти писателя начали его печатать, «привлекать внимание» к рано ушедшему незаурядному таланту. А что он был таков — никаких доказательств не требуется, откройте книги Воробьева на любой странице и читайте, вот хотя бы начало одной его самой почти первой повести «Алексей, сын Алексея»:

«...Под вечер степь наполнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы — борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выскивала впадину, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась...»

Какой легкий, изящный ритм! Какая влюбленная в слово поступь молодого автора, какой он еще романтический!

А теперь послушаем его последнее произведение,

неоконченную повесть «И всему роду твоему...» И тоже начало. Делаю это сознательно — для сравнения:

«...шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга, густая и туманно-седая, как и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно-едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо-пегой, а не первозданно-желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли...»

Между «тем» и «этим» началом лежит жизнь художника. Ах, как не ценим мы ее, чужую-то жизнь! Все еще не научились. Или разучились? На бумаге больше, в застольной болтовне «проявляем заботу о ближнем».

«Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью — шофер, наверное, поддал газу, а Сыромуков подумал: как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом, глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так, под горлом, стесненно — затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним, через долгую, как целый век, паузу — второй, потом третий, а после начиналась скакучая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Этот страх каждый раз был новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело, и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение: они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе — зачем они это проделывали?.. Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле

каменного забора с широким черепичным навесом — наверное, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут, на всякий случай, окажется сухое место...»

Вот такая вот картина, на мой взгляд, не требующая никаких комментариев.

Но почему-то мне хочется вернуться еще раз к той, ранней повести.

В деревне Шелковке орудует продотряд, возглавляемый матросом. И сам он, и продотрядовцы очень революционно-беспощадно настроены, что и дает повод сбегать к белым посыльному и сообщить, что «Шелковку грабят».

«И вот на рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные продотрядовцы, как разбрызганные, кинулись в огороды и сады, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже».

Ион и Катерина, та самая, что ходила купаться в ковыли, пробовали сопротивляться, Катерина вместе с сыном хозяина того дома, в котором они остановились, погибли; самого хозяина, Матвея Егоровича, русского крестьянина, ярко, земно написанного К. Воробьевым, и матроса повели за село.

«На спуск к реке они двигались через податливо раступившихся баб и детей, и под свой плавный, широкий шаг матрос не переставал просить: «Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?» Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками.

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылом и пыреем, повели к Бешеной ложине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки, и безмятежно и кротко сияли в росной траве безымянные шелковские «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую полянку. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным, горячим ужасом, Матвей Егорович почти за-

кричал: «Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и...» Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал, косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он судорожно начал подгрести одной рукой, будто искал что-то в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурив глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаз, он торкнулся головой на ребенка, на его голос, схватил и приподнял его навстречу конвоирам, как икону: «Люди! Люди!..» — ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой словами выразить было нельзя.

«Люди, — шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собою ребенком».

Эта вот сцена со своей душой обдирающей трагичностью, глубочайшим философским смыслом, написанная столь красочно, напряженно и жизненно, право же, стоит некоторых современных, анемично-водянистых рассказов и даже романов. Но боюсь быть пристрастным и передам слово опять Евгению Носову:

«...Сквозь его взволнованные страницы еще заочно угадывается человек, наделенный личной отвагой, пламенным гражданским мужеством, взрывным зарядом темперамента и самопожертвования, чутким и ранимым сердцем, в чем я и убедился уже потом, при близком знакомстве с писателем. Константин Воробьев любил работать в горячем цехе, со словом, которое только что из пламени пылающего воображения. Оно еще дышит жаром, стреляет колкими искрами, обжигает самого мастера, и тот, благоговей над ним, испепеляющим, непокорным и прекрасным, размашисто, пока еще не остыло, гранит его на звонкой наковальне...

На этом огне он и сторел преждевременно, так и не дочеканив заветных своих страниц».

«Повествуя о жизни простых людей, он всегда стоял на позиции этих людей, и никогда сверху от них или сбоку, — пишет критик Ю. Томашевский. — К. Воробьев не выносил жизни по регламентациям, порожденным темнотою и ханжеством, что остались в наследие

нам от ушедшего навсегда прошлого. Борьбу за утверждение умной, созвучной с двадцатым веком жизни он считал первейшим делом литературы... Воскрешая в памяти былое — пережитое, затем мучился и страдал, чтобы люди, прочитав его книги, мучились и страдали меньше, чем он».

И это истинная правда!

Окидывая взглядом литературу последних лет, читая, допустим, «Ржевскую прозу» Вячеслава Кондратьева, так смело, зрело и разом вступившего в литературу повестью «Сашка», я вижу в ней прямое влияние не только писателя К. Воробьева, но и гражданина своей страны и нашей стойкой в лучших ее проявлениях литературы, гражданина и писателя, принимавшего на себя не только груз самоотверженной работы, но и удары критики, невнимание читающей публики, материальные лишения, житейские невзгоды — и, принимая все это на себя, он, как бывший командир-фронтовик, конечно же, со всей ответственностью сознавал и понимал, как понимали и его окопные друзья, перешедшие в книги, — вослед идущим бойцам будет легче прокладывать пути вперед, плодотворней трудиться и творить.

«И все же... Все же...» Вертятся вот и вертятся в голове не знаю чьи стихи, с детства запавшие в память, ибо не раз возникала надобность их повторять и повторять: «И все цветы живые, не из жести — придите и отдайте мне теперь! Теперь, теперь, пока еще мы вместе...»

1983

ПЛЕЧО ТОВАРИЩА

С Петром Борисковым мы познакомились и близко сошлись на Высших литературных курсах. Как-то разговорились, и оказалось, что в сорок втором году осенью служили в одном запасном полку, в пехотном, и, зная, какое плохое зрение у Пети, я, естественно, поинтересовался: как же он в армию угодил, да еще в пехоту. Ведь стрелять же надо из винтовки.

— А я обманул военную комиссию, чтоб попасть на фронт, — простодушно улыбаясь и помаргивая подслеповатыми глазами из-за толстых стекол очков, ответил Борисков. — Не мог же я сидеть в тылу, когда все мои сверстники там... воюют.

В этом поступке весь Петя Борисков! Душевное расположение к людям, заинтересованность в их судьбе, а значит, в судьбе народа, Родины своей, сострадание, доброта и какая-то неистребимая, порой наивная вера, что все в мире и в первую голову в человеке устроено по идеальным чертежам и только надо помочь человеку возвыситься до идеала, — вот самая, пожалуй, главная черта характера этого много пережившего, немало страдавшего и глубоко мыслящего писателя, верного товарища и человека.

Всем, кто знает Петю, известно, что он любит поразмышлять вслух, и в этих размышлениях часто он бывает идеалистом, но никогда и ни в чем не бывает равнодушным человеком.

Жизнь распорядилась так, что время свое и силы Борисков был вынужден расходовать на общественные и семейные дела, и оттого написал немного, однако и по этому немногому можно видеть, что проза Борискова похожа на него самого, она бывает неуклюжа, рассудочна, но везде и всюду, в очерках, в рассказах, в драме ли, есть главное — искренность и доброта, без чего, как известно, искусство, а тем более литература, не только невозможны, но и попросту никому не нужны, ибо первостепенная задача писателя — противостоять злу, утверждая добро.

На жизненном примере Пети Борискова убеждаешься: чтобы учить добру, надо прежде всего быть добрым самому — везде и всюду, постоянно, терпеливо, даже если судьба делает все для того, чтобы ты озлился на людей и на себя. Но этот легкий, увы, не так уж редко избираемый людьми путь в жизни — удел слабых и безвольных.

Сильному и свободному человеку всегда бывает и будет труднее, но сильными и свободными держится мир, утверждается прекрасное на земле.

Вот почему я верил и верю, что Петя Борисков, мой давний и верный товарищ, напишет еще очень и очень много — напишет задуманный роман, пьесы, рассказы, но самое главное, сделает много людям добра, ибо творить добро, и не только пером, каждодневно, ежечасно есть вонистину назначение его жизни — такова уж душа этого человека, душа нараспашку, как говорят в народе.

Пятьдесят лет — это немало для людей нашего по-

колениа, много пережившего и сделавшего. Но я никак не могу представить Петю старым, усталым. Мне кажется, он не изменился с тех пор, как я его узнал, да и не способен меняться — все так же бьет ключом энергия его и деловитость, все так же юношески наивен он порою в рассуждениях, в отношениях к людям и к жизни, что является признаком молодости его доброго сердца, и, верю я, как и в сорок втором, если кому-то — нам ли, его товарищам и собратьям по перу, Родине ли нашей многострадальной — делается трудно, нужна будет помощь — Петр Борисков, не думая о себе, преодолевая любые испытания, придет на помощь, возьмет на себя любую тяжесть, или, как опять же говорится в народе, подставит свое плечо под комель.

СУД СОВЕСТИ

Повесть Альберта Лиханова «Высшая мера» читается без отрыва, но очень нелегко читается, и, будучи «короткой» повестью, она вместила в себя целый жизненный роман. Драматичный. Современный.

Признаться, я начинал читать повесть настороженно и даже с некоторым недоверием.

Повествование ведется от первого лица. Это не ново. И даже модно. Но вот лицо-то непривычное — пожилая женщина рассказывает о себе и о своей небольшой семье в момент ее развала, и даже не развала — кончины, краха.

Быть может, обаяние этой повести состоит в том, что она ведется «по законам» бесхитростного, дорожного рассказа о себе, о судьбе своей, о своих близких. Были, были такие времена, когда проснешься среди ночи в качающемся, мерно постукивающем вагоне или в пароходe, пошлепывающем плицами по воде, где-то чуть теплится свет, в полутьме загораются от затяжки и гаснут неторопливые сигарки, и тихий чей-то голос, со вздохами, перерывами, ведет, ведет нехитрую историю по извилистым жизненным дорогам.

Как много счастливых повторений тех дорожных историй оказалось в русской литературе.

Но меняются времена. Мы уже чаще летаем, если же ездим, то не в общих, в купейных вагонах, плаваем — не на палубе, а в каютах. Какие уж тут «беседы»? Тут продолжение одиночества, так неожиданно

захватившего нас в толпе городских людей, одиночества, кажущегося нам удобным, спасительным.

До поры, до времени.

Вот она, славная, добрая, самоотверженная женщина — Софья Сергеевна, обыкновенная работница обыкновенной студенческой библиотеки, едет в двухместном вагонном купе одна, оглушает себя снотворным, чтобы хоть на минуты забыться и забыть, да плохо у нее это получается, и побеседовать возможно только с одним человеком — с собою. Пробует милая вагонная проводница «завязать разговор», развеять явно чем-то расстроенную и больную пассажирку, но даже и этот привычный, «бабий», контакт не налаживается...

Да и как ему наладиться? Сердце надорвано. Жизнь сломлена. И если бы одна ее жизнь! У всех ее близких и у самой Софьи Сергеевны отныне все пойдет по другому, не лучшему «пути».

Жили-были две сестры: Софья и Женечка. В трудное время, в войну, разом осиротели. И вот не когда-нибудь, в самый тяжкий период войны Женечка влюбилась. Ну, конечно же, по всем законам «жестокой» вагонной истории, влюбилась в героя, в настоящего Героя Советского Союза. Да кабы одна влюбилась — и сестра ее, Софья-то, тоже «тайно страдала» по герою, хотя, как мне кажется, это уже лишковато даже для истории, построенной по старым добрым законам увлекательного дорожного повествования. Не избежал автор и других излишеств, увлекся, видно, не очень строг и взыскателен был местами к себе и к своим героям. Бывает это, и не с одним Лихановым, когда материал одолевает автора и правит им.

Одним словом, «роковая» любовь привела к тому, что у Женечки родился сын Саша, потом и дочь Аля. Но Аля родилась уже после смерти отца, погибшего не в бою, а от бандитского ножа.

И вот Софа после смерти сестры Женечки забирает малышей, уезжает в провинциальный город и там «ростит» «сына и дочь», которая от родовой травмы остается навсегда больной, искалеченной и которая, кстати, не произнеся ни одного слова, не сделав ни единого шага, тем не менее наполняет повесть таким добрым теплом, высветляет таким ясным светом, что, казалось бы, к безысходной истории ее и семьи Софьи Сергеевны относишься не только с сочувствием, но и с долей любви и надежды.

Итак, маленький домашний мир, полный забот о хлебе насущном, каждодневная, привычная и любимая работа в очень небольшом и славном коллективе, веселый народ студенты, среди которых оказывается и Саша, несколько вялый по жизни парень, однако с очень мастеровыми и ловкими руками, что совсем немудрено — вырос-то среди бабья, и надо было рано делать по дому мужскую работу. Они встречаются нынче, эти малолетние «мужики», берушие на себя мужские заботы, помогающие матерям-одиночкам исполнять ту работу, которую не хотят делать иные «папы», толпящиеся возле какой-нибудь заплеванной пивнушки или пьяно гогочащие по чужим подъездам.

Будучи студентом, Саша повстречал студентку Ирину и женился на ней. Ну что ж, в общем-то, типичная история. Только в квартирке сделалось еще теснее и материально еще труднее — Саша, окончив институт на тройки, остался учителем в школе, тоже средненьким, а вот его жена — отличница — осталась вовсе без работы — она «испанистка», в «испанцах» же этот провинциальный город не нуждается. Есть два-три преподавателя, и единственный вариант — выгнать одну из испанисток и взять Ирину, тем более что она «молода, красива, а молодость — бесспорное преимущество перед старостью».

Свекровка, Софья Сергеевна, вроде бы и в шутку, передала невестке эти слова проректора по учебной части, но невестка-то отнеслась к ним всерьез, сама решила устраивать свою судьбу, и устроила! Попробовала один, другой костюм — и вот достигла своего, определилась секретаршей к директору огромного завода.

Директор так и останется ее, Ирины, восторженным воздыхателем, но все, что надо и возможно от него получить, Ирина получит, даже путь в столицу ей, а следовательно, и муженьку ее с «золотыми руками» откроется.

Там захочется супругам маленько обзавестись, пожить «для себя», да где граница этого «маленько», кто ее указал? Нет такой границы, что со всею очевидностью доказывает нам окружающая жизнь, и наша повседневная действительность подает непрерывные примеры тому, как рушатся души, судьбы, семьи и под напором алчности, все возрастающих «потребностей», страсти к накопительству, или «вещизму», как это ныне называется.

В другом месте, в другой семье это было бы «в самый раз», радостью б и счастьем, может, почиталось бы накопительство, сделалось бы смыслом жизни, но куда же деть влияние старой, щепетильной библиотекарши, всю жизнь экономившей рублевки и копейки и при первой же возможности купившей новое синее платье «благодетельнице Марии», которое та, впрочем, лишь примерив, передала Ирине. «Справились» с ее моралью и влиянием невестка и сын, трудно, не до конца, но справились, разошлись благополучно или, как нынче принято говорить, «разбежались», выгодно для себя: Саша пристроился возле денежной вдовы, Ирина, при ее полете, хватанула и того выше — вышла за дипломата.

«Тебе трудно, понимаю, такие новости, — говорит матери сын и говорит-то обиженным голосом. — Но я, кажется, впервые счастлив. Меня любят. Я люблю тоже...»

Вот такая мораль: «Я — счастлив», «Меня любят», «Я, я, я, мое». Ну, а где же мать? Где несчастная сестра, к которой даже суровая и сдержанная Ирина относилась с нежностью и состраданием. Где, наконец, сын Игорь, которого родители «вырвали» у строптивой, непокладистой бабушки, избавились от нее и от ее надоедливого досмотра...

А сын Игорек, подросток еще, учащийся школы, живет, оказывается, один в хорошо обставленной квартире, с холодильником, набитым едой «по крайней мере на семью из трех человек». Мама приезжает убираться в квартире сына, папа навещает его, интересуется учебой, отвлекает и развлекает...

Превосходно написана сцена «торжества», во время которой не покидает читателя чувство нарастающей тревоги и протеста. Но, как мыслит героиня повести, «не так-то просто стереть доброту», да и не купить ее ни за какие деньги, ни за какие вещи — самое бескорыстное и самое бесценное, что было и есть на свете, — это она, доброта, и сколько бы ни пытались исказить, обезобразить ее смысл и суть — ничего не выйдет: добро со злом «несовместимо», как «гений и злодейство...».

Игорек и десять классов не закончит, и до другого дело не дойдет — он разобьется на том самом мотоцикле «Ява», который ему преподнесли родители в честь окончания девятого класса. Его незрелую душу разорвут

надвое — с одной стороны, изверченная во всем, в каждом шаге и поступке ложная жизнь родителей, и с другой — такая простая, но праведная жизнь Софьи Сергеевны, которая и бабкой-то ему не была — он узнал об этом, догадался «узнать», а вот родители, те, как говорится, так и «не доспели». Она не бросила больную девочку и маленького мальчика. «Чего в этом особенного? — ворчит бабка в ответ на вопрос внука. — Без них мне было бы в тысячу раз хуже». Хуже ли? Могла ведь выйти замуж, нарожать своих детей, испытать полноценное чувство материнства...

А долг? А исполнение простых человеческих обязанностей? «И мыслимо ли все рассчитать?..» Мыслимо ли добиться счастья, думая лишь о себе?

Нет, немислимо! — отвечает всем своим строем, тоном и словом повесть Альберта Лиханова: «Просчет невольный да простится, расчет лукавый — никогда!» — сказал великий наш современник и поэт.

И вот они, двое, провожают бабку домой — все трое чужие друг другу, разъединенные смертью любимого, ни в чем не повинного человека, бегут за вагоном, приговорившие сами себя к «высшей мере» — к вечной вине и муке, и спрашивают взглядом: «Как теперь жить?»

Нелегкий, своевременный, назревший для героев книги вопрос. Тревожная повесть. Серьезная литература.

1982

РУССКАЯ МЕЛОДИЯ

Я держу в руках книгу, мою повесть «Последний поклон». «Мою» — говорю я и задумываюсь: какая же она моя, когда ушла от меня и принадлежит смутно мною видимому читателю, лицо которого я пытаюсь и не могу себе представить, ибо многолик он, наш читатель, и «моей» повесть была до тех пор, пока я работал ее, писал, выдумывал.

Я и заглядываю-то в нее теперь редко, и, как правило, в первое издание книги, осуществленное Пермским издательством в 1968 году.

Что влечет меня к этой книге? Чем она, уже «ушедшая», чарует меня? А тем, что есть у нее еще один автор — художник Алеша Мотовилов, и это он сделал из моей повести книгу, а до этого она была просто руко-

писью, напечатанной на машинке. Сейчас же она «построена», как дом: в ней есть крыша, крыльцо, сени и даже кружевные занавески на окнах, а дом весь заселен народом, птицами, скотом. Есть тут и лес, и горы, и река...

Всему этому существуют специальные названия: обложка, форзац, фронтиспис, титул... Но как-то не подходят, не годятся эти слова для книги, построенной Алешей, — настолько она одухотворена, мелодична и красива.

Вот я написал «мелодична» и только тут понял, что в работе художника, так же как и писателя, должен быть свой «голос», своя «мелодия», и, если они соединяются вместе, голос автора и художника, — получается произведение, звуки которого тронут, непременно тронут душу человека, коему и назначается труд художника.

Алеша вместе со своей женой Верой долго работал над моей книгой.

Он не умел, а может, не хотел уходить от текста и добивался точного, образного совпадения с героями книги, пейзажем и в то же время не следовал слепо натуре...

Создавая книгу, выстраивая ее, он не изменял своему видению мира, своему глазу и ощущениям своим, но и не игнорировал того материала, над которым работал, — иначе говоря, не подавлял автора, и не «высовывался» вперед, как это нередко делают сейчас художники-графики, заботясь прежде всего о своей «оригинальности», а на автора вроде бы уж и наплевать. Поэтому-то такие художники готовы оформлять кого угодно, когда и сколько угодно.

Алеша не мог оформлять кого угодно, ему надобно было «почувствовать» писателя, полюбить его книгу и как бы соединиться с автором воедино.

Кому как, а мне такие художники ближе, и оттого, наверное, когда я открываю «Поклон» в Алешином исполнении, то как бы еще и нутром вижу, как женщина пьет жадно из медной кружки, и чувствую сухость в горле, ощущаю, как воскресает мое иссохшее нутро; слышу, как топают кони, бегущие с водопоя, и каркают нахохленные вороны на кольях опустевшего огорода...

Я слышу музыку прожитого художником времени,

от которого осталась вот эта тихая симфония в рисунках, и чувствую мир его живым и трепетным.

В работе, и только в работе, душа человеческая.

Алеша сделал много за свою короткую и неброскую жизнь, но до обидного мало успел он поработать в графике, где с первой же книги был замечен, и для «Последнего поклона» я уже другого художника не мыслил и не выбирал.

Жизнь человека кажется очень длинной, и мы не так уж часто балуем друг друга вниманием, дружескими разговорами и встречами. Мало мы виделись с Алешей, но одна встреча навсегда осталась в моей памяти.

Алеша с женой и двумя сыновьями заехал в деревушку Быковку, и мы бродили по речке, рыбачили, говорили, варили уху. Ребята его, Аркаша и Дима, поймали по хариусу, сидели у костра, слушали — внимательные, зоркие ребята, а Алеша, намолчавшись в своей келье-мастерской, говорил и говорил, и Вера поглядывала на него неодобрительно: вот, дескать, понесло мужика, а то смеялась, махала на него рукой. Он был работяга-затворник, и такие часы и минуты случались у него не так уж часто, и оттого так оживилось его смуглое лицо, а серые глаза искрились, жили и все-все видели вокруг и в себе. Он был красив в те минуты, полные раскованности, и еще был красив оттого, что говорил о красоте земной, о древней резьбе по дереву, увиденной им в Чердыни, о родине своей — Урале, о лесах, реках и горах...

И вот его уже нет. Но остались сыновья — Аркаша и Дима, которые пошли по линии отца и матери; остались книги и картины, одна из них висит у меня в квартире на стене — небольшой пейзаж, исполненный гуашью, на нем наивная голубая речка, коровы, пасущиеся на косогоре, лесок за ним, желтые копны на яру и по-над речкой сизый ольшаник, а из него течет тропинка на косогор и дальше к небу, где загадочно проступают высокие горы...

Это в тот приезд в Быковку написал Алеша, но это не быковский пейзаж, то есть он «быковский» и в то же время как бы всеместный, и предосенняя грусть его, и загадочная даль, и отобранные, точно построенные детали, знакомые и родственные каждому, — это наша русская земля, просторная и прекрасная, как жизнь...

В день моего отъезда из Перми Алеша принес мне эту картину, как всегда стесняясь чего-то, тихонько, чтобы никто не видел, подарил ее...

Больше я Алешу никогда не видел, но есть у меня книга, им сделанная, и картина. Это — добрая память о нем.

Да вот беда: память никогда не заменит живого человека, и грустно мне и горько, что не побродить уж нам вместе по тропинкам родной земли и невозможно уж сказать себе:

«Вот когда закончу эту книгу — попрошу, чтобы ее оформил Алеша: уж очень русская мелодия звучит в его рисунках...»

Каждый, кто берётся за перо и
набирается мужества словом
поведаёт миру о том, что он
любит, что изрекает его
и печалит, должен сначала
услышать музыку в себе,
отбросить от себя до того,
что про себя ум, «блестя-
щее» образование, и тогда, то-
лько тогда, не разрывая ме-
лодикою посылками рассуде-
ниями, как вояк туркмен-
ской совкамы и соображения
ми: и сверхъестественного порядка,
забыть для людей без фальши-
вого крика, без сверхъестественного
жадрова, а так, как звучит
слово, и исторгнутое из живого
и озвученное человеческим
сердцем.

ЗВУКИ РОДИНЫ

Мы плыли тихой осенью, по тихой воде, на тихоходном пароходе и радовались всему, что видели, и наговорились уже вдосталь и замолкли, каждый уйдя в се-

бя, в свои мысли, в знобящую радость, всегда занимающуюся в душе человека, когда он после долгой разлуки видит «родные русские места», прикасается к ним сердцем.

Все вокруг тогда начинает ровно бы звучать чистым, вечным звуком, светиться тем незамутненным светом, который озаряет нас в минуты редких свиданий с чем-то исконно родным.

Мы — это небольшая группа писателей, совершающих творческую поездку по Томской области в честь пятидесятилетия Советского государства. Все из разных концов страны, все люди разные и в то же время единые, уставшие от городского шума, суеты и радующиеся и Оби-реке, и осеннему лесу, и рыжеющим лугам, и птичьему граю, и дух захватывающей сибирской обширности, как чуду первосотворения.

Томичи в первый день пути все нам рассказывали да показывали, но и они выдохлись, неотрывно смотрели на родные просторы, и можно было угадать по лицам, что не могут они всего, что у них на душе, нам высказать, и не сумеем мы, сколь нам ни говори, полюбить эту землю так истово, как любят ее они.

И долго так вот плыли мы, и нас не тяготило, не разъединяло молчание, а, наоборот, сближало, рождало понимание и уважение друг к другу, переходящее в растроганность и родство.

— Вот неподалеку отсюда, в такой же деревне на Усть-Бакгаре, я работал учителем, — тихо сказал Сережа Заплавный — томский поэт — и облокотился на борт парохода.

Все впились глазами в деревушку, рассыпавшуюся по подмытому яру, издырявленному ласточками, отыскивая в ней какую-либо особенность и значимость, поскольку в такой же работал не кто-нибудь, а наш товарищ по поездке, человек поэтический, давно уже здешний.

Деревня была как деревня — с огородами, выходящими к реке, банями на огородах, с кучами сохлого навоза возле стоек и густой крапивой на межах, с жухлыми кустами картошки, наполовину уже выкопанной, с редкими тополями возле насупленных, суровых ликом сибирских изб.

Она ушла за поворот, та деревушка, и запомнилась лишь амбарная стальная полоска на сельском магазине

и выцветший плакат на тесовом лбу клуба, стоящего середь улицы. Но голос Сережи, слова его: «Вот в такой же деревне я работал» — что-то стронули во мне, где-то я уже слышал строй этих слов и тон, которым они произносились.

И тут я вспомнил — в «Марейке», первой прозаической вещи Заплавного. Вся эта немудрящая по замыслу повесть звучит за душу берущей музыкой народного слова, рожденного людьми, искони населяющими эту землю. «Мелодия» первой повести поэта, пробующего себя в прозе, которую только люди, не представляющие совершенно нашего труда, считают делом более легким, чем сочинение стихов, меня и покорила. И за нее, за мелодию, надеюсь, простит читатель автору и налет литературщины, и незаконченность, схематичность образов некоторых второстепенных героев. Но своей уважительностью и добротой к людям, ладно и напевно говорящим, ладно и уверенно живущим на богатой, да не вдруг открывающейся земле, автор добивается доверия к себе и к своей первой повести — а это уже немало! Впрочем, под стать земле родной и люди, описанные Заплавным. Они тоже не держат грудь «нараспашку», как говорят в Сибири. С ними надо поработать, показать себя в деле, не один пуд соли съесть, и когда они тебя рассмотрят и взвесят, может быть, и сами тебе откроются...

Сереже Заплавному они «открылись», и в этой вот обычной сибирской деревушке, в обычных людях сумел он распознать и красоту, и душевное богатство, а главное — услышать мелодию их языка, уловить «звук», как называл кудесник российской словесности Иван Бунин одну из главнейших особенностей русской прозы.

Как ни крути, как ни теоретизируй, защищая «немую» прозу и стихи, прежде все-таки был звук: свист ветра и пение птиц, шум реки и небесные громы, шорох листьев и скрип дерев, и из этих звуков человек однажды сотворил слово. Какое оно было — никто не знает, но каждый, кто берется за перо и набирается мужества словом поведать миру о том, что он любит, что тревожит его и печалит, должен сначала услышать музыку в себе, опьянеть от нее до того, что про себя уж «петь» невозможно, и тогда, только тогда, не разрывая мелодию постными рассуждениями, конъюнктурными подтасовками и соображениями материального порядка, запеть для людей без фальшивого крика, без исте-

ричного надрыва, а так, как звучит слово, исторгнутое жизнью и озвученное человеческим сердцем.

Это трудно, очень трудно. Многие трудности в работе со словом молодой писатель успешно преодолел в своей милой «Марейке», но еще больше предстоит ему преодолеть и осилить. Ведь первая вещь часто «выпеваается» как-то сама собой, и наивность ее воспринимается, как дело, тоже само собою разумеющееся, как наивность дитяти, с которого «какой еще спрос?».

Я думаю, что читатель расценит мои слова о первой повести молодого писателя как щедрый аванс, выданный не в качестве «подъемных», а уже заработанный трудом, и трудом упорным. Но в следующий раз я не смогу назвать Заплавного Сережей. Надеюсь, и читатели, и издатели будут с него спрашивать тоже как со взрослого и зрелого работника литературы — «Марейка» обнадеживает. Так, с надеждой в доброе будущее молодого прозаика я и закончу свое ему напутствие, а остальное все, как и быть положено, в его искренней прозе — и биография, и душа.

ТВОИ ТИХИЕ РУКИ

Стихи Михаила Кузькина-Воронецкого обладают одним завидным качеством — их хочется читать вслух:

...Здесь между темных плит,
Вросших в июльский зной,
Под рыжим курганом спит
Предок раскосый мой...

Страшен он был и зол.
Жизнь нелегко сберечь.
В сердце ему вошел
По рукоятку меч...

Качался с водой стакан.
Дед, как всегда, суров.
Река звалась Аба-кан,
Что значит — медвежья кровь...

Внутренняя мускульная сила стиха как бы рвется из молчаливой оболочки наружу, и хочется не просто читать эти стихи где-нибудь в зале, вслух, нет, их охота выкрикнуть где-то в степи, на дороге, «для самого себя», выкрикнуть просто так, от избытка чувств и сил.

Стоит он на кургане — всадник —
Среди камней, среди травы.
Он весь степняк — в посадке ладной,
В наклоне черной головы...

Нагайку ветер чуть качает...
Стоит, забыв жену, жилье, —
Влюбленный в вечное молчанье
И в одиночество свое.

Но это, так сказать, «голос крови», это тот самый потомок-степняк поет и чеканит стих под стук конских копыт, что «лицом на него похож, здесь через сотни лет, в юрте из конских кож я родился — поэт». Но ведь в крови сибиряков, даже если они и «раскосы», напутано всякого, по бабке Воронежский восходит к ссыльным полякам, и не могла же гордая кровь бунтовщика «не схлестнуться» с вольной и дикой кровью хакаса. Что же высеклось из столкновения? Чем отозвалось в душе поэта эхо давних степных кочевий и гонимых за непокорность, страдающих «гордецов» поляков?

Вам стала пухом мать — земля сырая?
Родились, жили, канули — и пусть!..
Но отчего ж, в веках не умирая,
Связала нас нерасторжимо грусть?..

...Лежат, а как страдали? Как любили?
Какою страстью нам они близки?
И были ли они? Конечно, были.
Иначе этой не было б тоски.

И вот оно, как следствие этой вечной нашей тоски о прошлом, о том, кто был до нас, до боли острое, кинжалом вонзающееся в сердце ощущение Родины.

Я жадно пил. Дрожали руки.
Котлы, шипевшие в огне,
Гортанные глухие звуки —
Казались сказочными мне.

В ночной степи кричали звери.
Меж юрт, черневших у ручья,
Шагал я, веря и не веря,
Что это Родина моя.

Не всем, далеко не всем современным поэтам удается преодолеть эту тоску по своей малой родине, и бывает, так они и остаются навсегда на той маленькой полянке детства, которую топтали когда-то босыми дет-

скими ногами. Уж ни цветка, ни травинки на той полянке нет, а они все ходят и ходят по кругу, все топчут и топчут ее, вымучивая строки про дым над отчи-ми трубами, про березки и тополя под родным окош-ком, про бабу и дедку и про девушку, что пела за око-лицей, звала, да куда-то потом делась безвозвратно, скорей всего уехала в город, на фабрику, и вышла за-муж за нелюбимого...

Рост, мужание поэта заключается и в горестном ощущении утраты детства, юности, первой любви и той же малой родины. Но ощущения, чувства поэта, входящего в пору зрелости, не могут переходить в ны-тье, с возрастом они густеют в крови, ток их делается нетороплив, удары сердца реже, но весомей, взгляд ста-новится пристальным, слезы умиления не должны за-стить его — жизнь поработала на «поэтической пашне».

И вот, когда, забыв про суету,
Гляжу на лес — он рядом ли, далек ли,
Как будто бы разглядываю облик,
В котором вечность скоро обрету.

...И потому целую рыжий склон
Земли с дубами перед увяданьем,
Что сохранят до будущих времен
Загадку моего существования.

Если бы мой земляк Михаил Кузькин-Воронецкий написал только о загадке своего существования, на-верное, и тем бы уже запал в память, но ему дано было расширить рамки, а точнее, разорвать путы риторики, ставшей в современной поэзии не просто однообразной, но порой и надоедной. Но...

Как ни досадуй, как ни бейся,
А путь к себе — всегда сначала:
Всегда опять с последним рейсом
Плыть от обжитого причала.

И плыть не куда-нибудь, а в самую счастливую по-ру, пору поздней любви, и, достигнув берега, на кото-ром редко высаживаются нынешние поэты, с изумлени-ем и восторгом припоздалым, самому еще непонятым, воскликнуть:

Когда ты тих, как лес осенний,
Когда виски уже седые,
Вдруг открываешь в изумленье:
Любить — ведь это все впервые...

Впервые где-то за Окою,
В избушке возле переправы,
Вдруг, заболев глухой тоскою,
Упасть в желтеющие травы...

Пересказывать любовную лирику — дело неблагоприятное и бессмысленное. Ее надо читать наедине с собою, чтоб вместе с поэтом пережить и радости, и муки, какие она, эта самая любовь, несет с собою, и в себе особенно, когда «виски уже седые».

Читая Михаила Кузькина-Воронецкого, невольно сам начинаешь чувствовать подъем и просветление в душе, словно и тебя коснулась частица света, озарившего чью-то жизнь на склоне лет. И хотя у этого чувства нет юношеской восторженности, беззаботности, а больше тревоги, смятения — все равно невольная волна ответной благодарности, доброй зависти и жажды прекрасного возникает в сердце.

А какое самоуглубление произошло в самом поэте и как от этого окреп голос его! Нет вроде бы ни «степной экзотики», ни внешних примет пейзажа, а читаешь — и захватывает дыхание, ибо сам сопереживаешь, сам ты уже вовлечен в стихию чувств, движение головокружительного, счастливого и тревожного полета:

Разбудила меня тишина.
Память с явью напрасно боролась:
Еще долго ловила она
Твой, из сна исчезающий голос.

Я сентябрьскую вижу твою
Прядь волос у лица... Неужели
Не приснилось тебе, что стою
У твоей безмятежной постели?

Как, впадая опять в забытье,
Целовал твои тихие руки,
Как нашептывал имя твое,
Просветленное болью разлуки?

Ах, какой очистительный сон!
Что за странная тайна сокрыта
В том, что был я на миг вознесен
Над пределами нашего быта?

Словно вышел, минуя года,
Я во времени том недалеко,
Где не будет у нас никогда
Ни размолвок, ни ссор, ни упреков...

Ловлю себя на желании читать и читать кому-нибудь стихи Михаила Кузькина-Воронецкого, делиться радостью их открытия, цитировать их, повторять. Но стихи все-таки лучше всего читать самому, то есть каждому, кто любит истинную поэзию, делать это по отдельности.

САМОРОДОК

Мальчику было одиннадцать лет. Со старшим братом и с друзьями он пошел по кедровые шишки в лес, упал с кедра, переломил позвоночник. Полная неподвижность, почти никаких надежд на выздоровление.

Несколько лет мужественной борьбы за жизнь, несколько лет, наполненных страданиями и страстным, захватывающим трудом — не вдруг, не сразу верится, но родные Бори Никонова уже нашли, собрали одну тысячу семьсот пятьдесят страниц рукописей покойного юноши.

Журнал «Уральский следопыт», с которым у Бори еще при жизни завязалась дружба, печатает в 1975 году его «Дивногорские этюды». Меня попросили познакомиться с этой рукописью и что-нибудь написать о ней, так как Боря — мой земляк, он родом из Новоселовского района Красноярского края.

Загадка таланта! Существует ли она?

Да, существует, еще раз с большей уверенностью подумал я, прочитав рукопись «Дивногорских этюдов».

Ну разве это не загадка: такой же, как многие миллионы мальчишек, из такого же, как тысячи других, русского села, со странным, враз запоминающимся названием — Аспагаш — он с детства видит и боли человеческие, с ранних лет умеет сострадать всему живому и творчеством своим (первый рассказ он написал еще мальчишкой) призывает к этому всех нас, живущих на земле.

В сущности, все произведения Бори Никонова — рассказы, зарисовки, прозаические и стихотворные этюды как раз об этом — человек, помогающий человеку добром, сам становится добрее душой, и ему открывается прекрасный мир, полный добрых людей, яркого солнца, дивной поэзии, чудесной природы. Мне многое понравилось в рукописи покойного юноши, но особенно близки те рассказы, где действуют ребяташки, — уме-

ние писать для ребят и о ребятах с любовью есть первый и верный признак даровитости литератора. По-особому как-то тронул меня рассказ «В стороне от дороги» — какое было дано юному автору чувство меры и умение обобщать! Везде, во всех рассказах у него герои поименованы, а тут вдруг просто «мальчик» зовет человека, одна фамилия которого дает почти полное представление о нем — Голов! — спасти умирающую клячу. «Портрет» этой лошади, ее мучительный уход из жизни, поведение двух героев — мальчика и врача Голова, их отношение к смерти лошади написаны так точно, с такой пронзительной болью, что невольно закрадывается мысль: «Да полно! Не может быть, чтоб неопытный автор этакое написал?!»

Из всех «биографических» рассказов Бори Никонова рассказ про умирающую лошадь мне кажется самым «биографичным» — это он сам, обреченный автор, зовет людей на помощь. Все знают, что смерть неизбежна, а он, «мальчик», просит «что-нибудь» сделать и горько, безутешно плачет, когда видит, что смерть не побороть, — такие слезы не бесследны, даже человека с убийственной фамилией — Голов они проняли и если не повернули в нем все, так хоть что-то «с места строули...».

Даже по одной книжке, по любовно собранным и отредактированным «Дивногорским этюдам» можно заключить — много отпущено было природой Боре Никонову, или, старинно говоря, создатель щедро метнул в сибирское село Аспагаш золотых зерен, а они обернулись самородком, да судьба распорядилась так, что самородок лишь блеснул яркой гранью и погас безвозвратно.

Какое-то горькое чувство, не только сожаления, но и вины, остается в душе, когда узнаешь о короткой жизни Бори Никонова. Знаешь, ведаешь — всегда так бывает, если прежде времени гибнет талант, но ничего с собой поделать не можешь и еще горше на сердце, если талант этот, как мартовский сибирский первоцвет, — только-только сереньким мохнатым птенцом вылез на солнышек из камней, чуть приоткрыл чистые кремовые губы, и вдруг случайным порывом ветра его сломило, унесло, не давши ему ни расцвести, ни рассеять семя по земле.

Дивногорск, где жил с девяти лет и кончил свой короткий путь Боря Никонов, всего в получасе езды от

моего родного села Овсянки. Я бывал в те годы, когда Боря уже лежал прикованный к постели, в Сибири, в родном селе и на строительстве Красноярской ГЭС, но ничего не знал о том, что в соседстве живет и мужественно работает больной человек, а ведь так много приходится читать бесполезного, так часто приходится заниматься пустыми и неблагодарными людьми! Думается, удалось бы поддержать, ободрить даровитого юношу, да что теперь об этом толковать?! Просто постараться надо любовно сберечь то, что оставил нам этот многострадальный и мятежный сибиряк.

Загадка таланта. И загадка смерти... Почему эти слова, понятия эти встали вдруг в моих мыслях в один ряд — они же несовместимы, как «гений и злодейство»? Да, вот почему? Сотни раз и я, и мои деревенские корешки бывали в лесу, лазали по деревьям, хаживали по тем самым местам, где подстерегала Борю беда. Однажды я тоже сверзился там с кедра, но угодил в грязную болотину. Почему же ловкий деревенский парнишка, который мог «на ходу подметки рвать», ничего и никого не боялся, был верным другом, любимым сыном и, быть может, надеждой нашей литературы, подвергся такой напасти, таким испытаниям и такой мучительной смерти?..

Тут же выстраиваются в памяти нелепые смерти на войне и невероятные спасения от них, и все кажется — вот был бы в лесу тогда вместе с ними, с шишкарями, мальчишками, глядишь, и уберег бы Борю от беды...

Почти каждое лето я езжу на родину, в Сибирь — тянут туда не только воспоминания детства, но и печальная память о тех, кто был и жил когда-то с тобою и кого не стало на земле. К этой неизбежной и вечной печали добавилась еще одна капля, и теперь, глядя на горы и перевалы, темнеющие в поднебесье, буду знать — там, за стыком двух рек — Маны и Енисея, за старым Знаменским скитом, за Дивными горами, одетыми в густую шубу кедрочей, витает дух юного поэта, в каждой листке, веточке, хвоинке и цветке присутствует его светлый взор, его доброе и теплое дыхание, и, согретая этим дыханием, светлой его памятью и словом, родная моя природа, край мой отзовутся в душе людей и тихой печалью, и благодарной любовью.

ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

Эта исполненная светлой любви и печали фраза все время звучала во мне, пока я читал книжку Игоря Лободина «Пучок земляники».

Долго и трудно готовил свою первую книжку молодой писатель. «Ягодка по ягодке» в течение нескольких лет собирал он свой маленький «пучок». И получилась книжка хорошая, уверенная.

Вот отрывок из рассказа «Белым днем», где повествуется о том, как немцы среди бела дня выгоняют из села жителей, чтобы сжечь дома и обездолить людей.

«Готовый в дорогу, я бесцельно обошел гулкий опустевший дом с распахнутыми настезь дверями, опрокинутыми в суматохе стульями, голыми стенами, на которых еще вчера висели фотокарточки в ореховых рамках, тусклое зеркало, икона под рушником в святом углу, украшенном соломенными жаворонками, из бумажного крепа крыльями. Этот угол, сиявший по утрам лампадой, теплой позолотой витого оклада иконы, теперь был сумрачный, пустой. В одном из окон пузырилась занавеска. Она то падала, прилипала к выбитой шибке, то поднималась, открывала лудку подоконника. На ней в пустой бутылке отчаянно жужжала муха, лежали забытые ножницы и Танькина тряпичная матрешка с яблочно-круглой и полуоторванной, на живой нитке головой. В разбитое окно тянуло сырым холодом, едва заметным паром тумана. Вместе с теплом из дома, казалось, ушли его прежние запахи. В пустых комнатах уже сквозил отчуждающий землисто-тяжелый запах покинутого жилья».

Я не буду увлекаться цитированием, хотя, признаюсь, делал бы это с большой охотой. Очень уж полны — одухотворены и образны — строки в этой небольшой, скромно изданной книжке.

Уже по этому кусочку из рассказа нетрудно догадаться, кто есть любимый писатель Лободина. И жил он в тех же местах, довольно-таки неприметных на посторонний взгляд. И все же умел Бунин увидеть здесь столько природы, столько ее прелестей и так их воспеть, что вроде и нет краше земли, чем орловская. Видно, не в природе дело, а в душе, которая умеет слышать свою «тихую родину», в глазах художника, которому дано увидеть такое, мимо чего люди часто проходят скучно и равнодушно. Ведь вон та же буйная, красотою пере-

полненная Сибирь описывается иными писателями так, что зевать хочется от скуки.

Орловца Лободина не пролистаешь! Наоборот, нет-нет да и вернешься к тому или иному абзацу, да и «обсосешь» его; перечитаешь, пораженный дотошностью его глаза. Он видит, что на телегу, отправляющуюся в изгнание, родная береза насорила желтого листа, и на корове, меж худыми кострецами — на них хоть сумки вешай — «желтели листья». Бросит мимоходом: «В подстепье теперь и кусты в радость, потому как настоящие деревья, будто старики, повымерли». Или: «За решеткой окна, над рожью, плавилась корня молний».

И ныне живущего наставника Лободина, соседа по земле, курянина Евгения Носова почувствуешь в этой книжке. Ему и посвящен лучший рассказ в сборнике «Крыша» — незамысловатая история о том, как у Арины Каблуковой, недавно вышедшей на пенсию и живущей в деревне Обыденовка, что затерялась «в море ржи на суходольном косогоре...», ветром сорвало крышу и как соседки и пастух Николай покрыли ее новой, «прогонистой» соломой.

Много радости, много света в этом в общем-то грустном рассказе, из которого узнаешь не только о жизни Арины, но и о нелегкой любви двух людей, не соединенных жизнью, о привязанности молодой и доброй женщины к детям, которые могли бы быть ее детьми, да не «сулил бог».

Всего в первой книжке Игоря Лободина семь рассказов. Они довольно ровно сделаны, хотя немножко выбивается этюд «Адажио», от которого ждешь чего-то большего и ровно бы обманываешься в ожиданиях, ибо уже настроен предыдущими рассказами на спокойный подробный разговор о тихой, неприметной жизни, наполненной простыми, но поэтическими житейскими буднями.

Пересказывать Лободина трудно, потому я не стану этого делать. Лучше прочесть его книжку и порадоваться его уже крепкому слову и тому, что в литературу нашу приходит терпеливый, несомненно талантливый труженик, умеющий не торопиться в работе и взвешивать слово, как взвешивает каменщик на ладони кирпич, прежде чем положить его в стену дома, где было бы хорошо и тепло жить людям. Лободину предстоит еще проделать трудную работу, оставаясь верным духу и звуку знаменитого земляка, преодолеть его осязаемое

влияние. Но я верю, что он справится с этим, порукой тому его серьезность в творчестве, ведь до того как опубликовать рассказ, молодой писатель много раз переписывает его, выверив каждое слово на слух, на вес и на запах.

1970

ДОБРОЕ СЛОВО

Сразу же оговорюсь, слово «доброе» я употребил в его широком значении, то есть крепкое, своеобразное, прочное. А то у нас в литературе одно время начали использовать его в благотворительных целях: я, мол, писатель, буду к тебе, читатель, добреньким, а ты — всепрощающим, и будем мы довольны друг другом, а что слово при этом дрябнет, хилым становится, так ведь много их, слов-то, в языке нашем...

Как отрадно, что чаще и чаще среди идущих в литературу людей появляются те, кто не хочет никаких снисхождений, похлопываний по плечу ни от читателя, ни от критики.

Очень это важно — самостоятельность с первых шагов. В любом деле важно, а в литературе в особенности.

Еще на Кемеровском семинаре молодых писателей Аскольд Якубовский привлек внимание руководителей семинара именно своей писательской самостоятельностью.

Нельзя сказать, чтобы тема его повести «Не убий» (в журнальном варианте называлась она «Мшав») была очень уж неожиданна: два геолога отправляются в глухие болотные места нанести на карту дом, попавший на аэрофотосъемку, а вместо дома обнаруживают потаенный поселок, где обитают фанатичные поборники древлеотеческой веры. Спрятавшиеся в болотах люди больны, дики и до того темны, что «чужане» не знают, с какого бока и приступить к ним, чтобы рассказать о «своем» мире и вести их с собою в этот мир.

Не сильные в «агитации», двое парней тем не менее взбудораживают поселок, и кажется, вот-вот победа будет за ними. Но парни-геологи все же плохо знают «Мшаву», ее мертвую, гибельную трясину, где все покрыто, как ряской, ханжеской проповедью «спасения», а под нею — корысть, разврат, тяжкое бремя веры и беспощадное отстаивание ее «устоев».

Страницы повести, где уставник потайного села Гришка голый становится на берегу гнилой болотной речки и отдает себя на съедение комарам, дабы «принять муку» за свою паству, написаны Якубовским так зримо и взволнованно, что порою уж и не верится, что писал эти страницы молодой писатель и что это его первая повесть.

«На берегу сидел старец. Голый. Он светился на солнце отвратительной наготой иссохшего полумертвого тела. И дымился, как головешка, — это налетел гнус... Поднималась древняя лесная жуть. Выглядывали из-за стволов губастые рожи, в осоке торчали рога, где-то недалеко хохотали лесные, невидимые днем, жители. Во мхах горели синие свечечки... Пришло утро. Старец был серый, терял очертания в сером столбе гнуса — комаров и мошкар. Но теперь он поднялся, стоял. Шевелились губы, руки вычерчивали мелкие кресты — должно быть, старец молился. Старухи сбились вокруг него густым, напуганным стадом... Стонали, всхлипывали, некоторые падали в мокрую осоку и бились, как рыбы».

Этот самый старец многолик. Принимая муку, он смирен и молчалив, а когда понадобится, он возьмет в руки карабин и вместе со своим подручным Яшкой, у которого «голова шаром, лоб стянут морщинками в узкую полоску. Нос глядит двумя широкими темными ноздрями прямо на собеседника. Губы пухло-красные, глаза черные, вертучие», вместе с этим Яшкой, выполняющим на тысячу процентов охотничью норму, нападет на парней-геологов, и один из них будет убит из-за угла в грудь наповал...

Обороняя себя, друга Николая и тот светлый мир, куда хочет вывести герой повести «болотных людей», он убивает из ружья уставника и Яшку, подленького и нахрапистого человека, который и был связующим звеном между болотным поселком и миром, который бабничал, пил, забирал у темных людей задарма пушнину, жил на широкую ногу, был «передовым охотником»...

Если бы Якубовский ограничился только описанием пути по болотам к потаенному поселку, открытием поселка и тем, что в нем произошло, повесть все равно была бы захватывающей. Но он — мыслящий человек, и герой его повести не может, не должен забывать того, что случилось, что произошло... Как это он, человек

мирной профессии, доброго и даже застенчивого склада души, своими руками...

Пять лет прошло, а ему «все видится прозрачная северная тайга, прокисшая, болотистая... В ушах — гром — отзвуки выстрелов... Николай Лаптев... Никола, который почему-то всегда пах кедровыми орешками. Должно быть, оттого, что, плутая как-то с теодолимом, без продуктов и патронов, в нарымских кедрачах, мы недели три кормились орехами...».

Убийство, насильственная смерть противоестественны человеку, как противоестественна и та жизнь, которая открылась геологам в потаенном поселке, жизнь, отброшенная на несколько веков назад, на уровне пещерного человека — с пещерной моралью...

Не должно ее быть! Люди, простые парни, не могли и не прошли мимо, хотя и могли бы... Один из них пал, как солдат в бою, за лучшую людскую долю...

Хорошая, умная повесть. Пересказом я ее, разумеется, очень обеднил, ибо что такое любой, даже подробный, пересказ по сравнению с живой, густо написанной прозой? Но эта повесть, как пристань, от которой Аскольд Якубовский отчалил в свою дальнейшую работу, и потому я так подробно остановился на ней.

Вторая повесть А. Якубовского — «Дом» продолжает мысль, поднятую в «Не убий». Стяжательство, корысть, отрешенность от мира возможны не только в непроходимых болотах, в потаенном поселке. Дом стоит на окраине большого города, но он тоже «Мшава», он тоже засасывает людей, выхолащивает души, делает их волками среди людей, и в мирном доме происходит чудовищное убийство, расправа над молодым человеком, виноватым лишь в том, что он не «такой», что по закону ему может отойти часть дома...

Защищая «свой дом», а точнее, сущность свою, собственника и стяжателя, хозяйка дома поднимает руку на сродственника — брата своего мужа...

Но «не убий» — старая и вечно живая мораль — в изображении Якубовского обретает новый какой-то и сильный смысл. Человек не создан для того чтобы убивать и проливать кровь, даже в тайге он «не должен палить во что попало...» «Не слишком ли кровопролитно наше вооруженное общение с нею?» (с природой), — спрашивает в первой повести себя и других ее автор и герой.

Убившая живого человека хозяйка «Дома» и сама

погибает в страхе, пьянстве, полной опустошенности, а «добро», «дом», которому она отдала свою жизнь, совесть, всю себя, оказываются никому не нужными...

Повесть «Дом» написана крепче, чем «Не убий», и это радует. В первой повести Якубовского еще нет-нет да и запнешься о такие строки: «Пять шагов, поворот, и опять пять шагов. И как возможно это цеплянье за старые глупости!.. Несчастья крепко взнуздывают человека, поднимают его... Придумываешь новый план, помня минувшие ошибки, и опять кладешь кирпич к кирпичу». Конечно, запнувшись за такие строчки, морщишься так, будто босой ногой о неуклюжие пеня зашибся, тем более что автор, как я уже говорил, умеет писать густо, точно и обходиться без литературщины, возвращать слову его истинное значение.

Вот хороший тому пример: «Чем больше я хожу по тайге, тем сильнее люблю наше чернолесье, пышную древесную роскошь средней полосы. А хвойный лес, всегда зеленый — летом и зимой, — как мумия, не то вечно юн, не то вечно мертв».

Как точно употребил Якубовский слово «чернолесье»! Ведь даже у даровитых наших писателей в силу плохого знания природы и истоков русского языка понятие «чернолесье» и «краснолесье» стало употребляться наоборот — по приблизительному, внешнему, признаку писатели начали хвойный лес называть «чернолесьем».

Достоин похвалы молодой писатель за такую добрую работу над словом. С этого и начинать надо. Но, увы, такие «храбрецы» не так уж часто встречаются среди молодых литераторов. Большею частью они предпочитают пользоваться языком уже употребленным, процеженным другими писателями и часто попадают впросак, хотя бы с тем же словом «чернолесье».

Кроме двух повестей, в книжке Якубовского «Не убий» напечатаны четыре рассказа. Они мне понравились меньше повестей. Наверное, это старые рассказы Якубовского. И такой рассказ, как «Коротыш», не звучит после повести «Не убий». Он из той же «оперы», но сделан слабее, и как-то в нем все очень привычно и похоже на множество других «геологических» произведений. Лучшим среди четырех рассказов мне кажется «Красный таймень», глубокий, с совершенно уморительно написанным характером попа-рыбака.

Сибирская река Кеть, в которой вода «коричневая, как чай... Пахнет живой рыбой, илом и моченой древесиной», течет себе, течет, «вспыхивает, искрится» и, «словно расслабившись после тяжелой работы, свободно и вольно раздается вширь».

А на берегу реки Кети в небольшом поселке Тагул идет неторопливая жизнь, на первый взгляд безмятежная и даже идилличная, но жизнь, как река, она не только сливается с другими жизнями, она не только «искрится», но еще и «вспыхивает».

Главное действующее лицо повести «На реке, да на Кети» молодого писателя Николая Волокитина — тетю Олю Типсину — я никак не могу решиться назвать героем или героиней. Портрет ее, что ли, неподходящ для этого высокого слова? «Сгорбленная и чуточку косолапая, как и все рыбаки-чалдоны, большую долю жизни проводящие сидя в лодке...», она еще, кроме всего прочего, курит трубку, еще и слов крутых не чуждается и много чего грубого, мужицкого сотворить умеет, особенно в работе.

И тем не менее облик ее складывается и западает в память не по этим внешним приметам. Глазами соседского парня и рассказчика Коли, друга тети Олиного сына Мишаньки, глядим мы на тетю Олю и открываем в ней одну за другой такие черты характера, что и сами невольно начинаем видеть и любить тетю Олю за ее почти детское удивление каждодневной жизнью, ее сметливость и ненадоедную, как бы само собою разумеющуюся доброту, которой ради она вроде бы и существует и которую делает каждый час, каждую минуту безо всякой натуги.

Просто тетя Оля есть такая, как есть, и жители Тагула, очень разношерстный народ, пользуются тети Олиными услугами так же свободно и бездумно, как пользуются они водой из реки или дышат воздухом.

Уже престарелая, с больными ногами, ловит тетя Оля рыбу и кормит ею всех проходящих в ее маленькую барачную комнатку, отдает часть улова безалаберной цыганской семье, глава которой по имени Спартак именуется «трудовым пролетарием», а вот жить оседло и кормить ребятишек с женой не приучился. Тетя Оля еще, кроме того, лечит почти весь поселок от всевоз-

можных недугов травками-муравками, лечит весело, с лукавинкой.

Мимоходом же тетя Оля пытается утешить бойкую и несчастную в любви Феньку, перестроить деда Шутегова на мужицкий лад, потому что тот всю жизнь своей «дебелой бабы боится», и вовлечь в полезное дело сына и друга его Кольку пытается.

Легкий у нее нрав, у тети Оли, смешливый. Ей великое удовольствие доставляет потешаться над неповоротливостью и неловкостью сына Мишаньки. Вот Колька рассказывает, как Мишанька учился в школе и, когда его попросили раскрыть «идейный замысел рассказа Тургенева «Хорь и Калиныч», ответил, что «Иван Сергеевич... товарищ Тургенев... вывел знаменитые образа». Но особенно самоуверен был ответ Мишаньки на вопрос математика: «Что больше: одна вторая или одна четвертая?» — «Ну дак... тут-то каждому ясно. Конечно, одна четвертая в два раза больше...» — «Ой-ой-ой! — трясет головой, закатывается тетя Оля... — Ой, тошнехонько мне, люди добрые!..»

Вот так и течет жизнь на реке да на Кети, в лесном поселке Тагул. И была опасность у Николая Волокитина скатиться в занимательное бытописательство, угостить нас набором поселковых чудачков, которые бойким строем шествуют сейчас по нашей литературе и развлекают доверчивого читателя байками всевозможными, а иному читателю делается от такого чтения скучно...

Да слава богу, не соблазнился легкостью сюжета молодой автор и как бы между делом углубил и оснастил свою повесть сказами тети Оли о том, как она в гражданскую войну помогала партизанам и, будучи раненной в голову, сумела добраться до них, чтобы предупредить о намечавшейся карательной экспедиции белых. Еще более драматичен и одухотворен поэтично написанный сказ о том, как тетя Оля боролась за свою собственную любовь в молодости, за мужа будущего своего, отца Мишаньки, которого давно уже в живых нет.

Автор все время поворачивает к нам тетю Олю то одной, то другой стороной, и характер ее обретает все большую цельность и наполненность. И потому становится ясно, отчего к ней так тянутся люди, так просто, без ужимок и поклонов пользуются ее кровом, советом и помощью.

Затеял строить дом цыган Спартак, и где же он обойдется без тети Оли? Взятась она приплавить ему лес. И поплыли они на плоту по реке да по Кети — тетя Оля, Спартак, его жена Рада и еще цыган Артур. Но река Кеть может не только «искриться и играть бликами». Это сибирская река. И вот ветер «чиркнул по реке», и река в какой-то миг из гладкой сияющей стала «свинцовой и рыхлой...». И разбила, растащила плот река, а обласок (лодка), прицепленный к плоту, четверых не удержит. Это знает и понимает тетя Оля, да не понимают цыгане. И тетя Оля, ругаясь, проклиная и ласково уговаривая Спартака, отталкивает обласок, потому что у Спартака пятеро детей, а ей, тете Оле, уже за шестьдесят...

«Тетю Олю мы нашли только на четвертые сутки. В еловом заливе. Среди щепок и бревен, в затопленных тальниках».

Проста и естественна жизнь тети Оли, прост и естествен ее конец. Жить для людей, быть им необходимым можно и нужно везде, и на реке Кети, в далеком поселке Тагул — тоже.

С горьким чувством утраты закрываешь повесть Николая Волокитина, но высветлено оно, это чувство, щемящей любовью к людям, тягой к ним. И не покидает уверенность, что на Кети ли, на Чуне ли, на реке Мане ли или на самом Енисее много живет таких вот Типсиных, и мир держится ими, добротой их бескорыстной, нескончаемой.

И не хочется почему-то по традиции делать замечания молодому автору, хотя много еще недочетов и промахов в его первом произведении.

Пусть-ка автор, так душевно и талантливо рассказавший нам о тете Оле Типсиной, своим умом дойдет до всего, преодолеет рыхловатость, перегруженность слога местными речениями, научится строже отбирать материал для своих вещей. Пока он еще увлекается, и многовато мелькает оттого в его повести людей, а точнее, имен их, и совсем ненужных подробностей. К мастерству ведь тоже идут через болезни, утраты, и не всегда литературные няньки приносят одну только пользу, порой они сбивают с панталыку и подминают под себя «литературного младенца».

Живет Николай Волокитин в одном из красивейших мест Красноярского края, в селе Казачинском. Неподалеку от этого села бурлит, пенится и гудит неукротимо

знаменитый Казачинский порог. Не одному уже сибирскому писателю родная и прекрасная земля помогала твердо встать на ноги, а несмолкаемое гудение порога, его могущество и стремительный бег Енисея меж грозных камней добавляли силу, яркость красок и страсть их самобытному слову.

1970

ЗОЛОТИНКА

Все, кто когда-либо бывал в Красноярске, непременно замечали часовенку на Покровской горе, которая так установлена, к тому месту приделана, что с какой бы стороны ты ни шел, ни ехал, ни плыл, ни летел, первый непременно увидишь ее.

В прошлом году я с радостью заметил на часовенке реставрационные леса. Пора, давно пора привести в порядок эту разоренную и обезображенную достопримечательность города — не так уж богат Красноярск архитектурными памятниками.

...А была на этом месте когда-то караульная вышка, и гора называлась Караульной оттого, что стоял на ней самый настоящий казачий караул, охранявший от набегов Красноярский острог, не единожды горевший, многие напасти и беды претерпевший и все же выстоявший, доживший до нынешних времен, до грандиозного размаха строительства.

Сюда-то, на гору Караульную, к караульной вышке, поднимается умирать старый казак Афонька — герой ладной и складной книги Кирилла Богдановича «Люди Красного яра». Перед тем как подняться на гору, исполняет казак Афонька последние дела на земле, прощается с родней своей, дает такие простые и надежные наказания сынам и внукам: «Ну вот, собрались все, — заговорил дед Афонька после того, как долго и молча оглядывал их. — Вот. А мне, стало быть, в иной путь пора...»

Троекратно поцеловав старшего сына, тоже Афоньку, отходящий «в иной путь» казак наказывает, чтобы все жили семейно — оброк один будет, чтобы к службе государевой радели и в «шатости» друг дружку держались, а главное, чтоб помнили, что «наш корень сибирский берегчи надо... И никуда с Сибири... не сходить».

Дальше идут просто, но эпически широко и звучно написанные Богдановичем картины прощания с землей, сделавшейся родной и любимой казаку Афоньке, с острогом, который он не раз защищал от набегов степняков и дуроломов-воевод.

«Он шел по острогу сам. Шел медленно, часто останавливался, глядя по сторонам. По бокам шли оба Афоньки, а сзади Тишка вел в поводу оседланных коней».

И вот семейная свита на Караульной горе. Сыны, что «овершились» при броне через речку Качу, помогли старому казаку спуститься на землю.

«Он закинул голову как можно выше и увидел клоч неба, слепящего своей голубизной. Эта голубизна ослепила его и начала падать на него сверху: стало светло-светло, до боли в глазах. Он еще раз вскинул голову и уже больше ничего не увидел...» «Афонька присел рядом с телом отца и задумался. О том, что и он вот умрет, но зато останутся дети его и их дети. О том, что надо исполнить наказания отца. Потом опять стал думать о смерти. Не о своей, а так, почему она есть? Жили бы и жили все не помирая. Земли эвон сколь — на всех бы хватило». «А колокол на остроге все бил и бил. И на сопку поднимались все новые и новые люди, и все подходили к усопшему, сняв шапки, крестились и желали ему царствия небесного».

Я намеренно начал разговор о книге «Люди Красного яра» с конца: ведь любая жизнь все-таки итогом, полезностью значима. А жизнь простого казака Афоньки, о котором написаны сказы, была полностью отдана служению людям, родной земле, утверждению на ней добра и справедливости.

Много всякой всячины увидит, узнает и сотворит этот самый казак сибирский, даже и в чины выйдет — десятником, после и сотником станет, но не утратит при этом доверительной простоты в отношениях к людям, строгости и чести в исправлении «службы государевой», проявляя сноровку, терпение и храбрость, так необходимые в тех диких краях и в ту пору людям, заселяющим и обживающим новые земли. Но, как ни крути, казак Афонька хватками, характером, всем укладом жизни больше все-таки хлебороб и промысловик, и устремления его самые земные.

Никакой казацкой спеси в Афоньке, никакого гонора — земной, «востротолый», то есть умеющий много

видеть, он тянется к земле, к знаниям и сходится с монахом-летописцем Богданом, который затеял доброе, но по тем временам шибко «крамольное» дело — описать для будущих людей, как и что тут было. Да вот беда — во все века и всем людям нравилось и нравится, чтоб помнилось и писалось о них только одно хорошее, а летописец врать не может, записывает все как есть. Кому ж такое поглянется?

Воеводы и казацкие главари устраивают пожар, в котором гибнет летопись Красноярского острога, и бедный монах Богдан уходит в края иные, «слезьми уливаясь»...

Читая книгу Богдановича, я подумал вот о чем: сколько же труда, старания и умения, большого умения, не побоюсь этого слова, потребовалось автору, чтобы собрать по крохам, редким записям, ведомостям и старым документам историю родного города и края, да и написать об этом, как уже говорилось, складно и ладно, не заполняя бумагу дешевыми «страстями-ужастями», которые так любят, просто обожают громоздить писавшие и ныне пишущие о Сибири авторы, эксплуатируя «экзотику Сибири», «сибирский характер», который вроде бы как издавна пришел, так и закаменел со страшным мурлом головореза, насильника и каторжанина.

Было, все было здесь, в великой сибирской глухомани, — и грабежи, и смертоубийства, как, впрочем, и в лесах муромских, и в достославных «градах Новгороде и Пскове», да и по всей Руси нашей много чего бывало, — только зачем же литературные-то скамейки ломать?

Богданович не ломает их, а уж о таких ли далеких и смутных временах повествует! Вот бы, казалось, напустить ему мороку, крови, смертей, бесовства и колдовства в сказе «Афонька правит посольство», но Богданович не поддается искусу ложной занимательности, ведет сказ мягко, изящно и даже с юмором. Мне особенно понравилось место в сказе, где казак, то бишь посол Афонька, вступил в переговоры с киргизами: «Заспоривши, Афонька вгорячах и не заметил, как он, не дожидаясь, что ему толмач переложит, начал говорить по-киргизски. И киргизин, и толмач тоже вгорячах такого не заметили. А толмач уже и вовсе путал, кому и как говорить, и кричал Афоньке по-киргизски, а своему киргизину по-русски... Афонька меж тем рассер-

дился вконец: «Да вы чо?! Вы на конях, а я пешки пойду! Да ни в жисть не бывать, чтобы посол пешим шел...» — Афонька даже плюнул с досады и сел на-земь... Конные киргизы шумели, грозили, за сабли и луки хватались. Тогда Афонька вскочил, натянул шапку покрепче и, не глядя по сторонам, пошел обратно, откуда ехал».

Хорошую книгу написал мой земляк Кирилл Богданович. Мне же в заключение хотелось бы поделиться вот какой невеселой мыслью: езжу я по городам и весям российским, всюду встречаюсь с людьми, которые, не жалея, как говорится, живота, роятся в пепле истории, выискивая редкие, бесценные крупички из далеких времен о прошлом «своего города», своей земли, озвучивают голоса наших далеких славных предков, делают иногда это любительски, а иногда и по-писательски профессионально, как Кирилл Богданович. Труд их мне хочется уподобить труду замечательного вологодского реставратора Николая Ивановича Федышина, который из-под многих слоев красок, из-под закоростеневшей копоти и пыли веков «открывает» и высвечивает истинные, бессмертные лики на фресках и иконах, сотворенных гениями древности. Но нигде, ни в одном городе не видел я, чтобы энтузиаст-бессребреник числился в почетных гражданах, чтобы портрет его красовался на Доске почета рядом с Героями Труда и патриотами родного края; и премий, областных или краевых, сколь мне известно, ни один из них не удостоился.

Странно! Стоит местному композитору-баянисту написать песню о «родном городе» на мотив новомодного шлягера или какую-нибудь бравую «таежную-молодежную», как начинают все тому композитору хлопать, на симпозиумы и совещания его посылать, в газетах карточки печатать, всевозможные премии присуждать...

Но вот кто, не жалея сил и здоровья, дни и ночи, иной раз тратя отпуск и выходные дни, ведет поиск, чтобы ныне здравствующие люди знали свое прошлое, тот кто иной раз даже жизнь кладет на паперть своего города, еще нет-нет да нагоняй получит за излишнее любопытство или какую-нибудь спутанную дату и цифирку, кличку чудака приобретет...

Видно, и впрямь судьба летописца — судьба подвижника. Может, в этом его назначение и счастье? Будем думать так. И этим утешим себя и тех симпатичных, чаще всего тихих, умных и самоотверженных

людей, которые сидят в архивах, либо копаются в запасниках музеев, в земле и развалинах, извлекая ту самую «золотинку», без которой казна и история Отечества нашего есть неполная.

1974

БЕЛАЯ ТИШИНА

Думаю, чем дальше мы будем жить, тем чаще, настойчивей и серьезней — люди вообще, а писатели в частности — будут задумываться о природе, о будущем земли и о человеке, стоящем между этими, поллярными когда-то, но ныне настолько сблизившимися полюсами, что существование человека и самой жизни вообще оказалось вроде бы совсем неожиданно для человечества под угрозой исчезновения.

И все, кто обостренно чувствует время, кому не безразлично наше будущее, все громче и громче бьют в тревожные земные колокола.

Повесть «Белая лайка» Владимира Жемчужникова, родом уральца, но всю свою сознательную жизнь прожившего в Сибири и настолько «осибирячившегося», что уже роднее Сибири и нет ему земли, повесть эта в том же ряду, который мы приблизительно, за неимением свежего термина, именуем «экологическим рядом».

Сейчас много пишется и говорится о городской или околгородской природе, о той, которую достают ближним взглядом литераторы и публицисты, в большинстве своем живущие в городах. Многим кажется, что там, в глубинах сибирской тайги, широкой и далекой тундры, все еще стоит белая тишина, глушь там и первоизданный покой.

Владимир Жемчужников много лет занимался охотничьим промыслом в Восточных Саянах, да и сейчас большую часть года живет на Байкале, у истока Ангары и наяву, так сказать, видел и видит взаимоотношения человека меж собой и тем, что именуют природой, зачастую забывая почему-то, что и сами мы есть неразделимая часть этой природы, может, и «забываем» оттого, что не всегда и далеко не во всем, в особенности в отношении к земле, показали себя не «лучшей частью».

Нет надобности пересказывать повесть Владимира Жемчужникова, поначалу спокойную и даже убаюкивающе-вкрадчивую. Да и чего вроде бы тревожиться:

какие-то ученые на каком-то участке необозримой тайги ведут учет поголовья белки, занимаются наблюдениями, попутно охотятся, выполняют план...

Но в природе вообще, а в тайге в особенности так все взаимосвязано, в такой плотный клубок свито, что обрыв нитки где-то, в каком-то месте может все «сбить с ноги», запутать, перевернуть вверх дном. И это прекрасно понимают герои повести, они видят «вперед и дальше», не умозрительно, а «воочию, «согласно науке», где все проверяется, перепроверяется, где каждому слову, цифре, выводу соответствует точность анализа, неотразимость доказательств.

Согласно с «наукой» не так уж все благополучно в белоснежной тайге. Как и всюду на земле, современное течение жизни здесь не только многоводно и тревожно, но и многомерно; как и всюду, здесь зло и добро противостоят друг другу, и напористое зло под покровом тишины и глушины порою берет верх над добром невидимо, коварно и ох как жестоко!

Белая лайка — символ белой тайги, преданнейшее человеку животное, труженица, хлопотунья — гибнет от руки завистливого, темного человека; а сколько горестей, сколько растлевающей спеси, распущенности приносят с собой бичи — эти «свободные люди», распустившиеся от безделья, дармоедства, пьянства.

Они давно уже бродят по тайге и, не желая работать, кормятся от тайги, от случайного заработка, от случайных встреч, и поначалу смешные, даже нелепые в изображении Жемчужникова, они в конце концов превращаются в темную силу, чуждую не только самой тайге, но и духу жизни таежной — прямодушной, гостеприимной и все еще доверчивой.

Почти в тех же местах, где когда-то охотился автор повести «Белая лайка», произошла не так давно жестокая трагедия.

В промысловые избушки еще с осени были брошены продукты, орудия лова и все нужное для жизни и работы промысловика. По первому снегу пришел охотник в избушку, а она и в ней все разорено, поедено, выпито, разбито. Горестно опустив голову, отправился промысловик за десятки верст во вторую, запасную, избушку — и там то же самое. В избушках жили, пировали и наслаждались «свободой» бродяги-бичи.

Охотник бросился в погоню, выследил пьяных бро-

дыг, перестрелял их и сам на себя заявил в милицию. Охотника судили, приговорили к высшей мере наказания...

Всего этого не знал Жемчужников, но таежных трагедий он видел и ведал немало, да удержался, не напичкал повесть «страстями-мордастями», однако «Белая лайка» читается и без того залпом, она интересна и в незамысловатости своей, оттого что точно по материалу, написана хорошим языком и всюду, за каждой строкой и картиной, слышно биение растревоженного сердца доброго и умного писателя, который и в первых своих очерках и рассказах, изданных в Иркутске, проявил себя как тонкий лирик и боевой публицист, не лишенный чувства справедливой иронии и юмора.

ВЫБОР СДЕЛАН

Писать об Александре Потапенко и представлять его читателю как начинающего литератора и легко и трудно. Легко потому, что трудовая биография у него накопилась уже богатая. Да и повидал он многое на этом беспокойном свете. Жизнь начиналась в деревне Калиновке, за Байкалом. Детство пришлось на войну и осталось в памяти, как для большинства людей его поколения, порой нелегкой, но самой яркой, самой отрадной, несмотря на лишения и недоеды. Первый кусок хлеба, добытого своим трудом, первое свидание и первая любовь, долгие холодные зимы и волнующие весны, разлив цветов в лугах и нагорьях, песня жаворонка над головой и бег горячего коня по росистой траве — все-все осталось в памяти одним волнующим мгновением, и веселый малый, за черноту волос и искристый быстрый взгляд прозванный цыганенком, резво наяривающий на гармошке, затем и на модной гитаре, еще не знает, что память постучится в сердце, и не раз постучится, высекая из него тот самый добрый огонь воспоминаний, от которого согревалась не одна российская душа, исторгая ответное тепло, излучая тот немеркнущий далекий свет, в котором картины прошлого обретали и звук и цвет, наполнялись нестерпимой ясностью и просили, требовали «быть показанными», ибо ни в ком они более так хорошо и волнующе не оживали, ничье сердце так сильно не волновали, как его, стихотворца, сердце, — каждый сочинитель, в особенности начинающий, думает, да ему и полагается так думать, будто он от-

крывает мир впервые и до него об этом мире еще никто не рассказывал.

И корявые, неуклюжие строчки ложатся на бумагу, еще почти глухие, нисколько не созвучные тому гимну, что бушует в душе дерзкого стихотворца, гимну такой, оказывается, дивной Родине — забайкальской деревушке, притулившейся к полулысым предгорьям, к лоскутьям желтых пашен и цветущих лугов в долинах и по поймам бешено мчащихся синих от напряжения речек, в которых не живет, а буйствует, радуется жизни и реке своей нарядная рыба — таймень, ленок, хариус и доступный во всякую пору детворе усатый пескарь.

Работа в колхозе, на железной дороге, затем шофером, затем помощником машиниста — длинный путь, и все тревожит, тревожит его «еще не сложенная мною песня и одинокая звезда».

Затем военная служба в морфлоте, политехнический институт. Казалось бы, жизненная дорога направлена и пряма: получил специальность, распределился — и устремляйся, соответствуй! Но ведь в ней, в жизни-то, воистину много поворотов, и — увы! — все еще порой непредвиденных.

Приехав на место назначения, в Красноярск, и став на комсомольский учет, Потапенко получает приглашение в райком комсомола, и там ему предлагают... поработать в милиции. Он категорически отказывается, ему даже смешно и потешно — в деревне бегивал от милиционера после потасовок на вечеринках и налетов на сельские огороды, а теперь вот на тебе!

Однако райкомовцы настойчивы: надо укреплять милицию, и укреплять людьми грамотными, достойными. Словом, попал Потапенко в новое учение, получил милицмейское звание и образование юриста — и вот уже двадцать с лишним лет служит верой и правдой в уголовном розыске родной милиции, стоит, как принято официально говорить, на охране общественного порядка, на самом его переднем крае — он оперативник.

Много, очень много и перевидал и пережил на этой службе Александр Потапенко, на службе, прямо сказать, не очень располагающей к поэзии. Но ведь есть какие-то нами еще не постигнутые законы бытия, по которым и следуют не только наши прихоти и желанья, но и не всегда понятные, внутренние устремления.

Молодой милицкий лейтенант носит с собою на службу ученическую тетрадь и в удобном месте в сво-

бодное от забот и хлопот время открывает ее, ставит неровным столбиком слова — его печатают в стенной газете, редко-редко в краевых газетах, какие-то боевые стишки «про милицию» даже и на музыку положили. Но далеко это, ох как далеко от стихов настоящих.

Побывав на краевом совещании молодых литдаровани- ний, он еще раз ощутил это и еще ощутил недостаток культуры, той внутренней культуры, которая паче ны-нешней, бойкой, но пустоватой грамотности. Вот почему и губятся даже «путем» начатые стихи слюнвявыми кон-цовками, да и сами стихи частенько выходят многослов-ны, слащавы, явно смахивающие на «жесткие ро-мансы».

Служба-то вот «сурова и нелегка», а стихи совсем не суровы, и, что интересно, именно такие стихи нра-вятся товарищам по работе, с удовольствием они их слушают и даже поют, но вот в печать стихи не идут. И является в душу тот самый треклятый «червь со-мнения»: «Зажимают, не пускают, гноят...»

Доля правды была в этом: намаячил в городе его милицейский нарядный картуз, подпорчены и отношения с местными «литстудиями», служба-то не только «нелег-ка», но и сурова, а кто ж их, строгости-то, почитает по доброй воле?

Есть один-единственный путь в нашей многотерпели-вой периферийной литературе заставить себя замечать и печатать — написать стихи или прозу так, чтобы редак-тору деваться было некуда, плачь, скрежещи зубами, но отсылай произведение в набор, иначе его в столице опубликуют. А уж «отвергнутое на местах» и напечатан-ное в столице произведение — это такой укор, такая пилюля самодовольной литпериферии, что огнем горят ее впалые щеки от стыда и раздраженности, ибо «ува-жать себя заставил и лучше выдумать не мог» такой-то и такой-то литератор, и с ним вынуждены считаться и проявлять к нему соответствующее внимание.

Предлагая стихи Александра Потапенко в столичный журнал, я все это отчетливо понимаю, как понимаю и вижу несовершенство иных его строк. Но у нас сейчас так много печатается совершенных по форме и холод-ных, пустых по содержанию стихов, что наивные, порой прямодушные и простые с виду стихи немолодого уже сибиряка, согретые благодарной памятью и зрелой грустью, надеюсь, придутся по душе не одному мне.

Я видел по стихам Потапенко, как преодолевал себя

начинающий поэт, обрубая банальные привески к стихам — большинство из них сокращены наполовину! — как вымарывались строки и столбцы, как искал он слова новые, более точные и весомые, как много он сделал за короткий срок, заново почти «начиная себя», — ведь полустихи пишутся пудами даже полуграмотными людьми. Многие сделал Александр Потапенко, чтобы пробиться сквозь дебри полустиха к стиху, но еще больше ему предстоит сделать и преодолеть, прежде всего в себе в себе, чтобы пробиться к поэзии, чтобы ярко, неугасимо зажглась на его небосклоне та «одинокая звезда».

ИНТЕРЕСНО И ЗРЕЛО

Уход сельского населения в город начался по всему миру давно. Усилился он в последнее столетие в связи с развитием промышленности, прежде всего тяжелой, требующей множества рабочих рук. Течение это со временем сделалось бедствием для аграрных стран и, как всякое бедствие, тут же получило обтекаемое, русским людям непонятное название — «урбанизация».

С тридцатых годов нашего столетия это движение приобретало все больший размах, в особенности у нас в стране — стройки первых пятилеток, стремление крестьян «выбиться в люди», поучиться грамоте, да и пробиться к вершинам науки, в руководство какое-никакое. Приток сельского населения в город усиливался и после Отечественной войны. Многие отвоевавшие бойцы и командиры так и не вернулись домой — холодная война громоздила дымные трубы по всей земле, ей требовались шестерни, колеса и много-много железа, угля, руды, нефти, а их надо было кому-то отливать, ковать, крутить, добывать, а там еще и порушенные города отстраивать, промышленность восстанавливать, оборону крепить, да и сама голодная послевоенная деревня не очень-то манила к себе своих жителей и работников.

Болью и гневом во всех странах отозвалась в сердце пишущих людей, в особенности вчерашних крестьян, тяжкая необходимость расставания с родным углом и землей. Один из первых романов о судьбе крестьян, согнанных с земли зловещим трактором, написанный еще в тридцатые годы, так и будет называться «Гроздь гнева».

Романы Золя, Драйзера, Генриха и Томаса Манна, Пруста, Синклера, драмы Ибсена, «Дело Артамоновых» Горького, «Молох» Куприна и многие-многие другие произведения отечественной и иностранной литературы с потрясающей силой поведали о тяжком отрыве человека от малой родины, о развращении крестьянина городом, о закрепощении хлебопашца машиной, о выкачивании сил, об опустошении души и гибели вековых духовных устоев, рожденных традициями и крестьянским укладом жизни, ибо у нового класса традиций не было и рождались они туго.

Нынешняя так называемая «деревенская» проза, и не только русская — Фолкнер, Маркес, Хименес, Уолтер Меккин, Харпер Ли — это ведь тоже «деревенщики», только «ихние», — как бы подвела черту под целым направлением литературы, оказав большое влияние на смежные искусства: кино, театр, живопись и даже музыке. Но уже в этой литературе, мощно и пронзительно изобразившей уход людей из старой деревни, опустение и угасание ее, нет-нет и мелькал вопрос: а будет ли возврат?

Увы, увы! Ничто, к сожалению или счастью, на земле не повторяется, в особенности явления глобальные, оказывающие влияние на жизнь и формирование многих последующих поколений землян.

Ныне покойный Борис Георгиевич Стрельников, мой земляк — он родом из Новоселовского района Красноярского края — умница, подвижник духа, много лет проработавший в Америке корреспондентом «Правды», рассказывал, что в Соединенных Штатах уже началось — не возвращение, а прямо-таки злобное отторжение от города. Накопив денег, небольшая пока часть американцев забирается в глухие, малонаселенные штаты, покупает земельный участок, обязательно отдельно и вдали от соседей, строит удобный дом, разводит сад, огород, возводит вокруг высокий и плотный забор и сидит за ним, как в собственной крепости, ни с кем не общаясь, никого не пуская, не ходит ни в кино, ни в театр. Зачастую в таких «крепостях» нет ни телевизоров, ни приемников, ни пылесосов, вообще никакой техники — лопата, мотыга, топор, пила — вот орудия труда сбежавшего из города, осатаневшего от цивилизации, современного американца.

Но как будет происходить неизбежный процесс, эта «деурбанизация» — да будет мне позволено так назы-

вать движение, еще только начинающееся и не имеющее названия? Конечно же, и нам, «деревенщикам», хотелось бы узнать, заглянуть вперед, за «заплот города», а уж «отражать» придется литераторам тех поколений, которые будут развиваться и жить дальше, совершая вместе со своим народом то, что совершить будет необходимо все для той же жизни, для продления рода своего, ведь без хлеба и продуктов питания никто еще жить не научился.

Надо заметить — «идушие следом» не остались в стороне от наболевших вопросов и назревших проблем, издав далеко, порой робко, не всегда последовательно, молодые писатели начинают «заходить» на тему будущей деревни и, прежде всего, будущего человека села, и ох как непросто с этим, выросшим на асфальте, тружеником! Ох, какой сложной ломке подвергается жизнь и характер его, ибо прописные истины и макеты с собой не захватишь, к старым формам жизни и труда не вернешься, вне общества, как отшельник-американец, не проживешь. Коллективное общество, верней всего, уж никогда не вернется к единоличным методам труда, а то, что индивидуализм, эгоизм и житье по принципу «моя хата с краю», привившиеся к части городского населения, как будто и противоречат предсказанному «направлению», так это все изломы на пути развития общества, быть может, и болезни, хронические, доставшиеся нам в наследство все от того же мужика, переехавшего в город со своим возом. Это мужичье наследство зачастую выглядит в наших книгах благолепным, почти благодетельным и святым по причине нашей благодарной памяти, так и оставшейся там, в селе, высветлившей светом детства прошедшее. Во всяком разе развитие пригородного мелкоземельного советского частника, получающего в свое пользование «участок», подвергло мораль нашу суровой и неожиданной проверке. Как мне кажется, устойчивая черта прошлого мужика, «тяжкий пережиток», как мы его гласно поименовали и вроде бы преодолели (я имею в виду жадность, хапужность), вдруг вынырнула на поверхность со старым, морщинистым мурлом и молоденькой, свеженькой нахрапистостью.

Литература точно и своевременно заметила это, да и не могла не заметить, ибо многие обличительные произведения о современном частнике и хапуге писались и пишутся как раз на загородных участках, в тесных

домиках-«собачниках» с уже надстраивающимися этажами, под шум листвы двух-трех собственных яблонек, колючего крыжовника, так беспощадно и красочно описанного еще Антоном Павловичем Чеховым.

Первая повесть Олега Пашенко как раз об этом, о жизни на изломе — между городом и селом, о возвращении, грубо говоря, «междомков» на землю, ждущую с нетерпением человека-радетеля, человека-жителя и хозяина новой деревни, а не сезонника, не шабашника под названием «шеф» и не вельможного пенсионера, готового для «здоровья и удовольствий» купить за бесценок домишко в полупустой или пустой деревне и украсить ее собою.

Сложен, ломан и извилист путь героя этой повести в село, но пересказывать произведение — дело неблагодарное, его надо читать. Написана повесть интересно и для начинающего автора довольно уже зрело. И биография у автора накоплена «солидная». Сын участника войны, родился Олег Пашенко в Томске, в 1945 году, вырос в многодетной, безденежной семье, четырнадцати лет поступил в строительный техникум. За время учебы освоил профессии каменщика, штукатура, плотника, бетонщика, осваивал мозаичные и архитектурные работы. Затем служил в армии. С мая 1968 года — журналист, ныне — ответственный секретарь газеты «Красноярский комсомолец», а до этого проходил «школу» «районка», где и начал, по его выражению, «писать и печатать голубые рассказы, далекие от правды жизни». Но один рассказ, уже более серьезный, напечатал в альманахе «Енисей» в 1978 году. В 1980 и 1982 годах был участником Всесоюзных слетов молодых писателей в Свердловске и Москве, в 1981 году окончил заочно Иркутский университет.

1982

ВЕЧНОЕ ТВОЕ КОЧЕВЬЕ

Анатолий Буйлов вступил в литературу в зрелом возрасте и сразу же с почти зрелой прозой — романом «Большое кочевье», хотя, по моему глубокому убеждению, романом эту книгу называть еще рано, пока это просто толстая книга, достоверно и честно, порой до наивности дотошно изображающая не только красоты Севера и экзотику редкостной профессии — оленевода,

но и немислимые, порой непосильные трудности работы и жизни на Севере.

И вот в этом — в снятии ореола и романтической дымки с облика и профессии северянина, охотника и пастуха — есть главное достоинство первой книги А. Буйлова. Он как бы приблизил, и приблизил зримо, красочно, порой даже ярко, обыденную картину обыденного труда в обыденной для него, автора, обстановке, среди обыденной для него жестокой и прекрасной природы.

Недавно я пролетал над северными далями нашего необозримого востока. Был ясный зимний день, и с огромной высоты было отчетливо видно голую, слегка всхолмленную равнину или лесотундру, постепенно переходящую в нагромождения, а затем и громады горных хребтов, посыпанных по южному склону темной порошицей лесов и кустарников, черных, в белых царапинах ледников и неподвижных, морозно светящихся снегов, сдутых с вершин в ущелья. Ни огонька, ни дыма, ни живой души не угадывалось сверху. И только в одном месте возникла накатанная, стеклянно отблескивающая полоса, идущая вдоль какой-то большой реки, извилисто вползающая на склоны и стекающая со склонов, и я понял, что это дорога, и вдруг подумал: «Вот по такой же, может быть, кочевал со своим оленьим стадом Толя Буйлов?» И поежился, представив, как там, внизу, сейчас студено, как долго до весны, до тепла, до встречи с жильем и человеком.

И все эти ощущения ко мне не с неба свалились, все они были навеяны не только моими воспоминаниями и прошлым опытом жителя Севера, но и книгой А. Буйлова, которого я с первой встречи зауважал за непросто прожитые лета, за серьезность литературных намерений, основательность характера, за хозяйское, мужское отношение к дому, к семье, ко всей нашей беспокойной и очень сложной действительности.

Ему предстоит еще много сделать, и не только на бумаге, но и в себе, с собою. Предстоит невероятно грудная школа самоусовершенствования, познания души человеческой «через себя», постижение глубин жизни уже в качестве «пастуха мысли» (да простится мне этот неуклюжий каламбур)...

Тут хочу сделать отступление о важности такой школы самоусовершенствования для «писателей от земли» и о судьбах тех из них, кто школу отвергал.

Бывало, бывало: испечатают, исхвалят, примут везде и всюду, и городские жительницы, добрые редакторши из крупного московского издательства, округляя глаза, сообщают, что был, только что был писатель-дальневосточник, он жил и охотился в тайге, один всю зиму добывал соболей или кротов, изловил капканом и убил из ружья не одного медведя и, о ужас, о героизм, едва спасся от тигра, который ломился ночной порой в охотничью избушку.

Дальше шли деловые соображения: от такого самобытного писателя-знатока можно и нужно много ждать, он уж непременно изничтожит так распространенную ныне в литературе приблизительность, освежит задряхлевшее слово, придаст молодой прозе мускулистости, мощи и силы. Но ему надо учиться, ох как упорно учиться, диковат «паря», пишет слова: «глабополучно», «взамуж», «займодействие», как слышит, и очень увлекается красотами типа «чарующий свет заката», «все мое существо пронизано трепетностью чувств» и т. д. и т. п. И поступил кондовый дальневосточник в союз. Приехал в Москву на Высшие литературные курсы, отрастил модную бороду, купил заграничный портфель. Пьяненько хвастался, что в нем, в портфеле, у него уже пятнадцать издательских договоров, что все писатели там, то есть дома, на Дальнем Востоке, хотят его живьем слопать от зависти. Да он не такой, как Ванька за рекой, он им не дастся, он возьмет и в Москве останется...

В Москве он отчего-то не оставался или его не оставили, сменил несколько мест жительства и жен, год от году договоров в портфеле все меньше и меньше, да и сам портфель износился от творческих путей и натуг. Говорили о нем тоже все меньше и меньше. Умер он в расцвете лет от черного пьянства, в чужом городе, в чужой квартире, в одиночестве и бесплодной злобе на всех и вся, так и не поняв, что самоутверждение в литературе делается своими руками, своим трудом, и трудом сверхнапряженным, изнуряющим, доводящим до отчаяния. И труд этот состоит не только из застольной, писчебумажной работы, а ранее и прежде всего из повседневной душевной потребности исполнять свои знания. Явился ведь не во чисто поле, усеянное злаками и плодами для твоего небедного пропитания и цветочками — для красоты и вдохновения, в литературу явился, где громады такие, что смотреть, смотреть на них

снизу вверх не дыша и то боязно, а работать «вместе с ними» и после них — это ж каким надо быть нахалом-то? Сколько надобно знать-то? Уметь? Постигнуть?

Учиться, учиться, все время учиться, всю жизнь быть в трудовом творческом напряжении всякому, кто смел взяться за перо в русской литературе. И Анатолию Буйлову тоже. Судя по письмам ко мне, всегда обстоятельным, раздумчивым, Анатолий понимает, что следующая книга его должна быть лучше первой, третья лучше второй, и прочитанные мною отрывки из его новой книги подтверждают, что он уже многое преодолел в работе, текст стал чище, слова плотнее, таежные картины все так же емко и точно написаны, как и в первой книге, но образы уже не случайно нахапаны, не от избытка одного друг на дружку нагромождены. Уже есть отбор, уже работают не только внутренний слух и нюх, но и «ремесло» дает о себе знать, растет внутренняя культура. Ведь краски, выдавленные из тюбиков на полотно и размазанные по нему, пусть даже самые яркие, еще не картина.

Мне думается, обогащает молодого писателя дружба с прекрасным дальневосточным художником Павлишиным, общение со своими сверстниками по «литературному цеху» и пусть редкие, но необходимые встречи со старшими, не один пуд литературной соли съевшими писателями.

Пока все хорошо, все ладно. Становление писателя происходит основательно, спокойно, без истерических художественных вывертов и кавалерского кокетства молодого лауреата. Как живет, так и работает, по-хозяйски прочно, душевное и духовное здоровье в порядке, и с физической стороны со здоровьем тоже хорошо дело обстоит: не пьет, не курит, в беседе сдержан, рассказчик милостью божьей, зазнаться не может уже потому, что всю жизнь добывал и добывает хлеб своими руками — хороший это «стимул» в работе, как глаголят современные производственники.

И все же, все же... вот, закончив дела на стане и в избушке, снарядившись на завтрашнюю охоту, вытянулся он на деревянных нарах, устеленных сухой травой или хвойными ветками, закинул сильные, натруженные руки за голову. Пощелкивает печка. Шевелится во тьме отсвет золотым жучком. За окошком зимняя ночь, пространственный и загадочный таежный мир, за ним где-то города, люди...

О чем думает, о чем заботится молодой писатель в своем отнюдь не постылом и не простом одиночестве?

О семье?

О детях?

О любимой жене?

Это само собой.

А может, он думает о том, как постичь и разгадать этот притихший ночной мир?

Как разрешить его противоречия и помочь сделаться человеку хоть чуть-чуть лучше, подзаблудившемуся в нем, в миру, в тайге человеческой?

Для этого надо непрестанно совершенствоваться, надо самому додуматься до того, что не всякая толстая книга есть роман, хотя и размыты его границы в нашей литературе, хотя и появлялись под видом этого емкого, величественного жанра скороспелые поделки и просто «кирпичи» чтива, словесное варево которых так точно и хлестко охарактеризовал еще Белинский: «Не воровано и не свое».

И может, в последнем проблеске сознания охотника, утишающегося глубоким сном, не только мелькнут огонь, лес, горы, зверье, оленье стадо, знакомые с детства картины вечного человеческого кочевья, но и возникнет образ женщины, так и не отстрадавшей до сих пор благодаря гениальному перу и сострадательному сердцу Льва Толстого, положившей свою нежную шею на холодный рельс, под неумолимо надвигающуюся, пыхтящую паром, грозную и грузную машину.

И быть может, послышатся чьи-то тихие шаги и мольба о помощи — это она, женщина, идет, крадется в сердце писателя, и чем он больше начинает чувствовать человеческую боль и загадки бытия, настойчивей будет его тревожить этот «зверь», по заверению старшего по труду сотоварища куда более опасный и сложный, чем «тигра», и «повязать» его, этого «зверя», на бумаге ой как сложно, и в особенности нынешнюю, эмансипированную женщину, такую независимую, такую вроде вольную, в какую-то и ее «передовому» уму непостижимо тревожную даль устремленную, но во зрелости лет, как сто и двести лет назад, истово тоскующую по простой бабьей доле.

И может, пропадет у охотника сон, и метнется он к столу, едва освещенному тусклым оледенелым оконцем, засветит свечу и до нескорого, до неторопливого зимнего утра будет мучиться над бумагой, рвать и с доса-

дой бросать к печке скомканные листы, одолевая упорствующий «материал», истязая воображение, слух, сердце и поминая старшего товарища крутым, но, надеюсь, добрым словом: «А будь он неладен, вон как мне хорошо жилось, писалось, премий дополна надавали. А он тут со своим словом, со своими женщинами. И ты готовься, говорит, всегда готовься к надсадному труду, если хочешь занять свое, пусть и скромное, место в литературе».

Он и сам, старший наставник, или, точнее, товарищ по литературному труду, стиснув от перенапряжения зубы, одолевает очередной перевал, повторяя про себя любимого своего поэта Петрарку: «И жизни нет конца, и мукам краю».

1985

СОДЕРЖАНИЕ

Сюжеты и судьбы	3
Жизнь — великое движение вперед	10
О любимом жанре	19
Наши большие заботы	29
Нет, алмазы на дороге не валяются	34
Выбрал бы ту же самую...	49
Там, где пролита кровь	57
Письмо дочери погибшего друга	66
Этюд на Чусовой	69
Имя Толстого свято	76
О ритме прозы	80
Беседы о жизни	80
На Вологодчине	87
Пересская рубеж	90
Как начиналась книга	116
Всему свой час	118
Строителям БАМа	129
Ответ в «Пионерскую правду»	132
Вивальди за пятак	137
Берегите! : : :	143
Как тот заречный огонек	146
Выполняющий долг писателя и гражданина	155
Своя борозда : :	157
Родной голос	160
Чистая душа	171
Вглядываясь вглубь	180
Чувство звука и слова	182
Песня добра и света	185
И все цветы живые	189

Плечо товарища	206
Суд совести	208
Русская мелодия	212
Звуки Родины	217
Твои тихие руки	219
Самородок	: 223
Тихая моя родина	226
Доброе слово	228
...И в поселке Тагул тоже	232
Золотинка	235
Белая тишина	239
Выбор сделан	241
Интересно и зрело	244
Вечное твое кочевье	247

Астафьев В. П.

А91 Всему свой час. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 254 с., ил., фотогр. — (Писатель — молодежь — жизнь).

В пер.: 85 к. 150 000 экз.

В этой книге известный советский прозаик В. Астафьев выступает как публицист. Сопричастность писателя ко всем сторонам нашей жизни, его размышления о путях развития литературы, его раздумья о собственном творчестве и творчестве товарищей по перу — основа публицистических материалов.

А $\frac{4702010200-353}{078(02) - 85}$ КБ-60-021-85

ББК 83. 3Р7
8Р2

ИБ № 4918

Виктор Петрович Астафьев

ВСЕМУ СВОИ ЧАС

Редактор **Л. Антипина**

Серийный переплет и титул **Ю. Алексеевой**

Художник **В. Кухарун**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Н. Баранова**

Сдано в набор 15.10.85. Подписано в печать 03.12.85. А16165. Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 13,44+0,84 вкл. Условн. кр.-отт. 14,28. Учетно-изд. л. 14,9. Тираж 150 000 экз. (75 001—150 000 экз.) Цена 85 коп. Заказ 2050.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес изд-ва и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцневская, 21.